

МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ

 МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ

45



МОИ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ

עבריה וצבי עופר
קבוץ יפעת

МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ



БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ
1977

דרכי לישראל

MY ROAD TO ISRAEL

Authors:

L. Tumerman

A. Rubin

Z. Ram

Ch. Meirshtein

תורגמה ליידיש
על ידי תרגומת הספרייה
לשם תרגומת לעולים
בית אברהם - ספרייה
ב"מ. מלאי.....

422

©

ALL RIGHTS RESERVED

כל הזכויות שמורות

לספרייה-עליה

ת.ד. 7122, ירושלים

היוצאת לאור בסיוע:

האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים

וקרן זכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק

דפוס "גרפ-פרס" בע"מ, ירושלים

OCR Давид Титиевский, май 2021 г., Хайфа

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Центром документации и исследований восточноевропейского еврейства при Иерусалимском университете был проведен конкурс на тему "Мой путь в Израиль".

Жюри конкурса приняло решение о присуждении премий пяти участникам конкурса за лучшие работы из семидесяти работ, представленных на конкурс. Две первых премии были присуждены профессору Льву Тумерману и Анатолию Рубину, две вторых премии — Виктору Перельману и Цви Раму, третья премия — Хане Меерштейн.

В книгу "Мой путь в Израиль" вошли четыре работы (пятая работа — повествование Виктора Перельмана "Покинутая Россия" — вышла отдельной книгой в издательстве "Время и мы").

Благородные, мужественные люди, прошедшие тяжелый жизненный путь — профессор Лев Тумерман, за плечами которого семь лет одиночного заключения в сталинских застенках; Анатолий Рубин, испытавший на себе все уродства советской власти и стихийный великодержавный антисемитизм; активный участник сионистского движения в условиях преследований и подполья Цви Рам и совсем молодая девушка из Риги Хана Меерштейн, чье обращение к национальным ценностям было внезапным, порывистым и бесповоротным — каждый из них увидел единственно возможный для себя путь в репатриации на историческую родину еврейского народа.

Ценность этих произведений, написанных непрофессиональными литераторами, не только в их человечности и

искренности, но и в документальности приводимых исторических событий. "Личные, неповторимые судьбы репатриантов дополняют общую и очень широкую картину истории еврейства Советского Союза в последние десятилетия", — справедливо заметил на церемонии вручения премий авторам лучших работ профессор Иерусалимского университета Х. Шмерук.

Издательство надеется, что и впредь будет публиковать материалы авторов-олим, в которых органически переплетаются темы национальные и общечеловеческие и которые представляют интерес для широких читательских кругов.

ЛЕВ ТУМЕРМАН



Автор (род. в 1898 г.) принадлежал к кругам русской еврейской либеральной интеллигенции, которая была ассимилирована и оторвана от своего народа. Эти круги не приняли коммунистической идеологии, но тем не менее лояльно служили власти, поскольку видели в ней наименьшее зло как в отношении судьбы России вообще, так и в отношении русских евреев.

Автор был старшим научным сотрудником советских научно-исследовательских институтов Ленинграда и Москвы в области физики и биологии. Им опубликованы исследования и учебные пособия. В 1948–1954 гг. находился в одиночном заключении. После освобождения вернулся к научной работе.

Нарастающий антисемитизм в России после Второй мировой войны и становление Государства Израиль изменили мировоззрение многих представителей и привели их к репатриации в Государство Израиль.

Повесть дает обобщающую картину образа жизни, образа мыслей важного слоя русско-еврейского общества, объясняет и анализирует факторы, приведшие многих из них к возвращению к своему народу. (Выписка из протокола заседания жюри.)

*Девиз: Если бы молодость знала,
если бы старость могла **

Эти воспоминания о пройденном мной жизненном пути были написаны в 1973 году, вскоре после моей репатриации в Израиль. Стимулом к их написанию явилось не только естественное стремление всякого человека, подходящего к

* "Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait..."

концу своего жизненного пути, мысленно обозреть и осмыслить этот путь, подвести итоги своего жизненного опыта. В еще большей мере я ощущал потребность отдать самому себе отчет в том, как же это случилось, что, начав свою сознательную жизнь с отрицания всякого национализма, прожив ее "безродным космополитом", человеком, порвавшим все связи с еврейской религией, еврейской культурой и традиционным бытом, я кончаю жизнь человеком, полностью и до конца осознавшим неразрывность своей связи с еврейским народом и понявшим, что необходимым условием и предпосылкой для сохранения существования этого народа является возрождение еврейской государственности. Всю мою жизнь сами слова "патриот", "патриотизм", "нация" были мне ненавистны, а в итоге я — сознательный и убежденный патриот Государства Израиль. Как это произошло? Какие силы и факторы возродили во мне национальное еврейское самосознание?

Мне кажется, что ответ на эти вопросы представляет интерес не только для меня одного, так как путь, пройденный мной, пройден, — конечно, с теми или иными индивидуальными особенностями, — большой группой моих современников евреев-интеллектуалов, проживших всю свою жизнь в России. Часть их уже находится в Израиле, другие еще не решились на репатриацию или не могут преодолеть барьеры, поставленные советскими властями. В душе многих процесс возрождения еврейского национального самосознания еще не зашел так далеко и не привел их к пониманию необходимости репатриации. Я хочу надеяться, что, быть может, осмысление моего — и их — пути в Израиль поможет всем найти ответ на самый больной и самый жгучий вопрос, который возникает перед каждым эмансипированным, порвавшим связи с традицией, евреем: "Кто же является евреем?" Или, точнее: "Что значит — быть евреем в нашу эпоху?"

За четыре года, прошедших со времени написания этих воспоминаний, многое для меня и во мне изменилось. Я ближе ознакомился с политической, экономической и культурной жизнью Израиля. Мне стали яснее не только пороки существующей политической и экономической системы, но и грандиозность и трудность проблем, стоящих перед нашим

государством. Многое изменилось и в самых основах моего израильского патриотизма. Особенное значение здесь имел для меня опыт Войны Судного дня (1973). Но я не хочу дополнять или переделывать изложенное ниже, ибо это — рассказ о моем пути в Израиль, а все последующее — это уже мой путь в Израиле.

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ НАШЕЙ СЕМЬИ

В истории трех поколений нашей семьи очень четко — как солнце в капле воды — отразилась диалектическая триада истории развития нашего народа за последние полтора—два столетия: от *тезиса* — замкнутой и изолированной еврейской общины с традиционным бытом и духовной культурой, полностью основанной на ортодоксальной религиозности, через *антитезис* — выход в открытое общество и ассимиляцию в европейской культуре, доходящую до почти полной потери национальной идентификации, к *синтезу* — возрождению еврейства уже не как религиозной общности, а как нации, предпосылкой существования которой является возрождение еврейской государственности.

Поколение моих дедов еще полностью принадлежало среде "местечкового", шолом-алеихемского, еврейства, жившего в пределах русской черты оседлости. Мой дед со стороны отца был полунищим меламедом в городке Бердичеве бывшей Киевской губернии. Маленький хедер, в котором он обучал детей Танаху и начаткам раввинистической мудрости, едва давал ему средства для пропитания семьи, духовным же содержанием его жизни был хасидизм: он был преданным хасидом какого-то цаддика. Русского языка ни он, ни моя бабушка не знали, и я до сих пор помню, как мучительно они подыскивали какие-то понятные мне ласковые слова, когда ребенком меня привозили к ним. Жили они в обособленном и замкнутом мирке еврейской общины, которая полностью сохраняла еще традиционный быт и была чужда как русской государственности, так и русской культуре. С внешней, "русской", средой они фактически почти не соприкасались.

Другой мой дед — со стороны матери — был, выражаясь по-современному, "мелким буржуа". В том же городе Бердичеве он имел бакалейную лавку в торговых рядах на базарной площади. Богат он не был, но все же семья моей матери была более или менее обеспеченной. Уклад жизни и в этой семье еще оставался совершенно традиционным, все религиозные предписания соблюдались свято. Разговорным языком здесь был, конечно, идиш, но необходимость каких-то деловых контактов с внешним русским миром заставила этих моих деда и бабушку немного говорить и по-русски, хотя на очень плохом, ломаном языке. Однако, и эта семья по существу жила в том же изолированном и замкнутом мирке еврейской общины. За исключением чисто внешних контактов с поставщиками и покупателями, да еще, пожалуй, с полицией и городскими властями, и они не имели никакого соприкосновения с русским обществом и русской культурой.

Диалектический "скачок", резкий и полный разрыв с этим миром, произошел в поколении моих родителей — первом поколении, захваченном волной "просветительства" и включившимся в культуру и быт среды русско-еврейской интеллигенции.

Отец мой, родившийся в 1869 году, был человеком очень способным. По семейным преданиям, в детстве и отрочестве он подавал надежды стать блестящим талмудистом. Но в возрасте 14 лет, соприкоснувшись с средой "эмансипированной", вольнодумной молодежи, он резко и бесповоротно порвал все связи с семьей, религией и традиционным бытом и отправился бродить по городам и местечкам черты оседлости со странствующей театральной труппой, которая давала спектакли, на идиш, разумеется, всюду, где была более или менее значительная еврейская община.

Никакого систематического школьного обучения мой отец не получил, но сумел самоучкой, в условиях полунищенского существования, получить учительский диплом, дававший ему право преподавания в еврейских начальных школах, а затем и аттестат зрелости. Он даже несколько лет учился вольнослушателем на математическом факультете Одесского Университета, но закончить его не сумел.

Ко времени моего рождения (1898) мой отец уже был

учителем в еврейской общественной Торговой школе в Одессе. Здесь он проработал свыше 25 лет и составил вышедший несколькими изданиями очень хороший учебник арифметики. В 1925 году он переехал в Москву и продолжал свою педагогическую работу уже не в еврейских, а в общих школах с преимущественно русским контингентом учащихся и учителей. Последний свой урок в школе он дал за два месяца до смерти, когда ему шел 78-й год.

Мать моя также была захвачена волной эмансипации. Ее разрыв с семьей и традиционным бытом был не менее глубок, хотя, быть может, и менее драматичен. Она получила начальное русское образование и некоторое время работала учительницей в еврейской народной школе. По натуре более активная, чем мой отец, она увлеклась идеями социализма и активно участвовала в работе Бунда. В 1898 году, в то время, когда я вскоре должен был появиться на свет, мать моя находилась в заключении в Одесской тюрьме и должна была предстать перед судом по обвинению в революционной деятельности. Однако, не в пример "гуманной" коммунистической власти, "жестокое" царское правительство, учитывая ее беременность, выпустило ее из тюрьмы и отправило в город Бердичев под поручительство родных. Там я и родился 20 сентября (2 октября) 1898 года, а через несколько месяцев после этого моя мать была направлена под гласный надзор полиции на три года в г. Кишинев. В 1901 году срок ее высылки кончился, и она со мной переехала к отцу, в Одессу. Здесь я и прожил до 1922 года, здесь прошли мои годы детства, отрочества и юности.

Путь, пройденный моими родителями, путь из замкнутой еврейской общины с ее традиционным бытом и религиозной духовной культурой в эмансипированную и в значительной мере ассимилированную среду еврейской интеллигенции, жившей совершенно иными интересами и запросами, был очень типичным для всего их поколения. В большей или меньшей степени процесс эмансипации и приобщения к жизни русского общества и к русской культуре захватил и всех братьев и сестер моих родителей. Один из братьев моего отца стал тоже учителем и переселился в Одессу. Сестра моей матери окончила фельдшерские курсы и работала акушеркой-фельдшерницей в больницах Бердичева и

Житомира, а примерно с 1930 года в Москве. Муж ее работал статистиком в уездной земской управе и был корреспондентом либеральной русской газеты "Киевская мысль". В конце 30-х годов он был арестован и погиб на одном из бесчисленных островов Архипелага ГУЛаг. Брат матери открыл в Бердичеве контору по продаже сельскохозяйственных машин и был представителем каких-то американских фирм. Позже он переехал в Киев. О трагической судьбе этой семьи я расскажу позже.

Другие мои дядья и тетки не сумели получить образования и остались ремесленниками. После погромов 1905 года брат и сестра отца эмигрировали в США и влились в среду эмансипированного американского еврейства.

Во всех этих семьях нашей родни разрыв с религией и традиционным бытом зашел довольно далеко, хотя он не был всюду столь полным, как в нашей семье. Пока они жили в Бердичеве или в других маленьких городках и местечках, кое-какие предписания религии и обряды еще соблюдались. Я отчетливо помню, например, свадьбу старшей сестры моего отца, на которую меня привезли ребенком пяти или шести лет. Вероятно, я именно потому и запомнил эту свадьбу, справлявшуюся по всем религиозным правилам и обычаям, что хула и все остальное поразили мою детскую впечатлительность своей необычностью.

Вероятно, в семьях нашей родни, пока они жили в Бердичеве, и пища была кошерной, и суббота более или менее соблюдалась, и кое-какие связи с синагогой поддерживались. Но все это было уже не подлинной глубокой верой, а лишь данью традициям и приспособлением к нравам и обычаям окружавшей их среды. Поэтому, как только они переезжали в большие города, все забывалось: и правила кошрута, и святость субботы, и молитвы. Оставалась лишь порядочная доля ханжеского лицемерия.

В нашей семье атеизм и разрыв с традициями и обычаями были полными и вполне искренними. Для моих родителей религия просто не существовала. Никакие религиозные предписания или традиционные обычаи в доме не соблюдались. Никаким молитвам никто никогда меня не обучал, и за всю свою долгую жизнь я был в синагоге, кажется, только один раз. Помню, как-то раз, перед Пасхой, отец сказал мне:

”Ну, пойдем в синагогу. Нужно ведь тебе хоть раз посмотреть, что это такое”. Было мне тогда лет 12, и посмотреть службу в синагоге мне было занятно, но никаких религиозных эмоций она во мне не вызвала.

Единственная уступка традициям, от которой мои родители не могли отказаться, заключалась в том, что мне, как и всем мальчикам в наших семьях, была сделана операция обрезания. Правда, для очистки совести мои родители убеждали самих себя и всех окружающих в том, что они делают это не из религиозных или традиционных, а из чисто гигиенических соображений.

К религиозному лицемерию кое-кого из наших родных и знакомых мои родители относились терпимо и добродушно. В Йом-Кипур, например, как я помню, мать всегда готовила обед человек на 10–15, потому что очень многие родные и знакомые, якобы соблюдавшие пост дома (неудобно, знаете ли, перед соседями!) забегали в этот день к нам подкрепиться. Помню также, что две мои тетушки, строжайше соблюдавшие все правила кошрута в семь дней пасхальной недели, в последний день вечером приходили к нам и великолепнейшим образом уплетали бутерброды с маслом и ветчиной. Мой юношеский радикализм не мог, конечно, примириться с этим, и на всю свою жизнь я вынес из своего детства глубокое отвращение ко всем проявлениям религиозного лицемерия, к соблюдению обрядов без глубокой и искренней веры.

Вся та социальная среда, в которой мы жили, весь круг друзей и знакомых, с которыми мы общались, были столь же арелигиозны и оторваны от всех корней традиционного иудаизма. Проблемы, которые эту среду волновали и которые горячо обсуждались, это были те же проблемы, какими жило окружавшее нас русское общество. Конечно, все, что касалось судьбы и положения еврейства, переживалось особенно остро, но я не помню, чтобы когда-нибудь в этой среде обсуждались вопросы религии, философии и этики иудаизма и т. п. Все это уже ушло в прошлое навсегда и окончательно.

Больше всего знакомых было у моих родителей, конечно, из среды товарищей отца по работе, учителей школы, где он работал. Эта школа была явлением столь значительным и

характерным для жизни еврейской общины Одессы в начале этого века, что, быть может, стоит сказать о ней несколько слов.

Школа эта не была правительственной и не получала от правительства никаких субсидий, но тем не менее она числилась "в ведении" и находилась под контролем Министерства торговли и промышленности, которое имело свою сеть учебных заведений. Средства на строительство ее довольно большого и хорошо оборудованного здания, равно как и средства на ее содержание, поступали частично из сумм так называемого "коробочного сбора", т. е. доходов, которые еврейская община получала от продажи кошерного мяса, а главным образом от группы богатых евреев — промышленников и негоциантов, — которые составляли Попечительский совет школы, назначавший ее директора и контролировавший его деятельность.

Обучение в школе было бесплатным, и контингент ее учеников (около 300 человек) составляли дети еврейской бедноты, которым эта школа должна была прежде всего дать профессию, подготовив их к работе в коммерческих предприятиях и банках. Нужно иметь в виду, что в то время этот вид деятельности, если не считать ремесла, был единственным возможным для детей из бедных еврейских семей. Высшее образование и приобщение к свободным профессиям врача, юриста, инженера, учителя были доступны лишь детям из более или менее обеспеченных семей и из семей интеллигенции.

Однако, несмотря на всю важность этой практической задачи, группа учителей, работавших в этой школе, никогда не могла ограничиться ею. Все усилия были направлены на то, чтобы дать учащимся возможно более высокую общеобразовательную подготовку и поднять их культурный уровень. Это уважение к культуре, к знанию, независимо от его практической полезности, кажется мне теперь очень характерным проявлением еврейской ментальности.

Обучение в школе велось на русском языке, школа была совершенно светской и даже свободной от приверженности к традиционным духовным ценностям иудаизма. Дети воспитывались в духе общеевропейской гуманитарной культуры, которую они впитывали, конечно, через культуру рус-

скую, но без какой-либо специфической к ней приверженности. В целом дух этой школы был таков же, как и дух моей гимназии, о котором будет речь в следующей главе. Да и состав учителей в этих двух учебных заведениях был в большой мере одним и тем же. В подавляющем большинстве своем все они были не только хорошо подготовленными и очень умелыми педагогами, но и людьми глубоко идейными. Для всех них работа в школе была не просто профессией, дающей средства к жизни, но делом их жизни, выполнением долга перед еврейским народом. Все эти люди, как и другие друзья и знакомые нашей семьи, были не просто совершенно атеистичны, но и оторваны от корней иудаизма, глубоко ассимилированы в европейской культуре. И тем не менее все они оставались евреями, жили горестями и радостями еврейского народа и полностью идентифицировали себя с этим народом.

Это явление было очень характерно для всей нашей среды. Все мы — и в поколении моих родителей и в еще более глубоко ассимилированном моем поколении — были "евреями без иудаизма", евреями по национальности, а не по духовной традиции и религии. Быть может, самым наглядным, хотя и не осозанным, проявлением этого было то, что вся наша среда, все окружение были чисто еврейскими. Это не было результатом какого-то сознательного желания отгородиться от русского общества, близкого нам и по культуре и по общественно-политическим взглядам, но происходило как-то само собой. В какой-то глубинной нашей сущности было нечто, отделявшее нас от этого общества, была какая-то несовместимость, мешавшая нам смешаться с ними, как не могут смешаться вода и масло. Тогда мы не задумывались над этим. Мы жили в чисто еврейской среде и еврейскими интересами так же просто и естественно, как рыба живет в воде, а птица — в воздухе. Мы оставались в своей глубинной сущности евреями, хотя и походили в некотором отношении на мольеровского господина Журдена, которые всю жизнь не подозревал, что он говорит прозой.

Если пользоваться Кантовской терминологией, то, несмотря на разрыв с традицией, мы оставались "евреями в себе", но еще не стали евреями "для себя".

Наша полная, хотя и не полностью осознанная идентификация себя с еврейским народом создавалась не только внешним давлением: ограничениями в правах, государственным и бытовым антисемитизмом, погромами. Корни были значительно глубже, и потому даже тогда, когда все внешние ограничения отпали и антисемитизм почти не проявлялся (в период советской власти до 30-х годов), моя среда оставалась чисто еврейской, и я не переставал ощущать себя евреем, хотя в моей культуре не оставалось и следов иудаизма, а среди моих знакомых и даже приятелей было немало очень хороших русских людей, с которыми меня связывала общность научных и общекультурных интересов.

Тогда я не задумывался о том, почему же все мои интимные друзья были евреями, почему я жил фактически в чисто еврейской среде, а мои приятельские отношения с русскими знакомыми никогда не перерастали в подлинную духовную близость. Лишь много позже я осознал и понял глубокое своеобразие еврейской ментальности, отделяющее еврея от нееврея. Десятилетия потребовались мне для того, чтобы понять, что всю свою жизнь моя семья и сам я жили рядом с русским обществом, а не в нем.

Я остановился на этом с излишними, быть может, подробностями, потому что это необходимо для понимания того, каким образом могло так ярко вспыхнуть национальное самосознание, ощущение своей кровной связи с еврейским народом и его государством в среде советской еврейской интеллигенции, столь глубоко ассимилированной и столь полно оторванной от всех исторических корней иудаизма. Не поняв, что еврейство, как и всякая иная национальная идентификация, лежит в "крови", что она глубже, чем вся система верований, взглядов, убеждений, культурных традиций, нельзя понять замечательное историческое явление алии еврейской интеллигенции из СССР, нельзя понять, какая сила заставила столь значительную часть этой хорошо устроенной в Союзе и глубоко ассимилированной интеллигенции воспринять Государство Израиль как свое подлинное отечество и устремиться туда, преодолевая все преграды и часто принося большие жертвы.

В воспитании, полученном мной в семье и позже в школе, отсутствовали все элементы какой бы то ни было специфици-

ческой национальной культуры — еврейской или русской. Вся библейская и раввинистическая культура были отброшены или, в лучшем случае, сохраняли свою ценность лишь как памятники на пути развития общей культуры человечества. Но вместе с тем в этом воспитании не было и ничего целенаправленно русского. Нас воспитывали в духе глубоко космополитическом, в духе единой общечеловеческой культуры, где все национальные особенности стирались и отходили на задний план. Таким космополитом в культуре я остался на всю свою жизнь. Точнее сказать, не космополитом, а европейцем, западником, ибо культуры азиатские, африканские, исламские всегда оставались вне поля моего восприятия.

Этот мой космополитизм — или европеизм — сложился в большой мере под влиянием чтения, к которому меня приучали с первых лет жизни и которое имело решающее значение в формировании моего мировоззрения. Первой книгой, которую мне читала мать, когда я сам еще читал очень плохо, была "Хижина дяди Тома". Я и теперь помню, как горько мы оба плакали над этой книгой. А позже: "Спартак" Джiovанниоли, "Овод" Войнич, ну и, конечно, Вальтер Скотт, Жюль Верн, Майн Рид, Фенимор Купер, Луи Буссенар и т. д. Когда я подросток, наибольшее влияние на меня имели Виктор Гюго и Диккенс. "Отверженные", "Собор Парижской Богоматери", "Человек, который смеется", "Девяносто третий год", так же, как и Диккенс с его огромной теплотой и человечностью, с безоговорочным разделением людей на "добрых" и "злых", с самого детства оставили в моей душе неизгладимый след, воспитав меня в духе абстрактного общечеловеческого гуманизма, чуждого какому-либо национализму.

Великая русская литература пришла ко мне позже и только укрепила этот гуманизм, но ни в малейшей мере не придала ему специфически русской окраски. Всякое славянофильство, всякая исключительная приверженность к какой бы то ни было — русской или еврейской — национальной культуре казались мне тогда — да кажутся и теперь — пережитком примитивного варварского мировосприятия.

И вместе с тем мне кажется, что именно эта тяга к абстрактной, общечеловеческой гуманности, это стремление

всегда стать на сторону слабых и угнетенных, этот космополитизм, преодолевающий и стирающий все национальные различия, и составляют самую сущность души современно го еврея, сущность, не зависящую от его взглядов и убеждений — религиозных или политических.

С антисемитизмом, притом в самых варварских и грубых его проявлениях, мне пришлось столкнуться в очень раннем возрасте, во время еврейского погрома в Одессе в 1905 году. Непосредственно наша семья в эти дни не пострадала, потому что по счастливой случайности мы жили в это время на улице, где находились французское и английское консульства. Власти выставили возле них военные патрули, не допустившие погромщиков на эту улицу, но переживания и страшные рассказы взрослых о том, что происходило в городе в это время, на всю жизнь врезались в мою память. Никогда не забуду, как семилетним ребенком я часами бродил один по нашему двору, сжимая в бессильной ярости кулаки и мечтая о том, как буду убивать погромщиков, "когда вырасту".

Позже мне довелось близко познакомиться и с другими прелестями еврейского житья в царской России — с чертой оседлости и процентной нормой. Году примерно в 1909 или 1910 мои родители сняли на лето дачу на хуторе под Бердичевом, чтобы провести лето со своими родными. Хутор этот находился уже за городской чертой Бердичева и считался сельской местностью, где евреям жить воспрещалось. До сих пор в душе моей тлеет горечь обиды, когда я вспоминаю еженедельные визиты к нам урядника, приходившего вымогать свою очередную взятку под угрозой немедленного выселения нас. С процентной нормой для евреев я хорошо познакомился при поступлении в гимназию и в Университет.

Но — странное дело — как остро и болезненно ни воспринимались в нашей среде все эти проявления антисемитизма, они рассматривались только как результат реакционной политики самодержавного царского правительства и как следствие "вековой темноты" русского народа. О более глубоких корнях антисемитизма мои родители и весь круг их друзей и знакомых не задумывались. Они жили иллюзорной верой в то, что прогресс цивилизации во всем мире, с

одной стороны, и свержение самодержавия и подъем культуры русского народа после революции, с другой стороны, раз навсегда решат еврейскую проблему и покончат с антисемитизмом во всем мире.

Эти две иллюзии — "вера в цивилизацию" и "вера в Революцию" — на долгие годы предопределили и мое отношение к национальной проблеме и к сионизму, с которым я встретился к концу моих гимназических лет. Моря крови должны были быть пролиты прежде, чем я понял, что ни "расцвет цивилизации" в Германии, ни победа "социалистической Революции" в России ничего не изменили и ни от чего наш народ не спасли.

Дорогой ценой далось мне понимание правоты сионизма и осознание исторической необходимости создания государства евреев, как предпосылки для сохранения еврейского народа!

ОТРОЧЕСТВО И ЮНОСТЬ

В 1907 году я стал учеником первого класса частной еврейской гимназии Раппопорта в Одессе, а в 1915 году окончил ее. Наша гимназия была учебным заведением совершенно исключительным и по уровню подготовки, которую она давала своим питомцам, и по духу, который в ней царил. Я всегда вспоминаю эту гимназию с глубокой благодарностью и любовью. Многому я научился после гимназии, многие мои воззрения и убеждения жизнь изменила, но в главном, в основном, в том, что составляет глубинную сущность духовной жизни человека, я остался таким, каким сформировали меня в этой гимназии мои незабвенные учителя и круг моих ближайших товарищей.

В начале века, жестоко ограничив процентной нормой возможности обучения евреев в правительственных ("казенных") учебных заведениях — гимназиях, реальных и коммерческих училищах, — правительство было вынуждено дать разрешение открыть в России несколько частных еврейских гимназий, окончание которых давало право поступления в

Университет. Если не ошибаюсь, таких гимназий было на всю Россию три или четыре.

Та гимназия, в которой учился я, была основана М. И. Иглицким. Я его уже не застал: в 1905 году, во время студенческих беспорядков, сын его, студент, был убит в Университете черносотенцами, а через год или два, в годовщину смерти сына, отец застрелился на его могиле. По рассказам моих родителей и учителей Иглицкий был превосходным педагогом и высокоинтеллектуальным человеком, понимавшим все значение создаваемой им гимназии для еврейского народа.

После смерти Иглицкого гимназия перешла к новому владельцу и директору — Илье Рафаиловичу Раппопорту. Это был суховатый, замкнутый и даже несколько надменный человек, но, насколько я могу судить, превосходный организатор и администратор. Как "хозяин" он сумел привлечь к работе людей высокообразованных и культурных, владеющих педагогическим мастерством и глубоко преданных своему делу; как "директор" он находил правильные пути в контактах с властями, весьма недоброжелательно относившимися к этому еврейскому рассаднику вольнодумства. Раппопорт сумел сохранить гимназию в трудной обстановке, не поступившись ни ее интеллектуальным уровнем, ни ее либеральным духом.

Помогало ему, вероятно, то, что он обладал каким-то высоким чином в царской "табели о рангах" — случай, чрезвычайно редкий для человека "иудейского вероисповедания". Если не ошибаюсь, он был "действительным статским советником", что в армии соответствует чинам генеральским. Во всяком случае я помню, что в торжественных случаях наш директор появлялся облаченным в синий форменный мундир с золотыми "орлеными" пуговицами, в треуголке и даже при шпаге. Впрочем, в обычные дни он ходил в пиджаке. Мундиров в нашей среде не любили.

Во внутреннюю жизнь гимназии, в вопросы нашего обучения и воспитания директор вмешивался мало. Во всяком случае мы, ученики, с ним мало общались, побаивались его и не ощущали его непосредственного влияния. Подлинной душой гимназии, человеком, определившим и уровень образования в ней, и весь дух нашего воспитания, был инспектор

гимназии профессор Веньямин Федорович Каган. Это был не только один из крупнейших русских математиков и выдающийся педагог, но и человек необычайно широкого научного и философского кругозора, глубокого мышления. И в гимназии, и позже в Университете, и много лет после Университета он был моим настоящим Учителем. Он имел на меня огромное влияние и сыграл решающую роль в формировании моего мировоззрения.

Другим учителем, оказавшим на меня большое влияние, был профессор Самуил Осипович Шатуновский, также выдающийся математик, человек изумительного педагогического мастерства и глубокого и оригинального мышления.

Весь курс школьной элементарной математики я прошел под руководством Шатуновского и считаю это огромной удачей. У Шатуновского же я учился и в Университете.

Этим двум моим учителям я обязан больше всего. Но и весь педагогический коллектив в нашей гимназии был подобран из людей высокообразованных, умелых, а иногда и талантливых педагогов. Почти все они считали задачи нашего воспитания и обучения основным содержанием своей жизни. Они не ограничивались формальными уроками, и отдавали нам бесконечно много внимания и заботы. Как много они мне дали, — и как больно, что тогда мы, мальчишки, не могли достаточно оценить все это.

В старших классах многие учителя создавали кружки, в которых мы во внеучебное время подготавливали и читали рефераты на темы, далеко выходящие за рамки обязательной программы. Как я теперь понимаю, в этих кружках наши учителя стремились дать каждому из нас возможность самоопределиться, осознать и осмыслить подлинный круг своих интересов и наметить свой путь в жизни. С некоторыми из учителей я и близкие мне товарищи общались и вне школы, бывали у них дома.

Неудивительно поэтому, что и уровень обучения и характер воспитания были в нашей гимназии значительно выше, чем в гимназиях казенных, с их учителями-чиновниками. На всю жизнь сохранил я глубокую благодарность моим родителям за то, что они дали мне возможность получить воспитание в этом прекрасном учебном заведении.

Наша гимназия, как частная, да еще еврейская, находилась под строгим контролем и наблюдением Попечителя Одесского Учебного Округа, представителя Министерства Народного Просвещения на месте. Этот контроль осуществлялся прежде всего тем, что на переходные экзамены в 4-м и 6-м классах и на выпускные экзамены посылались так называемые "депутаты" от Учебного Округа — учителя казенных гимназий. Формально их задачей было следить за тем, чтобы уровень нашей образовательной подготовки был достаточно высок, поскольку аттестат гимназии давал право поступления в Университет, но фактически эти "депутаты" назначались из числа самых реакционных учителей-чиновников и следили за тем, чтобы не проявлялся в нас "дух вольнодумства". На экзаменах они всячески старались "срезать" юных "еврейчиков", что, впрочем, при уровне нашей подготовки удавалось им сделать не часто.

Учебный Округ строго следил также за соблюдением нами установленных Министерством "Правил для учащихся" и за тем, чтобы мы воспитывались в духе законопослушания и преданности царю и отечеству. С началом Первой мировой войны эта патриотическая тенденция усилилась. Теперь перед началом занятий всех учеников собирали в актовом зале, читалась молитва о ниспослании победы русскому оружию, и гимназический хор исполнял гимн: "Боже, царя храни!", слова которого держатся в моей памяти до сих пор. В конце последнего урока класс вставал, и дежурный читал молитву, в которой выражалась надежда, что вырастем мы "родителям нашим во утешение, наставникам на славу, царю и отечеству на пользу".

Конечно, этот официально навязываемый нам патриотизм вызывал в нас, учениках, только отвращение. Мы воспринимали все это как нечто чуждое и враждебное всему духу нашего воспитания и нашего уже складывавшегося мировоззрения. При этом мы ясно ощущали, что в нашей оппозиции ко всему, что шло "сверху", наши учителя были с нами, что молитвы, которые мы читали, и гимны, которые мы пели, противны им так же, как нам. В то время, когда я учился, революционная волна уже спала, активными революционерами наши учителя не были, и, соблюдая "лояльность", прямых революционных разговоров с нами не вели.

Но общий дух гимназии был, как я уже говорил, либеральный, свободлюбивый, преисполненный уважения к культурным ценностям, прогрессу и демократии. Мы знали, что этот дух глубоко враждебен официально навязываемой нам идеологии. Мы противостояли царскому режиму вместе с нашими учителями, и это создавало глубокий и искренний контакт между нами и ими.

Вот лишь один эпизод, характеризующий обстановку в нашей гимназии. Теперешняя "пермиссивность", вседозволенность, была, к счастью, чужда нашим учителям и нашим родителям. Мы должны были подчиняться крепкой, хотя, конечно, не казарменной, не палочной дисциплине. Не приготовленное домашнее задание, опоздание на урок, шум и разговоры в классе, шалости, выходящие за пределы дозволенного, вели за собой сейчас же замечание, а иногда и строгое наказание. Мы могли быть очень близки с учителями, бывать у них дома, но никакая фамильярность не допускалась. В общении со старшими и соблюдении приличий мы должны были подчиняться принятым нормам. Невежливый поклон учителю на улице влек за собой такой разгон, что по сей день не забыть этого; то же самое происходило, если мы не вставали, когда в комнату входили старшие или дама. И вместе с тем... Как-то, когда я уже кончал гимназию, в Одессу приехала на гастроли очень хорошая Московская труппа (кажется, Художественный театр). Достать билеты на ее спектакли было очень трудно, но каким-то чудом нас с товарищем удалось перед самым спектаклем достать билеты на "Живой труп" Толстого. По правилам для посещения театра мы должны были получить письменное разрешение в гимназии, но времени на это уже не было, и мы отправились в театр без разрешения. В антракте нас остановил какой-то "мундирный" учитель казенной гимназии и спросил наши разрешения, а поскольку таковых у нас не оказалось, то он отобрал наши школьные билеты и при соответствующем рапорте препроводил их в канцелярию Учебного Округа, откуда и последовала грозная бумага в гимназию. По сему поводу мы были вызваны с урока в кабинет инспектора — В. Ф. Кагана. Дрожа шли мы туда, гадая, какая кара нас ждет за наше "преступление", но наш суровый инспектор, разносивший нас за малейшее

нарушение дисциплины, встретил нас с улыбкой и сказал: "Мальчишки, зачем вы подводите себя и меня под неприятности? Разве кто-нибудь отказал бы вам в разрешении посетить этот спектакль?" А когда мы объяснили, что у нас просто не было времени зайти в гимназию за разрешением он сказал: "Ну, ладно. Берите ваши билеты и идите на урок. Напишу в Округ, что примерно наказал вас". Такие случаи — а их было много — не забываются. Они создают тот контакт ту духовную близость ученика и учителя, которые обеспечивают педагогу успех в работе.

Много еще хороших воспоминаний сохранил я о годах моей школы, но здесь, осмысливая свой путь в Израиль, я намерен остановиться лишь на общей характеристике полученного нами воспитания, и на том, какое место занимали в нем моменты национальные.

Гимназия была еврейской. Евреями были и все наши учителя за исключением учителя русского языка, превосходного педагога А. В. Крыжановского, и преподавателя немецкого языка — обрусевшего немца М. М. Гейгера. Евреями были и все ученики. В социальном отношении все мы — учителя и ученики — принадлежали к той же среде глубоко ассимилированной еврейской интеллигенции, в которой я рос с детства. Весь круг моих ближайших друзей и товарищей, со многими из которых я сохранил теснейшие связи на всю жизнь, был еврейским. И даже девушки, с которыми мы встречались и за которыми ухаживали, были из той же среды еврейской интеллигенции. С нашими русскими сверстниками мы почти не общались, и уж внутренних, дружеских связей у нас с ними совсем не было.

Но в этой нашей обособленности не было ничего нарочитого, ничего осознанного и преднамеренного. Просто еврейская среда была нашей естественной средой, в ней мы жили, не задумываясь над тем, что отделяет нас от русского общества — даже либерального и чуждого антисемитизму. Понимание глубоких корней этой обособленности пришло ко мне много позже.

В системе нашего обучения и воспитания не было никаких подчеркнуто национальных моментов. Преподавание велось на русском языке, который был для всех нас родным, материнским. Обучали нас по тем же программам и

тем же учебникам, что и учеников русских гимназий, и, пожалуй, единственным национальным элементом в нашем обучении и воспитании было то, что свободным от занятий днем была суббота, а не воскресенье, да еще то, что в дополнение к курсу всеобщей и русской истории мы "проходили" историю еврейского народа (по учебнику Дубнова), а вместо церковнославянского языка и Закона Божия нас немного, совсем немного, учили ивриту, так что мы с грехом пополам могли читать первые главы Танаха.

Нужно, однако, сказать, что и эти элементы национально-го еврейского воспитания не занимали большого места в системе нашего обучения. Скорее, эти предметы рассматривались как второстепенные. Но вместе с тем не было в нашем воспитании и ничего подчеркнуто русского, "патриотического". Конечно, события русской истории, особенно 19 века, была нам ближе и интересовали нас больше, чем события истории европейских государств, если не говорить о французской революции конца 18 века. Конечно, мировую культуру мы воспринимали через культуру русскую и прежде всего через великую русскую литературу, которой мы зачитывались и которая имела на нас огромное влияние. Но основная тональность нашего формирования в школе мировоззрения была, я бы сказал, космополитической. В нас воспитывался и рос интерес и уважение ко всей истории человеческой культуры, ко всем культурным ценностям человечества и прежде всего, конечно, к науке, интернациональной в самой своей сущности. Поэтому всякая национальная обособленность и даже национальная направленность в области культуры представлялась нам просто пережитком прошлого. Русская, наиболее близкая нам культура воспринималась как часть культуры мировой, а специфически еврейским культурным ценностям в нашем духовном мире почти не было места.

Это наше мировоззрение отчетливо проявилось и в нашем отношении к античной (греко-римской) культуре и истории, с одной стороны, и к культуре и истории библейского, т. е. приблизительно того же, периода жизни еврейского народа, с другой стороны. Античная культура вошла в наш мир как его живая и очень важная часть. Сначала это было увлечение греческой мифологией. Еще в детстве книга

Штоля "Мифы классической древности" была моим любимым чтением. Солнечный и жизнерадостный мир героев и богов Олимпа покорило мое воображение и стал первым слоем восприятия мира. Позже, уже в старших классах нашей "классической" гимназии, пришло не только понимание, но и почти физическое ощущение того, что вся европейская культура, единственно дорогая и ценная для нас, уходит всеми своими корнями в культуру античную, греко-римскую. Поэтому все события и все ценности этого мира были и остались для меня не памятниками прошлого, а живой составной частью моего духовного мира.

Еврейская культура дохристианского периода и вся система созданных ею ценностей не имела прямой связи с нашей системой ценностей, и потому история евреев в эту эпоху не вызывала у нас особого интереса. Исход из Египта, завоевание Палестины, бесконечные войны с окружающими народами, пленения и возвращения из плена, создание и падение Первого и Второго храмов — все события этой эпохи воспринимались нами как обычная история войн первобытных народцев, "борьба за существование" различных племен, которая для нас уже не имеет никакой актуальности и в которой наши симпатии не были ни на чьей стороне. В конце концов — Самсон разрушил храм филистимлян, кто-то там разрушил храм Соломона, римляне, строя свою империю, разрушили множество храмов, в том числе и еврейский — все это воспринималось одинаково как нечто ушедшее в прошлое и не актуальное.

Вся иудаистская культура той эпохи, основанная на Библии, была религиозной, и ей в моем мире уже не было места. Поэтому памятники той эпохи, если и представляли для нас некоторый интерес, то только как памятники общечеловеческой культуры, но не как наша особая, национальная ценность.

Один пример. В числе моих товарищей был Иосиф Троцкий (это его настоящая фамилия), мальчик, еще в юности поражавший всех своей исключительной одаренностью и эрудицией. В отличие от меня и некоторых моих друзей, интересы которых под влиянием Кагана и Шатуновского все больше сосредотачивались на математике и точных науках, Троцкий был всецело увлечен науками гуманитар-

ными — философией и историей. В кружке, который вел наш учитель истории Д. Л. Краснер, он сделал доклад о книге "Кохелет" царя Соломона, а я предпочел заняться историей Лаонской коммуны во Франции — типичной историей борьбы города с феодалами.

Доклад Троцкого поражал зрелостью, эрудицией, мастерством исторического анализа и глубиной понимания этой книги. Мой доклад не поднимался над уровнем школьной компиляции из нескольких прочитанных книг. Но нас — я помню это очень ясно — блестящий доклад Троцкого интересовал без всякого особого отношения к тому, что речь шла о памятнике еврейской культуры. С таким же интересом мы могли слушать доклад о греческой философии, об индийских Ведах или о Конфуцианстве. Все это были явления одного порядка — памятники мировой культуры. Мой же доклад, неизмеримо более слабый, воспринимался как нечто более актуальное, потому что становление современного буржуазного общества, его борьба с феодализмом — были нам интереснее, казались более непосредственно касающимися нас.

Характерно, что Троцкий, который уже в юности столь глубоко знал библейскую литературу и историю еврейского народа и который стал несколько позже горячим и убежденным сионистом, все же избрал своей специальностью греческую и римскую литературу и стал профессором классической филологии в Ленинградском Университете. (Правда, ему пришлось сменить свою опасную фамилию на фамилию Гронский).

По мере того, как выкристаллизовывались наши научные интересы, возрастал мой интерес к греческой философии, особенно к Аристотелю, и к греческой науке эллинистической эпохи.

Вероятно, мой специфический интерес к Аристотелю и плеяде великих математиков древности (Эвклид, Архимед, Птолемей, Пифагор) тоже возник под влиянием В. Ф. Кагана, который в последнем классе преподавал нам курс логики, а до того — курс космографии. Во всяком случае я помню, что писал для Кагана большой реферат об Аристотеле, который заинтересовал меня больше как отец современного естествознания, нежели как философ. Но и вся

эллинистическая культура — литература, архитектура, скульптура, — греческая демократия и даже внешняя история событий этого мира увлекали и интересовали нас несравненно больше, чем культура и история еврейского народа и еврейского государства.

Вероятно, в том предпочтении, которое весь наш круг отдавал культуре эллинистической, важнейшую роль сыграло то, что эллинистическая культура была в нашем восприятии по существу совершенно светской. Религия сохранялась в ней лишь как некая формальность. В отличие от этого религия пропитывала всю жизнь и всю культуру еврея той эпохи. Для нас все это было уже мертво, а в той мере, в какой религия сохраняла свое влияние в современной жизни, она была нам враждебна. Всякая религия — в том числе и еврейская. В еврейской культуре древности многое было нам не по душе: господство религии над всей жизнью, создание жреческого сословия, пышность Храма и жертвоприношения, бесконечные сектантские споры между фарисеями, саддукеями, эссеями в момент грозной национальной опасности, национальная ограниченность и вера в "избранный народ", противостоявшие столь дорогому нам космополитизму Римской империи.

Я думаю, что если бы мне довелось жить во времена Иосифа Флавия, то я примкнул бы к нему и был бы раздираем той же двойственностью переживаний, теми же проблемами, которые так глубоко были поняты и описаны Фейхтвангером в его трилогии. Понятно поэтому, что для нас разрушение Храма, потеря самостоятельности еврейским государством и даже рассеяние евреев в диаспоре были событиями, переживавшимися гораздо менее трагически, чем пожар Александрийской библиотеки. Каждый раз, как я думаю о том, что потеряло человечество с этим пожаром, мое сердце больно сжимается. Я не могу проанализировать самого себя достаточно глубоко, но мне кажется, что в основе моего глубочайшего отвращения к мусульманской культуре, ненависти — почти инстинктивной — к арабскому миру, переживанию реконквисты и изгнания арабов из Испании как нашей победы — лежит горечь этого пожара. Я ни в какой мере не являюсь приверженцем христианской религии, но рог Роланда звучит и для меня, в крестовых

походах все мои юношеские симпатии были на стороне крестоносцев, а не сарацинов.

Я говорю об этом так подробно, потому что только на этом фоне можно понять, почему с таким равнодушием и без интереса мы воспринимали историю еврейского народа в диаспоре, хоть и "проходили" ее по Дубнову.

Для нас падение античного мира, победа варваров над Римской империей, гибель античной цивилизации и торжество христианства были началом периода полного мрака, в который мир погрузился в средние века. Мы не знали, да и не хотели знать никаких духовных или культурных ценностей средневековья. Феодализм, католическая церковь, теология, весь строй общества в средние века — воспринимались нами как длительный перерыв в развитии человечества.

История возобновлялась с Возрождения, с Эразма Роттердамского и Леонардо. Она перебрасывала мост через ночь средних веков в культуру античности (недаром же "Возрождение") и открывала путь через Галилея и Ньютона в сверкающие чертоги современной культуры.

Но если история Европы начиналась для нас с Возрождения, то, естественно, история евреев начиналась с Просветительства, с включения евреев в общий прогресс человечества. Все, что было до этого — от падения Храма до, примерно, начала 19 века — для нас не существовало. Это был тот же перерыв в развитии человечества, та же ночь, то же средневековье. Достижения еврейской культуры, созданной за это время, оставались нам почти неизвестными и всегда абсолютно чуждыми. Вся эта культура была связана с религией, построена на ней, была культурой раввинистической, а с религией и раввиноматом мы навсегда порвали все связи. Собственно говоря, их просто и не было — разрыв произошел в поколении наших отцов.

Отсюда характерная разница в моем отношении к языкам латинскому и европейским, с одной стороны, и к ивриту, с другой. Гимназия наша была "классической". Греческий язык в ней уже не преподавался (о чем я до сих пор сожалею), но латыни нас учили шесть лет и учили основательно. Из интереса к античности, и, вероятно, потому, что учителем латыни был человек прекрасно образованный и очень интересный, я изучал ее охотно и с успехом. В седьмом

классе гимназии я написал своему учителю большое, на нескольких листах письмо на латинском языке. Он ответил мне таким же письмом, и у нас завязалась довольно регулярная переписка обо всем на свете. Вопрос об уроках, отметках и вызовах к доске после этого, конечно, отпал, если не считать таких экзотических вещей, как переводы басен Крылова на латынь, которые он заставлял меня делать. Впрочем, позже мне довелось познакомиться с родственником композитора Стравинского, который на досуге занимался переводом русских частушек на средневековую латынь. Всякое бывает.

В восьмом классе я и один мой ближайший друг стали бывать довольно часто у нашего латиниста дома. Иногда мы вместе читали Тацита и Вергилия, которые не входили в гимназическую программу, а иногда играли в преферанс.

Таково было мое отношение к латыни и мои успехи в ней.

Совершенно иным — и у нас и у учителей — было отношение к ивриту. В гимназии он рассматривался (так же, впрочем, как и история еврейского народа) как предмет не основной, второстепенный, и представлялся нам чем-то навязанным извне. Соответственно, и успехи мои в изучении этого языка были неизмеримо меньше, чем в изучении латыни и двух европейских языков (французского и немецкого), не говоря уже о языке русском. К концу гимназии с грехом пополам освоил азбуку и прочел несколько первых глав Пятикнижия. И это несмотря на то, что иврит был единственным предметом, по которому я, золотой медалист, имел "репетитора" в дополнение к школьным урокам.

Такими, юношески жизнерадостными, страстно увлеченными культурными ценностями человечества, преисполненными веры в прогресс и науку, нас застигла катастрофа — Первая мировая война. Для меня это было потрясением необычайной силы. Рушились все основы мира. Но об этом, пожалуй, уместнее говорить в следующей главе, посвященной моим годам в Университете.

Здесь же я хотел бы только отметить, что война не вызвала у нас ни подъема "патриотических" чувств по отношению к России, ни подъема национальных еврейских

чувств. Когда в Одессу хлынула волна еврейских беженцев из мест, захваченных войной, В. Ф. Каган стал одним из руководителей Еврейского комитета по оказанию им помощи. К работе в этом Комитете (конечно, технической) он привлек меня и еще кое-кого из учеников. Мы работали много, потрясенные зрелищем человеческого горя, с которым мы столкнулись впервые в жизни. Но никому из нас не приходило в голову задуматься над тем, почему мы помогаем именно евреям, хотя мы были полны сочувствия к ним. Я думаю, что тогда для меня ничто бы не изменилось, если бы я работал в Комитете по оказанию помощи полякам, украинцам или любым другим беженцам. В моем мировоззрении еще не было наций, были только "люди".

НАЧАЛО ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Весной 1915 года я окончил гимназию с золотой медалью, получил заветный "аттестат зрелости", и передо мной со всей остротой встал вопрос о выборе жизненного пути. Внутренних сомнений и колебаний у меня не было. В шкале духовных ценностей, принятой в нашей среде и с детства „своенной мной, наука или культура в самом широком понимании этого слова (литература, искусство) всегда занимали первое место. Профессии, связанные с "деланием денег", или участие в коммерческой, промышленной, банковской деятельности воспринимались в этой среде как нечто несравненно менее достойное. Бедный ученый или писатель имел гораздо больший социальный престиж, чем самый богатый купец.

Тогда я не задумывался над тем, насколько глубоко национальной чертой является этот почти инстинктивный приоритет "учения" перед практической деятельностью, направленной на созидание материальных благ. Лишь много позже я осознал, что по существу это было проявлением той же извечной еврейской ментальности, которая заставляла еврейского богача гордиться тем, что дочь его вышла замуж за нищего "ешиботника", обещающего стать блестящим

талмудистом. Содержание понятия "учение" менялось, место Талмуда и раввинистической мудрости заняли ценности европейской культуры, но неизменным оставалось исконное еврейское уважение к "учению".

Во всяком случае ни родителям моим, ни мне ни на минуту не приходила в голову мысль о том, что я могу пойти по пути коммерческой деятельности и обогащения, хотя возможности такие благодаря многолетней дружбе моих родителей с одной очень богатой семьей в Кишиневе у нас были. Дорога была одна — в Университет, на физико-математический факультет, потому что к концу учебы в гимназии под влиянием Кагана и Шатуновского уже вполне ясно определился мой интерес к математике и точным наукам. О дальнейшем, о том, как трудно было еврею в царской России стать ученым, мы не задумывались. Будущее покажет, останусь ли я на всю жизнь учителем, как мой отец, или выйду на широкую дорогу научного творчества. Сейчас важно было одно — учиться.

Легко сказать, но нелегко было мне, еврею, получить такую возможность. Формально моя золотая медаль давала мне преимущественное право на поступление в Университет в счет процентной нормы. Но время было военное, Университет предоставлял отсрочку от отбывания воинской повинности, а богатые и влиятельные одесские евреи отнюдь не горели желанием послать своих сыновей сражаться "за царя и отечество". Поэтому всеильные в царской (как впоследствии и в Советской) России взятка и протекция делали свое дело, и шансы мои на зачисление в Университет были невелики.

К моему счастью, министром народного просвещения был в это время либеральный граф Игнатъев (отец известного генерала царской, а потом советской службы, автора нашумевшей книги: "50 лет в строю"). По его распоряжению в Университеты зачислялись "сверх процентной нормы" дети учителей-евреев, работающих в школах Министерства народного просвещения. Но школа, в которой работал мой отец, как я уже упоминал, находилась в ведении не этого Министерства, а Министерства торговли и промышленности. Формально на меня льгота, предоставленная либеральным министром, не распространялась.

Пришлось моему отцу вооружиться всевозможными рекомендательными письмами к сильным мира сего и отправиться в Петроград хлопотать о своем уравнении в правах с учителями школ Министерства народного просвещения. Все кончилось благополучно. Маклаков, один из руководителей кадетской партии, замолвил обо мне словечко министру в кулуарах Думы, после чего министр принял моего отца и распорядился о моем зачислении в Университет. Небольшая взятка какому-то делопроизводителю, — и соответствующая телеграмма в тот же день полетела в ректорат Университета.

Никогда не забуду я того чувства счастья, которое охватило меня, когда мы получили телеграмму об этом от отца, но никогда не забуду и того горького чувства обиды и унижения, которое я пережил при мысли о том, какой ценой и как случайно досталось мне право учиться! То самое право, что само собой давалось любому русскому оболтусу, с грехом пополам окончившему казенную гимназию. Быть может, тогда я впервые ощутил, как горько, как тяжело жить еврею на чужбине. Не в этот ли день я сделал первый шаг по тому пути, который после долгих блужданий привел меня уже на склоне лет в Израиль?

Порог Университета я переступил с таким чувством благоговения и священного трепета, с каким, вероятно, глубоко верующий человек входит в храм. Университет был для меня, действительно, "храмом науки", а каждый профессор или доцент казался мне носителем всей человеческой мудрости.

Конечно, основные мои интересы лежали в математике, и возможность слушать лекции Кагана, Шатуновского и некоторых других профессоров была главным содержанием жизни моей и группы моих школьных и вновь обретенных друзей на факультете. Но интересно было все — классическая филология и история, право и социология, естественные науки и медицина. Посещение лекций в ту пору было, к счастью, необязательным, никакого контроля за этим не было, и мы очень быстро сообразили, что на лекции многих профессоров ходить не стоит, потому что они из года в год читают одно и то же, по одним и тем же запискам; можно было брать у "стариков" эти записи и прорабатывать этот

материал самостоятельно дома, а дневное время использовать для удовлетворения нашей жадной страсти к познанию всего на свете.

Ну как, в самом деле, не ходить на семинар по греческому языку, который с таким мастерством вел профессор Мандес? Или пропустить блестящий курс "Истории колонизации", который читал Бицилли? И разве можно было не слушать общий курс "Энциклопедии права" на юридическом факультете или курс анатомии человека на медицинском? Первые два года моей жизни в Университете были заполнены, как я вспоминаю, лихорадочной беготней по всем факультетам и чтением, столь же лихорадочным и столь же широким.

А ведь приходилось еще и работать, чтобы добывать средства к существованию.

Семья наша была среднего достатка. Жалованье отца в школе составляло 150 рублей в месяц, небольшой дополнительный доход довали ему частные уроки и написанный им хороший "Учебник арифметики", вышедший несколькими изданиями, так что нужды я в детстве не знал. Но квартира съедала треть жалованья, мать не работала, в семье была домашняя работница, детей было трое и всех нужно было накормить, одеть, учить. Поэтому денег всегда было дома в обрез, покупка каждого пальто или костюма обсуждалась долго и тщательно, а взнос платы за право учения был серьезной проблемой. Нелегко было моим родителям справиться и с оплатой моего обучения в частной гимназии — оно было гораздо дороже, чем в казенных. Поэтому уже в восьмом классе гимназии я начал помаленьку прирабатывать "репетиторством", частными уроками.

Когда я окончил гимназию, то понял, что отныне я должен не только не сидеть на шее отца, но по возможности помогать ему поднять на ноги моего брата, родившегося в 1905 году, и сестру, родившуюся в 1915 году. В таком же положении находилось много студентов. Конечно, было в Университете какое-то число их из богатых слоев населения — детей помещиков, крупных чиновников или промышленников, — но не эти "белоподкладочники" задавали тон жизни и определяли характер студенческой среды. Да и концентрировались они преимущественно на юридическом

факультете. Наш же факультет – физико-математический – был очень демократическим по составу и либеральным по царившему в нем духу. Учились здесь преимущественно дети интеллигенции (учителей, врачей, адвокатов) или выходцы из не очень богатых слоев среднего класса, и потому почти все мы жили уже собственным трудом. Кто был физически покрепче, хорошо подрабатывал на погрузочно-разгрузочных работах в порту, другие работали ночными сторожами в магазинах и банках, а некоторые – и я в том числе – пробавлялись частными уроками.

В этой области у меня скоро образовалась своя "специальность". Курс математики в женских гимназиях был в ту пору несколько меньшим, чем в мужских (в него не входила, например, тригонометрия). Поэтому курсистки Высших Женских Курсов должны были в течение первого года сдать дополнительный экзамен по математике в объеме разницы между программами мужских и женских гимназий. Для этого обычно собиралась группа из четырех–пяти девушек и приглашала учителя, который мог бы быстро подготовить их к этому экзамену. С. О. Шатуновский, который преподавал и на Высших Женских Курсах, рекомендовал одной такой группе меня; скоро я приобрел некоторую популярность, и такие уроки стали моей специальностью. Платили мне по тем временам очень хорошо – рубль за урок, продолжавшийся обычно часа полтора–два. Нужно сказать, что я – 17-летний паренек – страшно стеснялся общества нескольких девушек и скрывал свое смущение под напускной учительской строгостью и формализмом. Увы, не только о каком-нибудь флирте, но и просто о дружбе с этими моими милыми ученицами не могло быть и речи!

В эту же пору я начал втягиваться и в редакционно-издательскую работу – дело, которому я отдал потом много лет труда и которое во многом определило мой жизненный путь. Втянули меня в эту увлекательную работу те же мои учителя – Каган и Шатуновский. Они и группа из нескольких других профессоров основали за несколько лет до этого издательство "Матезис", которое стало, думаю, самым серьезным и авторитетным центром издательской деятельности в области математики и близких к ней наук. Знания немецкого

и французского языков, полученного мной в гимназии, было достаточно, чтобы переводить с них математические книги, и мои учителя начали втягивать меня в эту работу, редактируя мои переводы и обучая их искусству. Вот где я впервые столкнулся с настоящим мастерством редакционной работы! Бесконечно много дала мне для всей последующей деятельности короткая пора работы в "Матезисе". Но если я упоминаю об этом здесь, то главным образом для того, чтобы подчеркнуть: соприкосновение с миром иностранной научной книги еще больше укрепляло мою приверженность к общечеловеческим ценностям и ослабляло всякие национальные чувства.

По обстоятельствам военного времени деятельность издательства "Матезис" постепенно свертывалась, оно не могло обеспечить меня работой, и с 1916 года я вместе с моим ближайшим другом начали работу в маленьком "коммерческом" издательстве М. С. Козмана в Одессе. Здесь уже не было никакой идеологии. Издавали мы учебники для школ и карманного формата "конспекты", пользоваться которыми в гимназиях воспрещалось. Не гнушались и бесконечной серией приключений "Фантомаса" и другой макулатурой. Но обстановка в издательстве была совершенно патриархальной. На окраине города в большом саду стоял двухэтажный небольшой дом. В верхнем этаже была квартира, она же контора, нашего "хозяина", в нижнем помещались склады книг и бумаги. В стороне стоял небольшой одноэтажный домик, в котором работали две печатные машины и несколько наборщиков. В этом издательстве мы вдвоем составляли весь "редакционный аппарат". Мы готовили рукописи к печати, оформляли книги, читали корректуры и прочее. Расчеты с нами хозяин вел на листках перекидного календаря, а деньги платил из кармана, без всяких ордеров, чеков и касс. Благодаря такой патриархальной обстановке мы тесно соприкасались с типографией и рабочими, и довольно хорошо познакомились с техникой типографского дела, что тоже сыграло свою роль в моей дальнейшей жизни.

Вот на таком фоне я столкнулся впервые в жизни с сионистским движением, которое начало в этот период интенсивно развиваться в Одессе и захватило многих моих

ближайших товарищей. Возникали бесконечные горячие дискуссии, и мне пришлось впервые в жизни задуматься над еврейским вопросом и судьбами еврейства.

Прежде чем говорить о себе и о том, почему я не принял в ту пору тогда сионизм и остался чужд ему, мне хотелось бы подчеркнуть, что в тех аспектах сионистского движения, которые увлекли молодых людей из нашей среды, не было никаких связей и контактов ни с еврейской религией, ни с традиционной еврейской культурой. Отношение к религии было даже по-юношески враждебным. Центром сионистской деятельности в Одессе всегда была синагога "Явно", в которой встречались все одесские сионисты. Однако очень многие мои товарищи, молодые и пламенные сионисты, считали для себя невозможным переступить порог синагоги. Они оставались во дворе и вызывали из синагоги тех, кто им был нужен.

Сионизм был признан даже теми из нашей среды, кто принял его, только как движение национальное, направленное на создание еврейского государства и спасение евреев от преследований и гонений. В остальном мои друзья – сионисты и несионисты – в равной мере оставались ассимилированными в общечеловеческой, точнее европейской культуре. Почему же я не мог тогда принять сионизм хотя бы в такой его форме?

Когда я пытаюсь сейчас, спустя почти 60 лет, отдать себе в этом отчет, я думаю, что причиной был не только "космополитический" характер всего моего мировоззрения, воспитанного школой и еще более укрепившегося в Университете, но и воздействие войны на взгляды мои и моих друзей.

Как я говорил ранее, война, застигшая меня на переломе от отрочества к юности, была для меня катастрофой, крушением всех представлений о мире и прогрессе, гибелью всего мне дорогого. По мере того, как война становилась все более варварской и разрушительной, в нас укреплялось ощущение гибели всей цивилизации. Мы начали чувствовать себя как бы римлянами начала эры, и наиболее частыми темами наших разговоров стали аналогии между нашим временем и временем падения Римской империи. Мы с трепетом ожидали наступления "нового средневековья"

(это слово означало для нас мрак и бескультурие и включало в себя иудаизм, так же как и христианство той эпохи).

К этому трагическому ожиданию "конца мира" присоединилось отвращение к политике и отрицание всякой государственности, полный отказ от какого бы то ни было патриотизма. Мы не верили ни в "святую, православную Русь", вступившуюся за угнетенных "братьев-славян", ни в легенду о "свободолюбивых и демократических союзниках", борющихся против "германского варварства". Все было ложью и лицемерием. Такой же ложью казалась нам и социалистическая альтернатива, идея революции и превращения войны империалистической в войну гражданскую. Нет, для нас сроки времен кончились, наша культура изжила себя, и мир стремительно несся к своему уничтожению.

Так стоит ли и нужно ли в этот период крушения всякой веры в государственность строить какое-то новое, националистическое (а само это слово было для нас табу) государство евреев? Таково примерно было мое настроение и мое отношение к сионизму, когда я впервые познакомился с ним, — насколько я могу сейчас восстановить свои мысли и чувства. Несомненно, что некоторую роль в этом сыграло и мое отвращение ко всякой общественной, политической деятельности, вытекавшее из оценки науки как единственной ценности. Это стремление уйти в науку и отгородиться от участия в политике прошло через всю мою жизнь. Оно дало мне хороший иммунитет против яда большевистской пропаганды и "марксистско-ленинской" идеологии.

В таком настроении мы встретили февральскую революцию. Все изменилось в одну ночь. Пало самодержавие, отменены были все национальные ограничения для евреев, провозглашены демократические права и свободы — казалось, над Россией восходит новое солнце, казалось, что открывается новая страница истории. Впервые я ощутил себя сыном России, впервые обрел Родину. Только этот короткий период между февральской и октябрьской революциями я и был патриотом России. Наш еврейский патриотизм во Вторую мировую войну носил совершенно иной характер: необходимо было защищать Россию от гитлеровских полчищ, потому что Советская Россия была меньшим из двух зол, и победа Гитлера означала бы физическую

гибель всех евреев Советского Союза. Мы тогда и не подозревали, как близка стала эта гибель после победы Сталина.

После февральской революции все наши помыслы устремились на служение впервые обретенному отечеству и его защите. Все помыслы о национальных проблемах евреев, о возможном создании государства евреев были оттеснены на задний план или совсем позабыты. Ведь еврейского вопроса в России больше нет! Революция принесла окончательное решение его! Легко теперь задним числом упрекать нас в наивности и политической слепоте. Но как было провидеть тогда, сквозь кровавый туман десятилетий, всю лживость, весь гнусный обман русской революции.

Первые два месяца после февральской революции я прослужил в спешно созданной студенческой милиции, заменившей царскую полицию. Довелось мне служить в портовом районе и впервые соприкоснуться с человеческим дном, с преступным миром, концентрировавшимся вокруг порта. Как только студенческую милицию распустили и заменили какими-то более постоянными формированиями, всем нам стало ясно, что теперь необходимо идти в армию, защищать революцию от немцев с оружием в руках. Война в первый раз обрела для нас смысл...

Мы все дружно отказались от освобождения, которое нам давал Университет, и всей группой подали бумаги о зачислении нас добровольцами в Сергиевское Артиллерийское Училище, которое в то время готовило ускоренные (за шесть месяцев) выпуски офицеров-артиллеристов. Мы без основания рассчитывали, что наша математическая подготовка даст нам возможность и в этот короткий срок стать хорошими артиллеристами.

Сергиевское Артиллерийское Училище в Одессе было одним из лучших, наиболее серьезных военно-учебных заведений царской России. В мирное время оно готовило офицеров для тяжелой и крепостной артиллерии, и уровень обучения в нем был с профессиональной точки зрения очень высок. Даже при ускоренных сроках учили нас добросовестно и хорошо.

До революции юнкерский состав Училища состоял почти исключительно из воспитанников кадетских корпусов, детей

помещиков и офицеров, в семьях которых воинские традиции и преданность "престолу и Отечеству" передавались из поколения в поколение. Мы, группа студентов, были несомненно первыми евреями, переступившими порог этого замкнутого рассадника кадрового царского офицерства. Воображаю, каким странным, чужеродным, непонятым элементом мы были для этой среды и прежде всего для педагогического состава Училища. И все же я должен отдать должное их выдержке, дисциплине и воспитанности. Не только ни одного антисемитского выпада (Советская Армия могла бы поучиться), но ни одного косога взгляда, ни одного нарушения корректности или случая несправедливости в отношении нас! Не думаю, чтобы это происходило из большого свободомыслия. Скорее всего действовал выработанный многими поколениями рефлекс воинской дисциплины. "Дожили! Вот приходится воспитывать офицеров русской армии из этих еврейчиков! Но приказано, значит приказано".

А мы иногда ставили этих офицеров в совершенно непривычные и трудные для них положения. Вспоминаю, например, процедуру приведения нас к присяге. Училище построили на плацу, перед фронтом за отдельными столами сидели православный священник, ксендз, лютеранский пастор и раввин. Никто и глазом не моргнул. После короткой патриотической, но вполне лояльной речи начальника Училища нам предложено было подходить к священнослужителям той религии, к которой мы себя причисляли, и принимать присягу сообразно нашему вероисповеданию. Все было совершенно корректно, но я и мой ближайший товарищ, два задорных петушка, не желали примириться с тем, что нас заставляют принимать присягу по какому бы то ни было религиозному обряду. Мы подошли к адъютанту Училища и доложили ему по всей уставной форме, что мы безбожники, ни в какого бога не верим и просим принять у нас присягу на честное слово. Какими дикими должны были казаться наши слова кадровому офицеру. Но ни один мускул не дрогнул на его лице. Он подвел нас к генералу, начальнику Училища и отрапортовал: "Вот, Ваше Превосходительство, два иудея-язычника не желают принимать религиозную присягу, просят присягнуть на честное слово". А умный старей генерал улыбнулся и сказал: "Что ж, примите у них

присягу на эфесе шашки". Мы отошли в сторону, адъютант вынул шашку, протянул ее нам, и, держа руку на ее эфесе, мы повторили слова присяги, опустив в них всякое упоминание Бога. Нелегко, должно быть, досталась эта импровизированная присяга нашему адъютанту!

Для нас короткие месяцы пребывания в Училище были первым периодом, когда мы тесно и непосредственно соприкоснулись с русской, да еще при том совершенно чуждой нам культурно и социально, средой. И в Университете, конечно, подавляющее большинство студентов были русскими, но они были из той же демократической среды, что и мы, у нас были общие интересы, и мы не находились в той вынужденной территориальной близости друг к другу, на которую обречены военнослужащие в казарме. У каждого была своя жизнь, свои друзья, свои единомышленники. Не было в этой среде и следов антисемитизма или, по крайней мере, он никогда и ни в чем не проявлялся. Мы жили с нашими русскими коллегами дружно, как бы одной студенческой семьей. Но все же, случайно ли было то, что круг моих близких, настоящих друзей составляли только евреи — мои товарищи по школе или вновь обретенные друзья по Университету? Случайно ли то, что ни в Университете, ни позже я так и не приобрел ни одного настоящего, интимного друга нееврея? Случайно ли то, что вся наша еврейская группа концентрировалась вокруг Кагана и Шатуновского — кроме них не было профессоров-евреев на факультете — и случайно ли весь круг близких учеников этих профессоров был еврейским? Ничего осознанного, ничего преднамеренного в этом не было. Мы все еще оставались только евреями "в себе" и еще не стали евреями "для себя".

Та же обособленность еще в большей степени проявилась, конечно, в Артиллерийском Училище. Жили как будто дружно жили как будто хорошо, но незримая стена отделяла нас от русских курсантов. Я не помню за все эти месяцы случая чтобы в отпуске мы провели хоть один вечер с ними. У нас была своя среда, свои, еврейские, девушки. У них была своя среда и своя жизнь. Мы жили рядом, не смешиваясь. Но и об этом я задумался только много позже. Тогда же было не до того: слишком много событий разыгрывалось вокруг нас, слишком напряженной и тревожной была жизнь,

слишком стремились мы как можно скорее и как можно лучше окончить училище и пойти на фронт защищать Родину и Революцию.

В таком душевном состоянии застала нас "Великая Октябрьская Социалистическая Революция".

ОКТАБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД.

Лето 1917 года было бурным, полным политических событий. Кипели политические страсти, волны их закатывались и к нам, в наше закрытое юнкерское Артиллерийское училище. Шли бурные, ожесточенные дискуссии в частных беседах, на улицах и площадях, на стихийно вспыхивавших митингах.

Армия больше не хотела и физически не могла воевать. Три года сидения в окопах обессилили ее физически. Полная бездарность и разложение командования подорвали авторитет офицеров. Исчезли и те иллюзорные лозунги, в которые вначале еще верили многие ("Святая Русь", "Царь-батюшка", "братья-славяне"...). Война полностью обессмыслилась.

Столетиями накоплавшаяся и подавлявшаяся тяга крестьянства к своей земле стала неудержимой. Ненависть и озлобление против высших слоев населения (помещиков, чиновничества, фабрикантов и купцов), угнетавших народ, разлились по всей русской земле.

В силу специфических особенностей русской истории, а может быть, и в силу особенностей русской национальной психологии, царизм, начиная с Московского периода русской истории, был единственной силой, единственной формой, способной создать целостность огромной, расплывчатой, аморфной и по существу глубоко анархичной стране. Как правильно отмечает Д. П. Кончаловский, "доминирующими в этом режиме царизма были две идеи: идея государственной власти, безусловной, абсолютной, воплощенной в особе царя, как Божьего избранника и всеобщго отца подданных; и идея всеобщей службы государству."*

* Кончаловский Д. П., "Пути России", Париж, 1969, стр. 75.

В начале века обе эти идеи в большей мере уже утратили свою действенность, но, "несмотря на все трещины и ущербы, вплоть до начала 20 века царизм оставался ведущей силой в России. Он продолжал держаться силой привычки, традиции, опыта, рутины, даже утратив свой престиж" * .

Поэтому когда к 1917 году неудачная, никому не нужная война подточила и свалила этот основной столп, на котором держалась Россия, и вместе с тем подорвала и авторитет другой силы, объединявшей и сплачивавшей русский народ — религии и церкви, — то не осталось уже сил, способных обуздать и успокоить разлившееся море озлобления и анархического бунта.

Теперь мне кажется совершенно ясным: единственным, что могло тогда спасти Россию и весь мир от страшной катастрофы коммунизма, было бы решение немедленно, на любых условиях, заключить мир, демобилизовать и распустить по домам армию, передать всю землю крестьянам, привлечь иностранный капитал и сосредоточить все усилия на развитии экономики и подъеме благосостояния страны. Но только большевики подхватили лозунги: "Долой войну! Немедленный мир! Штыки в землю!" и "Земля крестьянам, заводы рабочим!". У Временного Правительства и у нашей общественности не хватило на это ни ума, ни решимости. Именно это помогло большевикам стать во главе отчаявшихся и озлобленных масс, повести их за собой и одурачить, чтобы в недалеком будущем полностью их поработить и создать режим неслыханного террора.

Но если тогда этого не поняли руководители правительства и все умудренные опытом политические деятели, то где же было разобраться нам, мальчишкам, лишенным всякого политического опыта, жившим в мире абстрактных идей гуманизма и демократии, опьяненным впервые обретенным патриотизмом и желанием как можно скорее отправиться защищать с оружием в руках "Родину и Революцию". Невдомек нам было, что уже защищать нечего и не с кем. Не было уже той армии, которой мы могли бы быть нужны.

Понимание всего этого в то время было нам, по крайней мере мне, недоступно. Мы просто были на стороне Времен-

* Кончаловский Д. П., "Пути России", Париж, 1969, стр. 75.

ного Правительства, Учредительного Собрания, мы были за Конституцию, законность, порядок и дисциплину, уважение к которой нам сумели привить за короткий срок нашего пребывания в военном училище. Поэтому у нас вызывала ярость и озлобление "разнузданная солдатня и матросня" на митингах. Расправы с офицерами и выходки анархистов возбуждали негодование, и большевистская агитация воспринималась нами враждебно. Такие настроения были характерны не только для окружающей нас русской юнкерской среды, тесно связанной всеми семейными и школьными традициями со старым режимом и преданностью царю, но и для нашей еврейской группы, вдохновлявшейся совершенно иными идеями. Я не помню среди своих товарищей-евреев в эту пору ни одного, кто был бы сколько-нибудь близок к большевикам или сочувствовал их пропаганде.

В таком душевном состоянии нас застигла "Великая Октябрьская Социалистическая Революция", воспринятая нами как полная катастрофа, как гибель России и всего, что нам было дорого. До выпуска оставалось несколько недель, золотых погон на нас еще не надели, и тут начальник Училища генерал Нилус принял самое мудрое и самое гуманное решение, какое было тогда возможно. Своей властью, никого не спрашивая, он закрыл Училище и распустил нас всех по домам, выдав находившееся на нас казенное обмундирование и полагающиеся нам, как будущим офицерам, подъемные и прогонные деньги.

Я очутился дома, снова стал студентом Университета, и если бы меня спросили, что я делал следующие три года, я ответил бы словами французского аристократа, пережившего в Париже годы французской революции: "Я оставался жить". Действительно, трудно было выжить в Одессе в эти годы. Не успела установиться советская власть, как ее сменила власть украинской Рады, а потом снова красные и за ними австро-германские интервенты, "самостийное" правительство гетмана Скоропадского и петлюровцы, белые и красные, и снова белые, и снова красные. Власть в Одессе сменялась за эти годы не то 11, не то 13 раз, и каждая новая власть несла с собой голод, разруху, преследования, грабежи и убийства.

Мы, "обыватели", зажатые в этой схватке между моло-

том и наковальной, должны были, и не принимая активного участия в событиях, выработать все же какое-то свое отношение к ним. Белогвардейцы (деникинцы и врангелевцы), конечно, вызывали в нас только ненависть и отвращение, так же как и все украинские националисты и самостийники. Это было продиктовано не только тем, что все эти движения были связаны с возрождением ненавистного нам самодержавия. Теперь уже гораздо большее значение имело то, что все они возрождали антисемитизм в таких жестоких и грубых формах его, какие не снились и царизму. От этого разгула погромного антисемитизма пострадала и наша семья. Три сына брата моей матери жили в Киеве. Двое старших были уже женаты. В одну из очередных смен власти город заняли белые после нескольких недель пребывания в нем советской власти. В течение нескольких дней шли уличные бои, и никто из жителей не выходил на улицу. Когда же бои стихли, мой младший кузен вышел поискать где-нибудь хлеба для семьи. Его остановил казачий патруль: "Документы!". Он полез в карман тужурки за своим студенческим билетом и по привычке последних недель сказал: "Сейчас, товарищ". За одно это слово он был зарублен казаками на улице, тут же, у своего дома. Когда это стало известно, двое старших братьев выбежали на улицу, чтобы оказать ему помощь или подобрать тело. Их увели куда-то за город, и через несколько дней были обнаружены их трупы.

Из всех городов и местечек к нам в Одессу доходили страшные вести о массовых погромах и истреблениях евреев, чинимых белыми и с еще большей жестокостью украинскими националистами всех мастей и наименований.

В 1919 году мне довелось быть в городе Николаеве в то время, когда он был занят частями генерала Слащева*

* Напомню, что этот генерал Слащев, один из самых кровавых вешателей в белой армии, был советской властью не только прощен, но даже привлечен к преподаванию воинских наук в Академии им. Фрунзе. Что ни говори, родство душ! Правда, позже он был застрелен кем-то из своих слушателей, участником гражданской войны. Судьба этого человека покрыта мраком советской секретности, как, впрочем, и сам факт убийства Слащева.

Никогда не забыть мне страшного зрелища главной улицы этого города, где на всех столбах висели повешенные по приказу Слащева рабочие, подозреваемые в большевизме. Конечно, это были еще пустяки по сравнению с тем, что делалось позже в лагерях цивилизованной Германии и на островах "архипелага ГУЛаг" в "коммунистической" России, но для нас, интеллигентов-евреев, и этого было достаточно, чтобы полностью отворотить нас от всяких симпатий к белой армии, в которой мы видели возрождение самодержавия в худших его проявлениях.

Но и большевизма мы принять не могли. От него нас отталкивало полное попрание всех столь дорогих нам принципов демократии, насилие над всякой свободной мыслью, бессудные расправы. В тот день, когда до нас дошли из Петрограда сведения о разгоне всех демократических партий, о закрытии газет, о создании Чрезвычайной Комиссии и позже о разгоне Учредительного Собрания, я понял — отчетливо и на всю жизнь, — что большевизм для меня неприемлем. А когда в Одессе установилась советская власть, и мы на практике увидели, что такое "диктатура пролетариата" и "революционная законность", я испытал к ней отвращение, которое, иногда ослабевая, иногда усиливаясь, никогда не оставляло меня.

И все же в эти годы гражданской войны мы были несравненно ближе к красным, чем к белым. Дело было не только в том, что лозунги, под которыми выступали большевики, идеи социализма и интернационализма, которые они провозглашали, были все же неизмеримо ближе нам, чем идеология белогвардейского движения. Главным было, конечно, то, что в гражданской войне Красная Армия выступала как защитница евреев. В партии в то время евреев было много, в революции и гражданской войне евреи сыграли очень важную роль, и антисемитизма в советском строе тогда еще практически не было, а отдельные проявления бытового антисемитизма подавлялись. Правда, уже разворачивалась деятельность "евсекций"* , набирал силы процесс насильственной денационализации, русификации

* Еврейские секции при отделах пропаганды коммунистической партии. Существовали в 1918–1930 годах.

еврейства, но нас как-то эта сторона вопроса не затронула. Мы сами были слишком ассимилированы.

По всем этим причинам многие молодые евреи в ту пору вступили в коммунистическую партию и приняли активное участие в большевистской революции и гражданской войне. Мой брат, например, уже в 15 лет удрал из дома и стал комсомольцем, а затем и коммунистом. Где-то в 1922 он вернулся домой, уже побывав "комиссаром границы", раненый, перенесший сыпной тиф, обвешанный оружием и снабженный таким мандатом, при чтении которого у меня волосы вставали дыбом. Это, впрочем, не спасло его от ареста в 1937 году и десятилетнего пребывания в самых страшных сталинских лагерях — на Колыме и в Магаданской области.

Не принимая большевизма, о чем я уже говорил, мы, когда в городе была власть красных, охотно шли на всякую культурную, не политическую работу. Я, например, во все периоды советской власти в Одессе работал либо учителем в школе, либо корректором в газетах и издательствах. При белых же мы замыкались в своих домах и помогали большевикам-подпольщикам как и чем могли. В нашем доме, в домах моих товарищей и многих знакомых находили убежище многие большевики, хотя это и было сопряжено с большим риском.

Главной моей душевной опорой в эти страшные годы было чтение и участие в слабо тлевшей в Университете научной жизни. Как живо я помню те вечера, когда мы собирались на семинары Кагана в холодном и темном здании Университета. Кто мог, приносил с собой полено-другое или немного керосина для лампочки, и, сидя вокруг железной печурки, при свете слабой керосиновой лампы мы уходили, или, вернее, Каган нас уводил в дивный мир "оснований геометрии", в котором можно было хоть на короткое время забыть обо всем.

К 1920 году гражданская война стихла, советская власть установилась в Одессе окончательно, и нужно было начать восстанавливать сколько-нибудь нормальную жизнь. Наш учитель Каган, хотя и не был никогда коммунистом, но по своим симпатиям, склонностям и активному общественному темпераменту был ближе к большевикам, чем многие из

нашей среды. Поэтому, как только в Одессе начало работать отделение Государственного Издательства Украины, он возглавил в нем отдел научной литературы и привлек к этой работе меня и нескольких моих товарищей. Еще было и холодно и голодно, ходили мы оборванные и почти босые, но уже стучали печатные машины, жизнь начинала возрождаться.

Эта работа страстно увлекла всех нас. Какой радостью был выпуск первых номеров научного физико-математического журнала, в котором можно было опубликовать результаты математических работ, сделанных в годы разрухи и голода. Каким счастьем было держать в руках первые экземпляры напечатанной нами "Теории определителей" Кагана. Жизнь возрождалась, и первые года два мы просто отходили, отогревались, как отогреваются на солнце ящерицы после холодной зимы.

В 1920 году советская власть чуть-чуть приоткрыла двери для евреев, желающих уехать в Палестину, и кое-кто этой возможностью воспользовался. Уехал, в частности, со всей своей семьей близкий друг моего отца адвокат и казенный раввин Одессы Самсон Пен. Но нас, меня и ближайших моих товарищей, эта возможность никак не заинтересовала. Весь мир сионистских идей, связанных с возрождением традиционных ценностей иудаизма, был нам чужд. Социалистический аспект сионизма, мечты о построении нового общества вызывали в нас усмешку: мы уже видели, чем становится социализм, когда он превращается из мечты в государственную практику. А с другой стороны – гонений и преследований евреев не было, советская власть обеспечивала нам равноправие и возможность беспрепятственного развития, казалось, навсегда. К чему же было нам, столь глубоко ассимилированным в европейской культуре, стремиться в далекую и непонятную Палестину?

В 1922 году, в период перехода к нэпу советское правительство решило организовать в Москве центр издательской деятельности – Государственное издательство РСФСР. Во главе этого издательства был поставлен Отто Юльевич Шмидт, профессор-математик, очень рано прикнувшийся к большевикам и ставший членом коммунистической партии. Выбор был очень удачным: я не думаю,

чтобы за всю историю коммунистической партии в ее рядах был хоть один человек, который по своей эрудиции, культуре, широте горизонтов, разносторонности взглядов и интересов мог сравниться с Шмидтом. Поистине, в Госиздате, а затем в Большой Советской Энциклопедии Шмидт был "надлежащим человеком на надлежащем месте" ("The right man in the right place"). Но человек очень энергичный, активный и разносторонний, Шмидт не мог ограничить свою активность работой в издательствах. В начале 30-х годов он стал начальником и организатором Управления Северного морского пути — обширной научной и хозяйственной организации, в задачи которой входило не только исследование советской Арктики и организация мореплавания вдоль ее берегов, но и хозяйственное освоение всего севера Сибири. Он снискал себе большую известность своими полярными путешествиями, а в годы Второй мировой войны фактически возглавлял Академию Наук, пока не был снят с поста за свою немецкую фамилию.

В период организации Госиздат мыслился как центр издательской деятельности во всех областях. Он должен был издавать литературу социально-политическую и художественную литературу, посвященную гуманитарным наукам, собственно научную (во всех областях знания) и научно-техническую. Конечно, как только работа Госиздата развернулась, этот универсализм оказался практически невозможным, и Госиздат распался на ряд специализированных издательств.

Для организации научного и научно-технического отдела Шмидт не мог найти в России никого более подходящего, чем руководитель издательства "Матезис" — Венямин Федорович Каган. Он предложил Кагану вместе с группой его учеников и сотрудников переехать в Москву и организовать научный отдел Госиздата. Так, в конце 1922 года я оказался в столице и начал работу в Госиздате. Начался второй — московский — период моей жизни, длившийся 50 лет, до дня моего отъезда в Израиль.

Нет ни одного вида практической, промышленной деятельности, который мог бы так увлечь человека моего склада, как работа в издательствах. Постоянный контакт с авторами, участие в создании книги, которая всегда была

для меня высшей ценностью; даже сама техника полиграфии и, особенно, репродукции увлекли меня, и я работал пять лет в Госиздате с большим подъемом и удовлетворением. Особый колорит нашей работе придавало сознание того, что мы участвуем в возрождении страны после разрухи, в воссоздании ее культурной жизни.

В 1927 году Шмидт оставил Госиздат и стал главным редактором Большой Советской Энциклопедии. Вместе с ним перешли в энциклопедию и Каган, ставший редактором всего научного отдела, и я – редактором отдела точных наук (математика, астрономия, физика, химия). Эти годы я всегда вспоминаю как очень интересные и полезные для себя. Сама редакционная работа, многогранная, дающая возможность общения с очень широким кругом ученых, обстановка в редакции энциклопедии, где работали люди, близкие мне по культурному уровню и взглядам, возможность осваивать опыт редакционной работы под руководством таких мастеров, как Каган и Шмидт, – все это навсегда связало меня с издательским делом. Хотя в 1930 году я ушел из энциклопедии и в дальнейшем в издательствах непосредственно не работал, я всю жизнь сохранял с ними теснейшую связь как автор, переводчик, редактор.

Важнейшим событием моей жизни этого десятилетия было приобщение к науке, начало моей работы в качестве физика-экспериментатора. Строго говоря, Университет я закончил еще в одесские годы. Даже дипломную свою работу я написал в Одессе под руководством Кагана. Но в те бурные годы, при бесконечных сменах власти удобнее всего было считаться студентом Университета. Это давало освобождение почти от всех мобилизаций и какое-то социальное положение. Поэтому я оставил несданными несколько последних экзаменов, и диплома в Одессе не получил. После переезда в Москву я оформил свой перевод в Московский университет, сдал последние экзамены, и в начале 1924 года получил диплом Московского Университета.

Как ни приятна и ни увлекательна была для меня работа в Госиздате, году в 1925 я ясно ощутил, что без науки я жить не могу, что должен найти пути актуальному научному творчеству. К этому времени, однако, я уже мог понять, что математика не для меня и я не для математики. Влияние

моих учителей-математиков сменилось собственными поисками жизненного пути, и мне стало ясно, что я могу работать только как физик-экспериментатор.

Здесь я не могу удержаться от того, чтобы не рассказать об одном эпизоде. Когда в 1915 году, получив известие о зачислении в Университет, я, совершенно счастливый, прибежал к В. Ф. Кагану поделиться с ним моей радостью, он обнял и поздравил меня, а затем, задумавшись, сказал: "Это, конечно, замечательно, но, знаешь, я боюсь, что у тебя недостаточно абстрактный склад ума, чтобы стать математиком". Вся пророческую мудрость этих слов я оценил только через 10 лет, но до сих пор они звучат в моих ушах, а в душе осталось восхищение моим учителем, его умением понять истинные способности ученика.

Среди авторов, книги которых мы издавали, был молодой физик Сергей Иванович Вавилов, в ту пору еще доцент какого-то второстепенного учебного заведения (кажется, ветеринарного института) и сотрудник Института физики и биофизики Народного Комиссариата Здравоохранения, возглавлявшегося академиком П. П. Лазаревым.

Об этом Институте стоит рассказать. Когда в 1912 году группа либеральных профессоров ушла из Московского Университета в знак протеста против реакционной деятельности министра Кассо, среди них был и самый выдающийся — быть может, единственный действительно большой — физик дореволюционной России П. П. Лебедев. Общественность, а точнее прогрессивные московские "буржуи", ответили на это сбором средств на постройку в Москве Народного Университета им. Шанявского и Физического Института для работы Лебедева. Из брошюры, изданной к юбилею Физического института Академии Наук, который позднее располагался в этом здании, можно узнать, что "общественность" собрала немного — сумму порядка пяти тысяч рублей, а остальное — свыше ста тысяч полноценных золотых рублей — было пожертвовано "лицом, пожелавшим остаться неизвестным". Со слов Вавилова я знаю, кто был этот жертвователь и хочу сохранить его имя для истории. Это был сын богатого купца физик Трапезников (к сожалению, его имени и отчества не помню).

Во время работы в этом Институте я имел возможность познакомиться с Трапезниковым. Это был человек очень молчаливый, замкнутый и необычайно скромный. Он занимал в Институте одну небольшую комнату, работал один, без помощников и лаборантов, и никогда никому ни словом, ни намеком не давал понять, что Институт обязан ему своим существованием.

Здание Института строилось под наблюдением и по указаниям П. П. Лебедева, но ему самому не суждено было работать в нем. Он скончался раньше, чем здание было закончено. После окончания гражданской войны Народный комиссариат здравоохранения организовал в этом здании Институт физики и биофизики, во главе которого стал академик Петр Петрович Лазарев. По основной своей специальности Лазарев был физиологом и биофизиком, но — человек очень разносторонний — он по поручению Ленина возглавил еще в годы гражданской войны Особую комиссию для обследования Курской магнитной аномалии. Огромные залежи железных руд, обнаруженные экспедициями этой комиссии в Курской области, начали интенсивно разрабатываться только в последние годы.

В этом Институте Лазарев сумел собрать вокруг себя группу молодых талантливых физиков, в которую входили С. И. Вавилов, Э. В. Шпольский, Т. К. Молодой (умерший очень скоро, в молодом еще возрасте), Б. В. Дерягин, уже упоминавшийся Трапезников и ряд других. Несомненно, этот Институт мог бы вырасти в большую и серьезную научную школу и сыграть важную роль в развитии советской физики, но недолог был его век.

В конце 20-х годов П. П. Лазарев был арестован по какому-то нелепому доносу и выслан, его жена покончила с собой, а Институт был разогнан. Здание передали какому-то родственнику Ягоды — жулику, спекулянту и абсолютному невежде — для организации какого-то бредового "сверхсекретного" Института. Нас всех выгнали из Института буквально в течение одного часа.

Со всей этой группой молодых физиков я был хорошо знаком по своей работе в Госиздате, но обратился я к Вавилову потому, что к этому времени уже определился круг моих интересов в физике, и

интересы эти были ближе всего к направлению работ Вавилова. Если я чем-нибудь горжусь в своей научной карьере, то только тем, что никто и никогда не давал мне тем для работы и не указывал, чем я должен заниматься. Даже тему моей студенческой дипломной работы я подобрал себе сам. Так было и в этот раз. Я пришел к Вавилову со своим собственным планом работы в области флюоресценции, изучение которой было основным направлением деятельности Вавилова. Предложенная мной тема заинтересовала его, он переговорил обо мне с Лазаревым, и я получил "рабочее место" в Институте. Это "рабочее место" было просто темным коридором в подвальном этаже; оборудование, которое я получил, было самым скромным, но счастью моему не было предела*.

Нужно сказать, что до революции, в царской России, физики как науки, по существу не было. Были отдельные, очень немногочисленные ученые, но не было научных школ, институтов, организаций — всего того, что теперь нам так привычно. Первая настоящая физическая школа начала складываться в начале века вокруг П. П. Лебедева, но царская реакция, а затем преждевременная смерть Лебедева не дали ей развиваться. Физика как наука начала создаваться в России в 20-х годах, и роль еврейских ученых в этом процессе была исключительно велика.

Создателем и основоположником школы теоретической физики был академик Леонид Исаакович Мандельштам, работавший в Московском Университете. В Ленинграде такую же роль сыграли два других выдающихся физика-теоретика — евреи Яков Ильич Френкель и (несколько позже) Лев Давидович Ландау. Не будет преувеличением сказать, что подавляющее большинство советских физиков-теоретиков, среди которых также было очень много евреев, были либо учениками этих основоположников теоретической физики в СССР, либо находились под их сильным влиянием.

В экспериментальной физике такую же исключительную роль сыграл Абрам Федорович Иоффе, создатель не только

* По каким странным путям ведет людей жизнь. Я принял свое оборудование, главной частью которого был старинный спектрофотометр Кениг-Мартенса, от дочери академика Иоффе — Валентины Абрамовны Иоффе, которая в то время оставила Институт, чтобы стать цирковой наездницей.

Ленинградского физико-технического института, но и ряда других научных центров. Очень важное значение имела и школа Григория Самойловича Ландсберга, работавшего в теснейшем сотрудничестве с Мандельштамом в Московском Университете.

Я вовсе не хочу этим сказать, что создание советской физики было делом рук только евреев. В теоретической физике вне зависимости от названных школ работали, например, такие крупные физики, как В. А. Фок, Фредерикс и ряд других. В экспериментальной физике очень велика была роль Государственного оптического института, который организовал еще в 1918 году академик Рождественский и научным руководителем которого стал позже С. И. Вавилов. Этот Институт стал основной научной базой советской оптико-механической промышленности и важным центром исследований в области оптики.

Позже — в 30-х годах и особенно в послевоенное время — возникло большое количество мощных физических институтов — открытых и закрытых, — и роль евреев в советской физике количественно (в процентном отношении числа физиков-евреев к общему числу физиков) значительно уменьшилась. Но по существу она остается огромной и по сей день.

Здесь не место, конечно, анализировать подробнее роль и значение евреев в развитии советской науки и, в частности, физики, и если я упомянул об этом, то главным образом для того, чтобы подчеркнуть тот весьма симптоматичный факт, что в ту пору мы этого совершенно не замечали. В той среде, — в научных институтах и издательствах, — никому не приходило в голову думать о национальности того или иного ученого или сотрудника, никто никогда не подсчитывал процента евреев в учреждении. Ни нам, евреям, ни, думаю, нашим русским коллегам не было нужды отмечать — даже для себя — кто из советских или иностранных ученых еврей и кто нееврей.

Конечно, в те времена не могло быть и речи о штатном, оплачиваемом месте в Институте. Счастьем было и то, что мне разрешили работать там без оплаты. Средства к существованию мне давала работа в Госиздате и позже в Энцикло-

педии, а в Институте я работал по вечерам и часто до поздней ночи.

Так началось мое научное сотрудничество с Вавиловым, которое с небольшим перерывом продолжалось до самого моего ареста в 1947 году и дало мне чрезвычайно много. Если Каган и Шатуновский — мои учителя в школе и университете — дали мне математическую подготовку и заложили основы научного мировоззрения, то Вавилов был моим настоящим учителем в экспериментальной физике. Он научил меня понимать, что такое физический эксперимент, как его нужно ставить и что из него можно извлечь.

Два основных фактора определили в это время ослабление нашего интереса к национальным проблемам. Двадцатые годы были в физике периодом необычайно интенсивного, революционного развития. В это время получила развитие теория относительности, была создана квантовая механика, построена теория атомов и молекул, заложены основы физики атомного ядра. Потрясающие открытия, новые теории и идеи рождались чуть ли не каждый день. После нескольких лет полного отрыва от мировой науки двери чуть-чуть приоткрылись, и с запада на нас хлынул поток новых идей, открытий и теорий. Нас, изголодавшихся по науке и только-только получивших какие-то возможности работать в ней, все это захватило и увлекло настолько, что просто не было ни времени, ни душевных сил думать о чем-нибудь ином.

С другой стороны, антисемитизма, который постоянно, ежечасно напоминал нам о нашем еврействе, тогда не было в государственной практике и почти не было в быту. Понятно, поэтому, что я, увлеченный своей работой в издательстве, захваченный новыми научными интересами и впервые приступивший к научной работе, почти позабыл о том, что я еврей. Во всяком случае десятилетие двадцатых годов было временем, когда я меньше всего ощущал свое еврейство.

Такой же космополитичной по своим интересам и культуре, чуждой всякому — в том числе и еврейскому — национализму была и вся окружавшая меня среда. Такой, по крайней мере, она была в том поверхностном слое психики, который мы называем рациональным сознанием.

А в глубинном, в подсознательном, в том, что составляет самую сущность психики человека и народа? Оглядываясь теперь на эти годы, я с удивлением подмечаю то, что тогда ускользало от меня: несмотря на полную, казалось бы, ассимиляцию в русской культурной среде, весь круг моих ближайших, задушевных друзей и в эту пору оставался еврейским, как это было в школе и в Университете. Конечно, у меня появилось много новых знакомых и приятелей как евреев, так и русских. Но никогда я не мог установить со своими русскими приятелями, очень хорошими людьми, чуждыми какому бы то ни было антисемитизму, того взаимопонимания, той какой-то внутренней общности, которые так просто и естественно устанавливались у меня с моими старыми и вновь обретенными друзьями-евреями.

Тогда, повторяю, ни я, ни мои друзья над этим не задумывались. Осознание нашей несмещиваемости с русской средой пришло значительно позже.

Политические взгляды и настроения нашего круга в эти годы в большой мере определялись новой экономической политикой. В основе этой политики (НЭПа) была замена "продовольственной разверстки", насильственного изъятия у крестьян почти всей продукции их хозяйства, продовольственным налогом, при котором крестьянин сохранял за собой право распоряжаться частью продукции, оставшейся у него после уплаты налога.

Это с неизбежностью влекло за собой некоторую либерализацию экономической политики и в городе: была допущена в известных рамках свобода частно-предпринимательской деятельности в торговле и некоторых отраслях промышленности. А поскольку появилась частная торговля, то и государственная промышленность была вынуждена перейти, по крайней мере в своих отношениях с потребителем, к коммерческим методам распределения товаров.

Успех этой экономической политики был огромен. Страна, разоренная войнами, доведенная до состояния полной разрухи, паралича всей экономики, стала в течение буквально нескольких месяцев становиться на ноги, оживать. Появилось в достаточном количестве продовольствие. В больших городах, особенно в Москве и Ленинграде, открылось много частных и государственных магазинов, полки кото-

рых были завалены всевозможными товарами. Была остановлена инфляция и введена твердая валюта. Начала возрождаться работа школ и Университетов.

Конечно, все это "преуспеяние" шло на фоне очень острого социального разрыва между уровнем жизни нэпмана, для которого открылись в основном эти магазины, дорогие рестораны и даже карточные казино, и уровнем жизни народных масс. В стране свирепствовала безработица, по улицам и дорогам бродили толпы беспризорных детей, потерявших семью в годы войны и революции. Крестьянство только становилось на ноги и жило еще очень тяжело. Уровень жизни рабочих и служащих был низок, хотя его и сравнивать нельзя было с тем, как жил народ до нэпа.

На этом фоне облик разжиревшего нэпмана-нуворища был, конечно, глубоко антипатичен мне, как и всей нашей среде, а неизжитые еще социалистические иллюзии заставляли нас с особой остротой воспринимать эти социальные контрасты. Все это в какой-то мере сближало нас с коммунистической партией, хотя и тогда мы не могли принять ни ее идеологии, ни государственной практики, противоречившей всем нашим представлениям о демократии и правах человека.

Очень важное значение для нас имело то, что вместе с либерализацией экономики нэп принес некоторую, хотя, впрочем, очень относительную, либерализацию политического режима в стране. Подчинение всей духовной жизни страны "руководящим указаниям" партии и ее отдельных помпадуров, стрижка литературы, искусства, науки под единую гребенку насильственно навязываемой "марксистско-ленинской" идеологии еще не приняли таких варварских и омерзительных форм, как позже, в сталинские и послесталинские времена.

Унификация всей литературы, проведенная позже руками Горького, еще не была осуществлена; бредовая идея "социалистического реализма" как общеобязательного метода и содержания всего искусства еще не получила силы закона. Улучшение материального положения страны и некоторое смягчение гнета идеологической диктатуры партии обусловили неслыханный расцвет литературы, театра, искусства в эти годы. Как мы ни были увлечены в это время своей

наукой, культурный подъем страны захватил в какой-то мере и нас и придавал особую окраску нашей духовной жизни в этот период.

В литературе в это время работала группа молодых, очень талантливых писателей, получивших название "попутчиков" (Бабель, Олеша, Тынянов, Багрицкий, Платонов, Зощенко, Булгаков и много других). Не становясь слепым орудием советской пропаганды, сохраняя известную степень индивидуальной свободы в своем творчестве, они в целом были близки к идеям коммунистической революции. Они шли "по одному пути" с партией и советской властью.

Таковыми "попутчиками" были и мы. Мы не только не были противниками советской власти, но мы охотно и с подъемом участвовали в культурном возрождении страны, даже в какой-то мере разделяли торжественно декларируемые конечные цели построения социализма. И вместе с тем наше мировоззрение и наше отношение к практике "диктатуры пролетариата" были чужды и враждебны всем предпосылкам и положениям коммунистической партии.

Так продолжала развиваться и укрепляться та двойственность в отношении к советскому строю, которая возникла в нашей среде еще в годы гражданской войны. Нас одновременно многое влекло к нему и многое отталкивало от него.

ПРЕДВОЕННЫЕ И ВОЕННЫЕ ГОДЫ

Двойственность политической позиции нашей группы еврей-интеллектуалов в отношении советского государства и коммунистической партии стала еще более глубокой и мучительной в следующем десятилетии — в тридцатые годы, исполненные столь бурных внешних и внутренних событий.

Падение Веймарской республики, в которой мы так или иначе все же видели воплощение идеи демократии, приход к власти в Германии Гитлера, установление грубой и безжалостной нацистской диктатуры, жестокий террор и разгул антисемитизма, направленного на физическое истребление еврейского народа, — все это было воспринято нами как катастрофа, как гибель всего, что нам было дорого, как

”закат Европы”. Казалось, что наступил час гибели всей нашей цивилизации, чего мы так опасались с момента начала Первой мировой войны. ”Грядущие гунны”, о которых писал Брюсов, действительно рухнули на Европу ”ордой опьянелой”. Европа, обессиленная, проституированная, потерявшая волю к сопротивлению, ничего не могла им противопоставить. Единственной силой, которая могла остановить и сломить эту орду, была Советская Россия, и понимание этого сближало нас с ней, заставляло ощущать себя ”советским человеком”.

Самым страшным, по крайней мере для меня, было то, что все это могло произойти в стране самой передовой, самой развитой цивилизации. Несмотря на проигранную войну и очень тяжелое внутреннее положение, Германия в 20-х годах занимала ведущее место в развитии науки и, в частности, в том блестящем развитии физики, которым я был так захвачен. Но и в литературе, искусстве, философии, в технике Германия являлась воплощением европейской цивилизации, одной из ее вершин. И если в такой стране мог прийти к власти нацизм с его звериным проявлением антисемитизма, то это означало, что нам, евреям, нечего больше ждать от этой цивилизации. Спасение еврейского народа, с которым мы начали ощущать свою неразрывную связь, нужно было искать в чем-то другом; как оказалось, ни наука, ни цивилизация ничего не решают и ни от чего не спасают.

Оставалась революция, вера в то, что Интернационал решит еврейский вопрос во всем мире, а советская власть решит его в России. Эта иллюзия еще сохранилась в нас вплоть до разгула сталинского антисемитизма в начале 40-х годов. Она укреплялась тем, что в эти годы открытого правительственного антисемитизма в стране еще не было, а отдельные, не очень частые хулиганские выпады и проявления бытового антисемитизма воспринимались нами как ”пережитки прошлого”, которые будут изжиты в ходе укрепления коммунистической идеологии.

Советская Россия казалась нам единственной силой в мире, которая могла сломить нацизм и спасти еврейский народ. Как страшно мы ошиблись в последнем!

Так или иначе вся эта ситуация толкала нас на сближение с советской властью и ослабление антисоветских настроений. Но и принять советскую власть мы не могли, потому что эти годы были годами становления диктатуры Сталина и постоянного усиления режима кровавого террора и беззакония. О подлинном размахе этого террора мы тогда, конечно, не знали. Не полностью представляли мы себе и то, чем являются в стране и как "работают" органы бессудной расправы и террора — ЧК, ОГПУ, МГБ... Полностью оценить это мы сумели лишь много позже, а итоги подвела потрясающая книга Солженицына "Архипелаг ГУЛag".

Но и того, что мы видели и о чем знали, было достаточно, чтобы оттолкнуть нас от этого режима, заставить все больше и больше проникаться к нему ненавистью и отвращением.

Ликвидация НЭПа повлекла за собой не только уничтожение всех начинавших пробиваться ростков демократии в стране, но и прямое, жестокое истребление людей, которых советская власть привлекла к хозяйственной деятельности, которые поставили страну на ноги и которым была обещана возможность свободного предпринимательства "всерьез и надолго". Особых симпатий к нэпманам мы не питали, но бессудные расправы, вымогание пытками золота, все то, о чем с такой силой пишет Солженицын, частично доходило и до нас и вызывало глубокое, но бессильное возмущение.

Больнее ударил по нам разгром интеллигенции, предпринятый партией и "органами" в конце 20-х — середине 30-х гг. Я уже говорил об аресте и высылке П. П. Лазарева, о разгроме института, где я работал. Такие случаи все учащались. Затем последовали громкие процессы: "Шахтинское дело", "Процесс промпартии". Обвиняемые сознавались в тяжких преступлениях, инсценировалось народное негодование. Мы не могли еще знать тогда, как фабрикуются такие дела, но ощущали всей душой, что дело нечисто. Такую же растерянность и подавленное состояние вызвали во всей среде и "открытые" процессы оппозиции, следовавшие после убийства Кирова Сталиным (теперь это не подлежит сомнению, но смутно это ощущалось и тогда). Волна террора ширилась, "Архипелаг ГУЛag" интенсивно заселялся. В 1937 году был арестован и послан в лагеря мой лучший друг, Александр Лизаревич, один из самых умных, культурных и

интереснейших людей, встретившихся на моем жизненном пути. В том же году был арестован и послан в лагерь мой брат. Помимо этих личных потрясений, со всех сторон доходили слухи об арестах, казнях, лагерях. По ночам разъезжали "черные вороны", каждый ночной звонок предвещал катастрофу, множились кадры палачей, доносчиков, предателей. Никому и ничему нельзя было верить.

И хотя мы не могли еще оценить полностью весь размах этой кровавой волны, хотя мы не знали, что число жертв этого террора измеряется миллионами, хотя от нас были скрыты бесчеловечные методы советского следствия, вся обстановка в городе вызывала подавленность, растерянность, недоумение.

Страшные вести доходили до нас и из деревни. В 20-х годах, в период НЭПа, в русской деревне продолжался тот благодетельный процесс перестройки сельского хозяйства на базе крепких единоличных хозяйств фермерского типа, который был начат Столыпиным и прерван его убийством и затем войной. Сталинская "коллективизация", проводившаяся с чудовищной, бесчеловечной жестокостью, с полным пренебрежением к какой бы то ни было законности, прервала этот процесс. Она физически уничтожила миллионы самых трудолюбивых, самых умелых русских крестьян, обрекла деревню на такой голод, какого та не знала за всю свою многострадальную историю, подорвала на долгие десятилетия все потенциальные возможности сельского хозяйства в России. Тогда мы не знали размеров этой катастрофы и не могли еще понять подлинного смысла того, что делалось.

Как ни силен был наш иммунитет против советской пропаганды, нужно сознаться, что в какой-то мере она действовала и на нас. Мы еще не изжили полностью "марксистское" понимание истории и социалистические иллюзии, мы еще склонны были искать какие-то объяснения событий с точки зрения "классовой борьбы" и т. п. Нам было еще невдомек, что смысл террора, осуществлявшегося и в городе, и в деревне, заключался совсем не в том, чтобы перестроить хозяйство на новой основе, а в том, чтобы разложить, деморализовать русский народ и проложить путь к установлению диктатуры Сталина и окружавшей его шайки бандитов. Вместе с тем, подавляя и обессиливая

массы населения, режим создавал кадры соучастников, сотни тысяч и миллионы работников "органов", доносчиков, предателей, людей, чьи руки были в крови, и кто был связан с режимом круговой порукой.

В силу особенностей своего исторического пути, а, может быть, и в силу особенностей своей национальной психологии русский народ способен только на две крайности: либо на полную пассивность и рабское подчинение, либо на анархический и кровавый бунт. Для того, чтобы проложить путь диктатуре Сталина, нужно было подавить волю к сопротивлению народа и ввергнуть его в состояние рабской покорности. Это достигалось террором, с одной стороны, и монопольной, всеохватывающей и оглуляющей пропагандой, с другой стороны.

Поэтому параллельно с нарастанием террора физического шел процесс нагнетания террора идеологического. В литературе, театре, искусстве, мышлении все вытягивалось по ранжиру, унифицировалось. Всякая свободная мысль, даже не враждебная по существу господствующей доктрине, а просто отличная от нее, становилась преступлением. Всю область культуры заполнили приспособленцы, "проданные перья", люди, работающие по принципу: "Чего изволите?". Это привело, конечно, к страшной деградации, невиданному упадку русской культуры в 30-х годах. Нечем было дышать, не на что было опереться в этой культуре.

Только наука и техника находилась в несколько лучшем положении, хотя и здесь появился Лысенко и было много подобных явлений меньшего масштаба. Характерно, что идеологическому разгрому и физическому уничтожению подверглась в Советском Союзе прежде всего биология. Это — область, где каждый невежда (вроде Сталина или Лысенко) мнит себя компетентным, вместе с тем эта область меньше связана с практикой, чем науки точные и техника. Поэтому, хотя советские "философы" и делали все время попытки бороться против всего нового и прогрессивного в науке (теории относительности, квантовой механики, кибернетики) и поддерживать всевозможный "идеологически" обоснованный бред, все же наука имела некоторую возможность развиваться. Нельзя же резать курицу, которая несет золотые яйца!

Повторяю, все это мы уяснили гораздо позже. Тогда мы жили, как оглушенные, толкаемые в сторону советской власти угрозой нацизма и пробудившимися в нас чувствами солидарности с еврейским народом, и одновременно отталкиваемые от нее всей ее практикой и идеологией. Мы были "кроликами", по выражению Солженицына. А что же делать кролику в периоды таких страшных потрясений? Уйти в свою жизнь, отгородиться от общества, не видеть, не слышать, не говорить и, главное, не думать. Эти настроения эскапизма, охватившие тогда очень широкие круги русской и еврейской интеллигенции, нашли себе, быть может, самое яркое выражение в творчестве Пастернака. Хотелось, действительно, жить так, чтобы можно было

"В окошко крикнуть детворе:
Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе".

Если говорить обо мне лично, то я ушел в это время с головой в свою науку, в семейную жизнь, в общение с немногими близкими друзьями.

Научная моя работа развивалась нормально. После разгрома Лазаревского Института я проработал четыре года в Геологическом Институте. Пришлось входить в новый круг вопросов, связанных с геофизическими методами разведки, читать лекции, организовывать учебные лаборатории и одно время даже быть "менеджером" лаборатории Института, которая разрабатывала и производила на коммерческих началах приборы для геофизической электроразведки. Все это меня не очень увлекало, и потому, как только в 1934 г. Академия Наук была переведена в Москву, я перешел в Физический Институт Академии Наук им. Лебедева, директором которого стал С. И. Вавилов (тогда уже академик). Здесь, в тесном сотрудничестве с Вавиловым, и я проработал до моего ареста в конце 1947 г. и снова после освобождения с 1954 по 1959 год.

В 1936 году я женился на женщине, об руку с которой прошел свыше 40 лет очень трудной жизни. Я знал ее в самом прямом смысле слова со дня рождения, потому что отцы наши работали в одной и той же школе. Но жизнь ведет людей по сложным, извилистым путям, и нам суждено было найти друг друга лишь после того, как она потеряла первого

мужа, а я разошелся со своей первой женой, русской женщиной (вернее, украинкой).

Мой первый брак был неудачен и распался через несколько лет по причинам совершенно личного характера. С моей второй женой мы прошли через жизнь в полном взаимопонимании. Много горя и трудностей пришлось нам пережить сообща: смерть первого ребенка, которого мы потеряли в возрасте семи месяцев, войну, арест, следствие и семь лет одиночного заключения, разочарование во многих иллюзиях и нахождение своего пути в Израиль. Но, когда есть между людьми тот контакт и взаимопонимание, о котором я говорил, то ничто не связывает их так крепко, как общее горе.

И вот теперь, оглядываясь на свою жизнь, я задаю себе вопрос: случайно ли то, что мой первый брак с русской женщиной оказался неудачным, хотя я не могу упрекнуть мою бывшую жену ни в малейших следах какого было бы то ни было предубеждения против евреев? И является ли та душевная близость, которая связывает меня со второй моей женой-еврейкой, только случайным результатом нашего личного соответствия друг другу? Не лежит ли в неосознанной нами основе этого то, что мы оба евреи, хотя и отвергаем полностью религию и чужды всей системе специфических ценностей иудаизма?

В таком состоянии душевной раздвоенности и тревоги мы находились, когда на нас обрушилась катастрофа Второй мировой войны, внезапная, хотя всем была задолго ясна ее неизбежность.

Война с первого дня объединила весь народ в едином стремлении спасти страну от нацистского нашествия. В нашей интеллигентской среде было позабыто все, что возмущало нас и отталкивало от советской власти. Четыре года мы жили одной мыслью, одним стремлением — сделать все, что в наших силах, для победы, не считаясь ни с какими трудностями и жертвами.

Истоки этих чувств и патриотического подъема были различны. Широкие народные массы и значительная часть интеллигенции были прежде всего, конечно, захвачены естественным, почти инстинктивным порывом спасти Родину

от иноземного врага, грозившего ей полным уничтожением и порабощением. Вместе с тем даже для тех, кто был чужд советской власти и относился резко отрицательно к политическому режиму в стране, все же советская власть была "меньшим злом" по сравнению с варварским нацизмом. Мы были также во власти иллюзии, что победа над нацизмом приведет к демократизации советского строя, к установлению в стране свободы и уважения к правам человека. Мы вели войну в союзе с демократическими Соединенными Штатами и Великобританией. Поэтому, естественно, она воспринималась как война за демократию. Кто мог тогда предвидеть, что победа развяжет самую черную, самую гнусную сталинскую форму диктатуры.

Если такие чувства и соображения были общими для всего населения страны, или, по крайней мере, для подавляющего большинства населения, то у нас, евреев, были свои причины сплотиться вокруг советской власти в эти грозные дни испытаний. Победа Гитлера означала для нас смерть. Мы не знали еще тогда, что жертвами гитлеровцев падут шесть миллионов евреев, но доходившие до нас сведения о гитлеровских лагерях смерти, о душегубках и крематориях заставляли нас удваивать усилия в стремлении добиться победы. Советское правительство прекрасно понимало это и, скрывая от народа правду о своем "архипелаге ГУЛАГ" и о деятельности своих "органов", охотно распространяло информацию об ужасах нацистских лагерей и о деятельности гестапо.

К тому же во время войны, особенно в первые годы, пока победа не стала очевидной, Сталин не мог дать полную волю своему звериному антисемитизму. Нужно было считаться с общественным мнением всего мира и прежде всего Соединенных Штатов, участие которых в войне имело решающее значение. Советская власть выступала в качестве борца за спасение евреев от нацистского ада. Поэтому для привлечения симпатий американского общества и американского еврейства, а кстати и для получения американских денег, был создан Еврейский антифашистский комитет во главе с замечательным еврейским артистом Соломоном Михоэлсом, была организована пропагандистская поездка Михоэлса в США и т. п.

Все это было на поверхности, а в тишине, вдали от взглядов иностранцев, шла подготовка к развертыванию антисемитской кампании по испытанным гитлеровским образцам. Распространялись исподтишка слухи о том, что евреи уклоняются от участия в войне, укрываются в глубоком тылу. Нам тогда казалось, что эти слухи возникают спонтанно и прирастают от извечного русского предубеждения против евреев. Позже стало ясно, что эти слухи и вся антиеврейская кампания сознательно насаждались правительством.

Я хотел бы здесь зафиксировать для будущего историка один потрясающий факт, о котором мне рассказал в Москве еврей-инженер из Польши. Я не могу сейчас назвать имя этого человека, потому что он еще находится в России, но вот его рассказ. Этот человек бежал в Россию после захвата Польши немцами и служил в довольно высоких офицерских чинах в штабе армии Андерса. После ухода этой армии в Персию он остался в России и продолжал службу в формирующейся новой, коммунистической армии. Насколько я понимаю, он работал там в разведывательном управлении. В 1943 году ему стало известно, что Сталин лично отдал приказ одному из партизанских соединений в немецком тылу оторваться от нескольких тысяч еврейских беженцев, которых это соединение прикрывало, и оставить этих людей на произвол судьбы. Фактически это означало отдать их в руки немцам на мучения и смерть. Только одно могло спасти их — немедленное личное вмешательство Рузвельта. Времени не было, и в тот же вечер, когда моему знакомому стало это известно, он попросил сотрудника американского посольства в Москве, который жил в одной гостинице с ним, немедленно сообщить об этом послу для передачи Президенту. Через несколько часов после этого он был арестован и провел 10 лет в одиночном заключении в той же Владимирской тюрьме, где находились и мы с женой. Сотрудник американского посольства оказался агентом КГБ.

Всей этой подоплеки евреи, конечно, не знали. Они видели в Советской армии свою защитницу и отдавали ей свою кровь и свои усилия беззаветно и преданно. Об участии евреев в войне, об их героизме, о числе Героев Советского Союза и награжденных боевыми орденами писалось много, и я повторять этого не буду.

Но если непосредственно в боевых действиях роль евреев все же была ограничена, поскольку еврейское население составляло немногим более одного процента населения страны, то роль евреев в создании военной промышленности и в организации военной экономики была чрезвычайно значительна. Вот только один, малоизвестный пример, характеризующий, кстати, мудрость и дальновидность "великого стратега". Когда в результате первого немецкого удара почти вся танковая мощь Советской Армии была разрушена и вопрос об организации производства танков стал для России вопросом жизни и смерти, выяснилось, что броню для танков в состоянии прокатывать во всей России только один завод — Мариупольский, который был занят немцами в первые месяцы войны. Кем нужно было быть, чтобы не только не обеспечить ему дублера, но и разместить этот единственный завод, дающий танковую броню, у самой границы? Но до того ли было? Нужно было организовывать террор, истреблять десятки миллионов лучших людей, создавать и населять архипелаг ГУЛаг.

Положение спас еврей Вайсберг, один из лучших металлургов страны, бывший в то время главным инженером одного из крупнейших уральских заводов. Ценой сверхчеловеческих усилий было реконструировано эвакуированное с других заводов совершенно неподходящее оборудование и налажено производство танковой брони. О том, какое это имело значение, свидетельствует хотя бы тот факт, что после войны Вайсберг был одним из двух гражданских лиц, награжденных орденом Победы, который давался только маршалам и крупнейшим генералам.

Я рассказал только об одном случае, который стал мне известен, но случаев таких — разных масштабов — было множество. На этом фоне то, что во время войны сделал я и мои товарищи по Институту, конечно, не имеет большого значения, но скажу несколько слов и о себе, чтобы охарактеризовать те чувства, которые охватили нас всех.

Через месяц после начала войны Академия Наук, а с ней и наш Институт, были эвакуированы в город Казань. Никаких мобилизационных планов не было, никто не знал, чем мы должны заняться, но мы забыли о том, что существует "чистая" наука, и каждый начал подыскивать себе тему,

которая работала бы на войну. Так как я перед самой войной закончил разработку первых советских люминесцентных ламп, то я решил заняться разработкой бактерицидных ламп и особого типа люминесцентных ламп для подводных лодок. В октябре мне пришлось выехать в Москву, чтобы привезти оставшееся там вакуумное оборудование. Я был свидетелем великой московской паники и вывез свое оборудование на последнем пароходе, который проскользнул по каналу Волга—Москва, когда шли бои за Калинин. Не успели мы разгрузить оборудование, как были на два месяца мобилизованы на строительство оборонительной линии, которая спешно сооружалась вдоль всей Волги.

Тем не менее к марту 1942 года разработка была закончена, были проведены испытания бактерицидных ламп в госпиталях, я доложил результаты на заседании Ученого совета Министерства здравоохранения, которое тоже находилось тогда в Казани, и было принято решение организовать немедленно производство этих ламп в Москве. А пока нужно было наладить пробное производство их на одном маленьком, совершенно непригодном для этих целей заводике в 8 километрах от города.

Условия, в которых мы жили и работали в это время, были необычайно тяжелыми. По приезде в Казань нас разместили в недостроенном здании студенческого общежития. Впятером, с моими старыми родителями, женой и новорожденным ребенком, мы жили в небольшой комнате, настолько сырой, что стены ее покрывались плесенью. Не было топлива, было холодно и голодно. Кроме хлеба, мы не получали по карточкам почти ничего. Жили продажей вещей, и день, когда была картошка в доме, считался удачным.

В этих каторжных условиях мы работали по 12 часов в день, а когда было нужно, то и круглые сутки. Жидкий азот, который был нам необходим для работы, производился только в одном месте, в Институте Капицы, помещавшемся в том же здании Казанского Университета, что и наш Институт. Транспорта не было и, нагрузившись тяжелыми дьюаровскими сосудами с азотом, мы пешком, по снегу, в рваной обуви несли их на завод, чтобы, проработав сутки, а то и больше, вернуться на день домой.

Помимо моей основной работы, мне пришлось еще два года быть главным редактором журнала "Наука и Жизнь", единственного научно-популярного журнала, выходившего во время войны. Делать журнал в этих условиях было, конечно, чрезвычайно трудно, но все же журнал выходил ежемесячно.

Я говорю обо всем этом не для того, чтобы подчеркнуть свою личную роль или мои заслуги, но чтобы дать представление об условиях, в которых мы жили и работали, о наших настроениях, о нашей преданности стране.

В начале 1943 г. я один, без семьи, был вызван в Москву, чтобы принять участие в организации массового производства люминесцентных и бактерицидных ламп на Московском Электраламповом заводе. Летом того же года я перевез в Москву и мою семью, а к осени и весь Институт вернулся на свое прежнее место.

Исход войны был уже ясен. Жизнь постепенно налаживалась. Институт переходил на нормальные рельсы и возвращался к своей чисто научной тематике. Я защитил докторскую диссертацию, которая была готова еще перед войной, но заниматься которой во время войны я считал невозможным.

Все чаще раздавались над Москвой салюты, знаменовавшие крупные победы Советской армии. Мы приближались к долгожданному дню Победы, который должен был стать зарей новой жизни. Глупцы! Какое горькое разочарование ждало Россию и особенно нас, евреев!

КРУШЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ИЛЛЮЗИЙ

И вот пришла она, долгожданная победа 9 Мая 1945 года, победа, завоеванная народом ценой невероятных жертв и лишений. Отгремели праздничные салюты, прошла эйфория первых счастливых дней, и с ужасом увидели мы, что ничто не изменилось в террористическом режиме большевистской власти, а если что и изменилось, то только к худшему.

Начали возвращаться из Германии военнопленные, и до нас доходило, что почти все эти несчастные и измученные

люди из гитлеровских лагерей попали в еще худший ад лагерей архипелага ГУЛаг. Начали доходить до нас и кое-какие сведения о деятельности КГБ и "смершей" (сокращенное название органов госбезопасности в армии: "смерть шпионам") и до войны и во время войны. Начали обрисовываться и подлинные размеры террора. В частности, нас потрясли цифры, которые сообщил нам вернувшийся из лагеря мой друг Лизаревич. В последнее время в лагере он работал в управлении и знал достоверно, что число одновременно заключенных в лагерях было близко к 20 миллионам, и что десятками миллионов исчисляются жертвы "ленинско-сталинского" режима.

А наверху шел процесс глубочайшего разложения; ведущая политическая партия окончательно перерождалась в банду гангстеров. Шло расхищение трофеев и откровенный грабеж в Германии, шла безудержная спекуляция. Много из этого происходило на наших глазах, потому что в силу случайного стечения обстоятельств мы жили в так называемом Доме правительства, где жило очень много министров и ответственных работников партийного и советского аппарата.

Новым в послевоенной внутренней политике советской власти был откровенный, государственный антисемитизм. Победа развязала Сталину руки, и он мог дать волю той звериной ненависти к евреям, которую этот недоучившийся семинарист всю жизнь питал к представителям более высокой культуры.

Первой стадией развязывания антисемитизма в СССР был процесс систематической чистки советского и партийного аппарата, удаления евреев со всех сколько-нибудь ответственных постов. Этот процесс начался еще в последние годы войны, а в послевоенные годы проводился почти открыто. Об этом знали и об этом говорили все, но я хочу засвидетельствовать лишь один очень характерный факт, известный мне достоверно.

Моя сестра, родившаяся в 1915 году, не получила той внутренней зарядки, которая могла бы противостоять советской унифицированной пропаганде. Она была сначала очень активной комсомолкой, а затем весьма ортодоксальным членом партии. По специальности она была педагогом-исто-

риком и до войны работала в школе. Во время войны ее перебросили на работу в районный комитет партии в Казани, а по возвращении в Москву она была инструктором одного из райкомов партии. В 1946 году сняли с поста секретаря этого райкома — еврея. После этого начальница моей сестры, которая к ней очень хорошо относилась, по-дружески посоветовала ей немедленно и по доброй воле уйти из райкома и вернуться к педагогической работе, "пока не случилось что-нибудь похуже".

Такая работа проводилась методически несколько лет, но уже назревал и второй этап. Нужен был большой сенсационный "открытый" антиеврейский процесс, который дал бы повод и оправдание для полного развертывания антисемитизма в государственной практике "первого в мире коммунистического государства". Жертвами этого замысла, который тогда, впрочем, не удалось довести до конца, стала большая группа евреев-интеллектуалов, в том числе и мы с женой.

Неизбежной первой жертвой этого плана должен был стать выдающийся еврейский актер Соломон Михоэлс. И в довоенные годы роль Михоэлса в поддержании остатков самобытной еврейской культуры была огромна, но во время войны, когда он стал председателем Еврейского антифашистского комитета, он стал выразителем дум и чаяний еврейского народа в СССР, как бы его неофициальным представителем. Не убрав Михоэлса, нельзя было развязать антисемитскую кампанию, но и убрать его было не очень просто, потому что его слишком хорошо знали и ценили за рубежом. Михоэлса нужно было скомпрометировать, доказать на "открытом" процессе, что он шпион, работавший на "империалистические разведки".

Это был первый узел, первый центр намечавшегося процесса. Вторым узлом явилась личная неприязнь Сталина и Берии к родственникам покойной жены Сталина. Неприязнь эта разжигалась пьяницей и развратником, сыном Сталина Василием.

Хотя никакой связи между этими родственниками Сталина и окружением Михоэлса никогда не было (они даже не были знакомы с Михоэлсом), связать эти два узла мастерам "липовых дел" из КГБ было нетрудно. Достаточно было

найти одного человека, знакомого и тем и другим. Таким человеком оказалась моя жена. Театральный критик и работник театральной печати, она была много лет дружна с Михозлсом. Вместе с тем ее связывала многолетняя дружба и с Евгенией Аллилуевой (вдовой Павла, брата жены Сталина), которая жила в одном доме с нами.

Разве этого недостаточно? Создающийся дальше сценарий необычайно прост. Евреи составили обширное "шпионское гнездо" вокруг родственников Сталина (кстати, у приятельницы моей жены, действительно, было довольно много знакомых евреев); евреи собирали секретные сведения вообще, и, в частности, о Сталине; через мою жену эта шпионская информация шла к Михозлсу, а уж от него прямым маршрутом в американскую разведку.

Выводы ясны. Сначала арестовывают Евгению и Анну Аллилуеву, родную сестру жены Сталина, Аллилуевой, а через несколько дней и всех их знакомых-евреев, в том числе мою жену и меня. Михозлса пока не тронули. Нужно было, очевидно, сначала собрать "улики".

Нас арестовали в ночь на 27 декабря 1947 года. Одновременно было арестовано большое число евреев, которые либо прямо были знакомы с Евгенией Аллилуевой, либо имели с ней общих знакомых. Для советского правосудия этого вполне достаточно.

Так была арестована член-корреспондент Академии Наук Ревекка Левина, вся "вина" которой была в том, что один из ее сотрудников еврей Гольдштейн бывал в доме у этой родственницы покойной жены вождя. Был арестован один из крупнейших советских специалистов по авиационной радиотехнике еврей генерал Угер и его русская жена только потому, что за некоторое время до этого их вселили в квартиру этой родственницы, отобрав у нее две комнаты. Была арестована жена генерала армии Хрулева, который был во время войны заместителем Сталина и начальником тыла Советской армии. Она, еврейка, урожденная Эсфирь Горелик — была арестована, во-первых, за то же злосчастное знакомство, а, во-вторых, "чтобы нашим генералам неподводно было жениться на еврейках".

Весь антисемитский характер задуманного процесса, который должен был сыграть такую же роль, как подготовляв-

шийся несколькими годами позже и прерванный смертью Сталина процесс евреев-врачей, стал моей жене и мне совершенно ясен в ходе следствия. Ведь подследственный узнает от своего следователя не меньше, чем тот от него. А наши следователи особенно и не скрывали своих планов и своего звериного антисемитизма. С каким озлоблением говорили они о том, что, вот, "все ваши евреи — герои войны — у нас тут, в подвалах. Мы им покажем, как лезть в герои". И это не все: приходилось слышать и похуже.

Жене моей прямо предлагали сыграть роль провокатора и "свидетеля обвинения", обещая ей за это свободу. О самом следствии в Лефортовской тюрьме писать трудно, да, может быть, сейчас, после книги Солженицына, и не нужно. Скажу лишь, что мы прошли через все мучения и пытки этого ада, причем в первые недели нами и нашими "преступлениями" не интересовались, а стремились лишь получить показания против Михоэлса и доказательства существования "еврейского заговора".

И вдруг, в середине января 1948 года, картина совершенно переменялась. Больше не было разговоров ни о Михоэлсе, ни об еврейском шпионаже. Вместо этого нам начали предъявлять обвинения в еврейском национализме, сионизме и намерении уехать в государство Израиль, возникновение которого было предрешено обсуждением в ООН в конце 1947 года.

Лишь после нашего освобождения мы узнали, что в январе 1948 года Михоэлс был убит в Минске агентами МГБ, после чего была инсценирована автомобильная катастрофа. Потому ли, что МГБ не мог получить от нас показаний против Михоэлса, или по другим каким-либо причинам, но решено было Михоэлса не арестовывать, а просто ликвидировать. Это для советских бандитов дело вполне привычное.

Нужно сказать, что если считать преступлением национальную еврейскую солидарность, симпатию к зарождавшемуся государству Израиль и понимание необходимости массовой репатриации туда советских евреев, то у следователей были достаточные основания обвинять нас в этих преступлениях. Все, что происходило в России после войны и, в частности, сознательно насаждавшийся с самого верха антисемитизм, разрушили в нас последнюю иллюзию — веру

в то, что революция и советская власть несут свободу и демократию, решают, в частности, еврейскую проблему в России.

По мере того, как становилось все более ясным, что так или иначе, а государство евреев в Палестине будет создано, мы, как и все евреи, все более проникались любовью и симпатией к этому, еще нерожденному государству. Мы были при этом настолько наивны, что полагали, будто признание Советским Союзом Израиля автоматически и немедленно повлечет за собой предоставление евреям права оптировать гражданство Израиля и переселяться туда. Ведь так было при Ленине, когда была признана независимость Польши, Прибалтийских республик, Финляндии. Всего коварства советского иезуитства мы даже тогда еще не понимали.

Все эти разговоры мы вели в своей среде совершенно открыто, не подозревая об их недозволённости. Мы говорили, что несомненно очень большое число евреев уедет в Израиль и что это — явление закономерное и необходимое. Мы обсуждали и планы репатриации для себя. Окончательного решения уехать у нас еще не было, да и государство еще не существовало, но вопрос этот мы уже обдумывали. А поскольку в СССР царит система всеобщего и поголовного доноительства, столь гениально предвосхищенная Салтыковым-Щедринным, то каждое наше слово становилось известным в МГБ и заносилось в наше досье.

Так или иначе, в июне 1948 года нам был объявлен приговор Особого совещания, приговор, вынесенный заочно, без всякого судебного разбирательства. Я был приговорен к 20 годам тюремного заключения за "намерение уехать в государство Израиль" и "сионистскую пропаганду", а жена к такому же сроку тюрьмы за "солидарность со мной".

Через некоторое время нас отвезли в "столыпинском вагоне" под особой охраной во Владимирскую тюрьму, которая считается одной из самых строгих тюрем в СССР и предназначена в основном для "политических" преступников. Собственно говоря, мы должны были бы попасть в лагерь; в лучшем случае я мог рассчитывать, что буду направлен, как специалист, в одну из бесчисленных "шарашек", о которых пишет Солженицын в романе "В круге

первом". Но дело наше было связано с такими громкими именами, что пуще всего власти боялись, как бы какая-нибудь информация по нему не просочилась наружу. А в лагерях и на шарашках уберечься от этого трудно. Поэтому и решили похоронить нас заживо в одиночных камерах Владимирской тюрьмы.

Тюремное заключение, а особенно одиночное, считается наказанием более суровым, чем работа в лагерях. Провинившихся лагерников сажают на некоторое время в тюрьму, а тюремных заключенных, нарушающих режим, переводят в наказание в одиночные камеры. Но я считаю огромной удачей в нашем несчастье то, что мы не попали в лагеря. Там мы бы, конечно, не выжили. Да и на шарашке у меня было бы гораздо меньше внутренней свободы и времени для размышлений и чтения, чем в камере Владимирской тюрьмы, где я был один и никто не мешал мне.

Я не думаю, чтобы в каком-нибудь государстве, претендующем на наименование цивилизованного, был возможен такой тюремный режим, какой существовал во Владимирской тюрьме. Дело не в физических условиях существования, не в том, что человек заключен один в крохотную комнатку с окном, закрытым армированным стеклом, сквозь которое и неба не видно, не в страшно скудном пищевом режиме, рассчитанном точно так, чтобы человек с голоду не умер, но был постоянно голоден. Самое страшное — это полная изоляция от внешнего мира. За семь лет, что мы были в заключении, нам не было ни разу позволено ни написать родным о себе, ни получить хоть одно письмо от них. Мы были погребены, с момента ареста мы перестали существовать для внешнего мира. Когда мы были арестованы, мы оставили сына, которому было шесть лет, на попечении 75-летней бабушки. Несколько раз и жена и я подавали заявления в МГБ с просьбой хотя бы сообщить нам, жив ли наш сын и где он, и ни разу мы не получали ответа. Много раз мать жены и моя мать обращались с просьбой сообщить им о нашей судьбе, и всегда им сообщали, что "по делу таких-то никакие сведения выданы быть не могут".

Единственное, что было во Владимирской тюрьме хорошего, это сравнительно приличная библиотека. Она, по-види-

мому, комплектовалась из книг, конфискованных в домах многих интеллигентов. Поэтому там было всего понемногу. Неплохо была представлена русская и иностранная художественная литература, но были книги и по истории, и по физике, математике, биологии. Эта библиотека спасла нас. Одинокое тюремное заключение, действительно, непереносимо, скажем, для уголовников или вообще для людей, не привыкших мыслить и читать. Нам же книги дали возможность выжить, а во мне даже произвели сдвиг научных интересов.

Жизнь в тюрьме в эти годы была так монотонна, так лишена всяких внешних существенных событий, что писать об этих годах нечего. Можно говорить лишь о событиях внутренней жизни, о сдвигах в моем мировоззрении и интересах.

Первое, что я понял до конца во Владимире, это то, что я для науки, конечно, величина очень малая, но наука для меня все, она составляет весь смысл и все содержание моей жизни.

Когда после кошмара лефортовского следствия я оказался, наконец, в спокойной одиночной камере тюрьмы, первое, что я попросил, были книги. И, о счастье, первая книга, которая в тот же день попала ко мне, оказалась "Теорией относительности" Френкеля. Это прекрасно написанное, кристально ясное и четкое изложение специальной теории относительности в геометрической трактовке Минковского. Когда я, совершенно измученный и разбитый, лежал на койке и читал эту книгу, она пролила в мою душу незабываемое спокойствие.

Семь следующих лет я только думал и читал. Читал много. Если подводить итоги с точки зрения "моего пути в Израиль", то главный можно сформулировать так: я сознательно идентифицировал себя с еврейством. Из еврея "в себе" я стал евреем "для себя". Нам давали в тюрьме газеты, сначала центральные, а потом только местную. Мы научились читать советские газеты между строк, и хотя полный размах и ожесточение "иудейской войны", которую вела в эти годы советская власть против нашего народа, были нам не ясны, тем не менее мы понимали, что означают вопли о "безродных космополитах", что означает подчеркнутая расшифров-

ка еврейских фамилий. Мы понимали, что антисемитизм в СССР ширится и укрепляется, и это все глубже приводило нас к пониманию того, что нет иного пути спасения для нашего народа, кроме пути в Израиль.

Серьезные сдвиги произошли и в моем научном мировоззрении. Я потерял интерес к проблемам чисто физическим и воспылал острым интересом к проблемам биологии и особенно генетики. Меня увлекла та задача, которой я посвятил всю свою последующую научную жизнь, — попытка найти и объяснить те физические механизмы и закономерности, которые лежат в основе того или иного биологического явления.

Настал 1954 год. Проведенная Хрущевым после смерти Сталина и разоблачения Берии массовая реабилитация жертв сталинского террора открыла и перед нами двери тюрьмы. Полностью реабилитированные, — ”ввиду отсутствия в наших действиях состава преступления”, как гласили выданные нам справки, — мы вернулись в Москву. Меня сразу же восстановили в Физическом Институте им. Лебедева, где я работал до ареста; нам дали квартиру взамен отобранной у нас после ареста, и вся моя дальнейшая жизнь в Москве протекала в условиях, казалось бы, полного благополучия.

Ожесточенная борьба, которую мы вели против лысенковского бреда в биологии, закончилась к 1958 году победой. Лысенко был дискредитирован, его диктатура в науке кончилась, и академику Энгельгардту было поручено организовать новый Институт молекулярной биологии, куда он пригласил меня для руководства физической лабораторией (лабораторией биоэнергетики). Я получил достаточные возможности развернуть научную работу в том новом направлении, интерес к которому возник у меня в тюрьме.

Учебник физики, который я написал еще до ареста, вышел восемью изданиями, общим тиражом около 1,5 миллиона экземпляров, и это дало мне полную материальную обеспеченность. Академия обменяла мою прежнюю квартиру на новую, гораздо лучшую и расположенную в пяти минутах ходьбы от Института. Положение мое в Академии было почетным и прочным. Было все: любимая

работа, научная среда, товарищи и друзья, но не было душевного покоя и удовлетворения.

Хрущевская "оттепель" прошла очень скоро, оставив горький осадок разочарования. Полного разоблачения сталинского режима и перехода к демократизации страны не последовало. Напротив, в культурной жизни страны еще больше усилился гнет всеподавляющего идеологического конформизма, подавлялась и душилась всякая свободная мысль, всякое новое течение, а писательская среда, разращенная щедрыми подачками, все больше теряла человеческий облик и превращалась в толпу проституток духа.

И все же кое-что в стране необратимо изменилось. Возникли два тесно связанных общественных движения: общедемократическое, возглавляемое Сахаровым и Солженицыным, и еврейское, борющееся за право евреев на свободную репатриацию в Израиль. Возник Самиздат, начала подпольными путями проникать кое-какая литература из-за границы. Возник целый ряд попыток открытого протеста. Они подавлялись псевдосудебными и совсем не судебными методами, но все эти репрессии только подливали масло в огонь общественного недовольства. Люди стали говорить друг с другом более свободно, евреи начали собираться у синагоги.

Не следует переоценивать размах этого общественного движения. Демократическое движение нашло отклик только в сравнительно узком кругу интеллигенции. Массовой опоры оно не имеет. Еврейское движение охватило более широкие круги населения, но оно имеет более узкие цели: только обеспечение репатриации евреев. И все же обстановку в стране нельзя и сравнивать с тем, что было до смерти Сталина.

Мы были увлечены новым общественным движением, жадно читали Самиздат, горячо обсуждали с друзьями все наиболее важные вопросы, помогали, чем могли, пострадавшим. Наш сын, на долю которого выпали очень тяжелые детство и юность, когда его травили как "сына жидовских шпионов", включился в борьбу демократов и сионистов со всем жаром юности и был одним из самых активных участников этих движений. Его арестовывали и посылали в тюрьмы и психиатрические больницы очень много раз, но на короткие

сроки. Очевидно, арестовать его "всерьез и надолго" они опасались, учитывая мое положение и трагическую историю нашей семьи.

Таковы были наши общеполитические настроения в эту эпоху, настроения довольно значительного числа советских интеллигентов. Но была у нас и своя особая, еврейская, боль и обида. Антисемитизм и при Хрущеве и его преемниках оставался одной из "генеральных линий" партии. Удаление евреев со всех ответственных постов в партийном и советском аппарате почти закончилось. Прямо начать снимать ученых, уже занявших определенное положение, было нерасчетливо и трудно. Но создавались всевозможные затруднения для поступления еврейской молодежи в Университеты (особенно на физические, химические, биологические факультеты), чтобы в дальнейшем воспрепятствовать ее приходу в науку. Расчет был безошибочен. Старые умрут, и мы избавимся от еврейского засилия в науке тихо и незаметно.

Чтобы не быть голословным, приведу лишь один пример из моего опыта, пример, который для меня стал переломным пунктом в моем решении уехать в Израиль. У меня в лаборатории открылась вакансия лаборанта, и я хотел зачислить на это место девушку, которая окончила физический факультет, проработала три года в научно-исследовательском институте и была удалена отсюда как еврейка. Когда я подал ее документы с моей резолюцией о зачислении, коммунист, мой старый знакомый, от которого это зависело, сказал мне: "Что вы? Это невозможно. Ведь она еврейка, а у нас и так слишком много евреев, и мы на черной доске в районном партийном комитете". После этого я окончательно понял, что жить в этой стране нельзя, а еврею особенно.

В целом, начиная с конца пятидесятых годов наши симпатии к Израилю и желание уехать туда нарастали все больше и больше. В эти годы усилился и процесс обособления, отделения евреев от русской среды. Даже мы, глубоко ассимилированные евреи, осознали тот простой факт, что всюду — на работе, в санаториях и домах отдыха, в частной жизни — мы почти автоматически замыкаемся в своей среде, что все больше слабеют наши связи с русским обществом.

Переломным пунктом для нас, как и для большинства евреев СССР, явилась Шестидневная война. Беспремерно гнус-

ная позиция, занятая Советским Союзом, который объявил агрессором Израиль, страну, подвергшуюся угрозе полного уничтожения арабами, заставила многих евреев, в том числе и нас, принять решение уехать. Нам, в нашем возрасте и после всего пережитого, принять такое решение было очень трудно, но оставаться там после того, как мы осознали себя евреями, было невозможно.

Дальше все шло уже по прямой линии. Мы получили разрешение на въезд в Израиль и возобновили его, когда срок кончился. Я послал – не по почте, конечно, а подпольными путями – письмо тогдашнему Президенту Вейцмановского Института профессору Сэбину. В этом письме я сообщал ему данные о себе и запрашивал о возможности найти работу в Институте в моем возрасте, ибо единственной целью моей эмиграции было желание отдать Израилю все, что я сохранил: весь остаток моих сил, мои знания и опыт. Сэбин ответил мне приглашением в Институт, но так как он послал его по почте, то я этого письма не получил. Оно хранится, вероятно, в моем "деле" в КГБ.

Летом 1972 года создалась, наконец, обстановка, в которой были реальные шансы получить разрешение на выезд для всей нашей семьи. Я подал заявление. Через три месяца, 26 октября, мы получили выездные визы, и с 25 ноября 1972 года мы – полноправные граждане государства евреев, Государства Израиль.

Наша личная судьба сложилась здесь счастливее и удачнее, чем я мог рассчитывать и надеяться, уезжая из СССР. Через два месяца после приезда я возобновил свою научную работу на новом месте, в Институте им. Вейцмана. Институт предоставил мне квартиру и взял на себя заботу о моих личных нуждах. Я снова в такой знакомой мне атмосфере исследовательского Института и продолжаю заниматься тем делом, которое всегда было смыслом и содержанием моей жизни.

Преждевременно, да и неуместно здесь, было бы подводить итоги моим наблюдениям и впечатлениям, пытаться дать ответ на вопрос о том, что я нашел в Израиле. Но ясно мне уже, чем Израиль стал для меня. Основной итог этого

года – это то, что Израиль стал *м о е й* страной. Многое может мне здесь не нравиться (засилие раввината, не полное отделение религии от государства, партийная избирательная система, ”псевдосоциалистическая” экономика, чрезмерный национализм), но ”хорошая эта страна или плохая, она моя страна”. С ней я идентифицирую себя полностью и неразрывно, в ней я впервые обрел Отечество.

АНАТОЛИЙ РУБИН



Автор (род. в 1928 г.) родился в еврейской традиционной семье в Минске, но образование получил исключительно советское. Во время вторжения немцев в Советский Союз ему было 13 лет. Он описывает события в гетто и уничтожение евреев в Минске, свою жизнь как "христианского" мальчика в глухих белорусских деревнях, антисемитскую атмосферу в партизанских отрядах. После войны закончил Институт физической культуры в Минске и стал инструктором по спорту. Он лично чувствовал

усиление антисемитизма в окружающей среде. Основание еврейского государства усилило чувство отчужденности и привело его к поискам своего еврейского самосознания. Он искал и нашел старые книги на русском языке на еврейские и сионистские темы, и полученную информацию и идеи старался распространять среди еврейской молодежи.

После ареста и следствия был осужден к шести годам лишения свободы. После освобождения прибыл в Израиль.

Сочинение написано толково и дает типичную картину судьбы евреев в Восточной Европе во время и после катастрофы. (Выписка из протокола заседания жюри.)

Девиз: Страницы пережитого

НЕМЕЦКАЯ ОККУПАЦИЯ

Детство и начало войны

Помню себя примерно с пятилетнего возраста. Одна большая комната, перегороденная огромным старинным шкафом. Большая кухня с русской печью. Мебель вся старая, неуклю-

жая. Во всем чувствовался недостаток. Семья наша состояла из шести человек. Отец властно навязывал свою религиозность всей семье. Остальным членам семьи религия была чужда, и они выполняли некоторые обряды только ради него. Как правило, дети, подростки тянутся к сильным, героическим, импозантным личностям и стараются быть похожими на них. Даже до Второй мировой войны, когда в Советском Союзе существовала еврейская литература, газеты и театры, в учебниках, фильмах, в художественной литературе русский был воплощением всех добродетелей. Он и могуч, он и мудр, он и великодушен, он и героичен. Еврей же, даже положительный, был хозяйственником, торговцем или, в лучшем случае, врачом. Меня, как и многих моих сверстников, естественно, притягивал героический образ, и я старался быть похожим на русских, тем более, что большинство моих товарищей и в школе, и во дворе были русские.

Чтобы быть здоровым, сильным и независимым, я еще в детстве начал заниматься спортом. Регулярно занимался гимнастикой дома, а потом поступил в спортивную секцию. Любил читать, особенно книги военные и исторические. С детства старался воспитать в себе силу воли. Заставлял себя прыгать с крыши сарая или из окна класса на втором этаже. Прыгал в воду, не умея плавать. Но была у меня одна слабость — жалость ко всему живому. Например, когда вынимали живую рыбу из воды, я плакал. В дальнейшем, в войну, я понял, что еврею надо быть жестче. Когда я жил в деревне на оккупированной территории, я заставлял себя резать овец, телят, отрубать головы гусям и хотел таким образом уничтожить в себе эту слабость, мешавшую мне в то время.

Война застала меня в пионерском лагере в семи километрах от Минска, в поселке Дрозды. Мне было тогда 13 лет. Нас начали готовить к эвакуации. Раздали кое-что из продуктов. Но на завтра обнаружили, что в лагере остались лишь дети, часть работников кухни и сторожа. Остальные все разбежались. Началась паника. В это время к моему товарищу пришла мать забрать его из лагеря. Я присоединился к ним, и мы вместе пошли в Минск. Потом я узнал, что вскоре после моего ухода приходили за мной моя мать и

старшая сестра Тамара. Придя в Минск, я увидел, что на месте нашего дома остались лишь тлеющие головни. Кое-где лежали вздутые трупы, среди них были трупы наших соседей. Я пошел вместе с людским потоком на Восток. Шли весь вечер, всю ночь. Изнемогавшие люди бросали свои жалкие пожитки, которые они захватили из дому, если дом еще не сгорел до этого. Все время нас обстреливали немецкие штурмовики, и мы бросались врассыпную в поле или в лес и ложились. Некоторые так и не поднялись. Позже нас останавливали люди в советской военной форме, отбирали мужчин, особенно стриженных, так как это был верный признак, что они военные, и уводили в лес или же в овраг, и оттуда вскоре доносились выстрелы. Потом мы узнали, что это были немецкие десантники, переодетые в советскую форму. На следующий день мы дошли до местечка Смиловичи в 35 километрах от Минска. Население этого местечка, как и большинства других, было в основном еврейским. В Смиловичах я неожиданно встретил свою тетю с маленьким сыном, она еле плелась на своих больных ногах. В местечке стояла советская военная часть, и было много беженцев. Мы остановились на квартире местного еврейского кузнеца. Это был классический кузнец: могучий, с большой окладистой бородой и жилистыми руками. У него остановились еще несколько семей беженцев. Во время налетов немецких самолетов все мы бежали на его огород и ложились между грядками. 26 июня радио сообщило, что бои идут где-то возле Барановичей — более 200 километров от нас. Но уже минут через десять после этого на улице начали кричать, что какие-то танки стоят по ту сторону реки. Река протекала у самого местечка. Сперва кричали: "Наши! Наши!", но потом заметили, что танки какие-то другие, черного цвета. Все разбежались по домам, а стоявшая в местечке военная часть вмиг куда-то исчезла. Мы забежали в дом, и кузнец велел нам всем лечь на пол. Через несколько минут послышался рокот мотоциклетных моторов и выстрелы, еще минут через пятнадцать — удары прикладами в дверь и гортанные крики: "Ауфмахен!" Кузнец открыл дверь, в квартиру ворвалось несколько солдат и с криками "Раус!" начали всех выгонять во двор, заставляя при этом руки держать на затылке. Во дворе они отобрали мужчин и

стали их уводить. Жены и дети бросились с плачем к своим мужьям и отцам, но немцы их быстро отогнали, работая прикладами винтовок и сапогами. Позже оказалось, что немцы их взяли на разные работы, в том числе для восстановления моста. Мы немного осмелели и стали выходить на улицу. Мальчики со смешанным чувством страха и удивления смотрели на немецкую технику — огромные машины, танки, автоматы. Сами немцы выглядели как на картинке — высокие, здоровые, с засученными рукавами, с открытым воротом. Это были фронтовики, которые не трогали мирного населения, а, заняв населенный пункт, уходили дальше. Потом приходили специальные войска СС, гестапо, которые наводили новый порядок. На центральной площади местечка был райком партии и райисполком. Посреди площади стоял памятник — Ленин с вытянутой рукой. Немцы подкатили маленькую пушку и выстрелили по нему. Все мы разбежались, но вдруг я почувствовал удар по голове. Я обернулся — на земле лежал ленинский палец, а на голове у меня осталась шишка. Это был первый удар, весьма символический. С приходом немцев резко изменилось отношение нееврейского населения к евреям. Неевреев было в местечке немного, но они сразу же преобразились — с их стороны посыпались оскорбления и угрозы. Итти дальше на восток не было возможности, и мы с родственниками отправились назад в уже оккупированный Минск.

Было жаркое сухое лето. Мы взяли с собой чайник воды, отпивали лишь по три глотка — приходилось экономить. Тетушка и ее сынишка с трудом волочили ноги. Шоссе было забито людьми, как и неделю назад — большинство не успело убежать. Люди уже не торопились, ибо шли в неизвестное. Впервые я увидел убитых красноармейцев. Почти со всех были сняты сапоги. Навстречу нам двигался из Минска поток крестьянских телег, нагруженных награбленным имуществом бежавших. Одна еврейская семья опознала свою мебель и пришла в негодование. В ответ мужики набросились на эту семью, избили, а потом еще насмеялись: "Вам ведь это уже не понадобится". Наконец, мы добрались до Минска. Город лежал в развалинах. Весь центр был разрушен. Пахло гарью. Стоял смрад от разлагающихся трупов.

Немцы уже были в Минске. Они вошли в него 27 июня, не встретив сопротивления, и захватили огромное количество пленных. Мы пошли на окраину города к другой моей тете, и там я встретил маму и двух сестер. Не найдя меня в лагере, они отправились в Астрашицкий Городок, где жили какие-то наши дальние родственники. Как и многие, они верили в силу Красной армии, и бежали не от немцев, а от бомбежек: военные сводки сообщали, что бои шли далеко от Минска. Но немцы застигли их, и они, как и мы вернулись в Минск. Мой старший брат служил в армии. Во время войны, как потом я узнал, он воевал на Ленинградском фронте. В 1944 г. он пропал без вести. Отец в один из первых дней войны, вернувшись с работы, застал на месте нашего дома лишь пожарище, и кто-то ему сказал, что видел нашу семью на Московском шоссе. Он и пошел туда искать нас. Потом нам рассказали, что он был убит по дороге бандитами.

Мы жили на квартире у одной из тетюшек, на тогдашней окраине Минска — Перэспа. Минчане, не собиравшиеся бежать, воспользовались суматохой и натащили с частных квартир и с уцелевших после пожара складов полные дома вещей и продуктов. Недалеко от нас были разграблены склады с мукой, пищевыми концентратами и мылом. Кроме того, на железной дороге стоял состав с цистернами пережатой патоки. Люди с ведрами забирались наверх и черпали оттуда. Я видел, как женщина поскользнулась на разлившейся патоке и упала в люк цистерны. Сначала люди отхлынули и не решались брать патоку оттуда, где лежала утопленница. Но через некоторое время кто-то первый решился зачерпнуть ведро с мясом и люди вновь как мухи облепили сладкую цистерну. Вскоре начались первые облавы и посыпались первые немецкие приказы. Недалеко от летнего лагеря в Дроздах, где застала меня война, немцы создали временный концлагерь для военнопленных и гражданских лиц. Лагерь этот находился в открытом поле под открытым небом. Находились в нем десятки тысяч человек. Вскоре этих людей разбили на три группы — военнопленных, евреев и неевреев. Евреи в этом лагере подвергались страшным издевательствам не только со стороны немцев, но и со стороны местных антисемитов. Их зверски избивали, отби-

рали приносимую из дома еду и убивали просто для удовольствия. Потом неевреев отпустили, большую часть евреев отправили в гетто, а часть в тюрьму. Вышли первые приказы — евреи должны сдать все ценности: золото, серебро, меха. У всех приказов была одна концовка: "За невыполнение приказа — расстрел". Однажды мы пошли на место, где когда-то стоял наш дом, чтобы собрать уцелевшие пожитки — кастрюли, кружки, ложки. Все было в полурасплавленном состоянии, но еще годно. Там я впервые увидел проявление звериной сущности антисемитизма. Несколько подвыпивших немцев решили позабавиться. Они поймали старого еврея, подвели его к телеграфному столбу и заставили лезть вверх. Столб был гладким, скользким, и старик, конечно, не смог влезть. Тогда они вытащили кинжалы из ножен и стали его "подбадривать" снизу. Старик сделал несколько отчаянных рывков вверх, убегая от вонзившихся в него остриев кинжалов, а затем упал окровавленный на мостовую. И все это происходило под ликующий гогот толпы, которая собралась, чтобы посмотреть на это зрелище. Мы вернулись домой подавленные.

Евреям было приказано надеть желтые заплаты диаметром в 10 сантиметров на груди и на спине, и вышел приказ о создании в Минске еврейского гетто. Согласно приказу район гетто примыкал к еврейскому кладбищу. Евреи должны были переселиться в гетто и выходить на работу оттуда организованными колоннами и в сопровождении немцев. Проще было тем, у кого дома сгорели и никакого имущества не было. А те, у кого остались квартиры, вынуждены были их бросить. Часть имущества взяли с собой в гетто, а часть отдали соседям-неевреям на хранение. То же самое сделала моя тетя, у которой мы жили. Большую часть мебели, посуды и других вещей она оставила соседям, которые потом, после войны, когда ее муж вернулся с фронта в Минск, отказывались вернуть вещи под разными предложениями. Советские власти, которым он жаловался, отказались ему помочь. В гетто мы жили — три семьи в двух комнатках. Я спал на стульях, мама и две сестры на одной кровати — валетом. Кормились мы тем, что меняли теткин вещи на продукты. Это делалось с большим риском для жизни, так как надо было подойти к ограде гетто из

колючей проволоки, быстро сторговаться, а затем менять. Если же полицай видел, то немедленно стрелял и, конечно, в человека, стоящего внутри ограды. Жили мы впроголодь. Я не помню, чтобы в то время хоть раз был сыт.

Моя старшая сестра Тамара была непохожа на еврейку — русая, сероглазая. Работала она вне гетто как русская. Она нам очень помогала — приносила продукты, которые легче было достать и выменять на арийской стороне. Вместе с продуктами она приносила нам нечто еще более важное, что поддерживало нас всех морально — обнадеживающие новости. Она была связана с подпольщиками и приносила советские листовки, спрятанные в картофелине или в каблукке. Листовки передавались из рук в руки по всему гетто. Люди хватались за слухи, придавая им правдоподобный характер, как утопающий хватается за соломинку. Если слухов не было, то их сочиняли.

В городе было огромное количество пленных советских солдат и офицеров. Иногда их водили длиннющей колонной, которая тянулась на многие километры. Шли уставшие, голодные, мучимые жаждой — лето было жаркое и сухое. Однажды, когда им разрешили сделать привал у канавы с зеленой вонючей жижей, она была буквально высушена в миг припавшими к ней людьми. Местное население относилось к ним сочувственно. Бросали им хлеб, картошку. Но немцы тут же стреляли и в бросающего, и в ловящего, и улицы были усеяны трупами. Пристреливали и упавших от изнеможения. Охраняли их не очень строго. По обеим сторонам шли немецкие солдаты, а в конце колонны шел танк, на котором сидел немец-автоматчик. Когда нас вели на расстрел из гетто, конвоиров было значительно больше. В связи с этим мне вспоминаются частые упреки евреям, что вот, мол, евреи шли как телята на убой, а если бы они сразу разбежались, так хотя бы части удалось спастись. В ответ на эти кабинетные рассуждения я всегда приводил пример с военнопленными.

Евреи были разные — с семьями, дети, старики, неорганизованные — просто толпа. И ко всему еще и евреи. Они знали, что если они и убегут из колонны, то им все равно деваться некуда, так как их тут же выдаст кто-нибудь из местного населения. А пленные русские солдаты — это были

молодые мужчины, пусть даже изнеможенные, но не связанные семьями, детьми и стариками. Были среди них и командиры с военным опытом. Если бы они одновременно по команде какого-нибудь решительного командира разбежались, то у них было бы значительно больше шансов спастись. Почти все местное население, независимо от политических настроений, относилось к пленным сочувственно. Город был сожжен, и документов у многих жителей не было. Почти в каждом доме ему дали бы одежду переодеться, накормили бы, он мог бы пойти в деревню, а там уже и до партизан рукой подать. Однако я не помню случая, чтобы пленные, десятки тысяч молодых мужчин, разбежались по своей инициативе. Были случаи побегов, но это были одиночки, или же когда инициатива и помощь исходили извне, от партизан. Евреи такой помощи были лишены.

Несмотря на особо тяжелое положение евреев, я знаю немало случаев, когда какой-нибудь еврей-герой бросался на охрану, и в образовавшейся суматохе люди разбежались. Есть в Минске один известный белорусский писатель. Жена его — еврейка, с которой я был хорошо знаком. Она мне рассказала подобную историю, которая произошла в их местечке. Когда они вернулись из эвакуации в Минск, то поехали на ее родину, и там, в этом местечке, им рассказали, как уничтожалось еврейское население. Когда всех евреев местечка вели на расстрел, то почти у самой ямы одна еврейская девушка бросилась на немца с ножом, свалила его и успела даже дать очередь из его же автомата; немцы от неожиданности растерялись, а евреи, воспользовавшись этим, побежали в сторону леса. Некоторых убили, некоторых поймали и расстреляли, но многим удалось спастись. Аналогичный поступок, я знаю, совершил мужчина в другом местечке. Обо всех этих случаях лишь рассказывали, писать о них не рекомендовалось. Когда писатель хотел написать повесть об этой героине, то ему в Союзе белорусских писателей сказали, что эта тема сейчас не актуальна, а надо писать произведения о восстановлении народного хозяйства в республике. Безусловно, будь она не еврейка, о ней были бы написаны книги, сделаны фильмы, ей были бы поставлены памятники.

Я вовсе не осуждаю советских военнопленных за их

поведение. После постоянного внушения им, что они самые сильные, непобедимые, что никакой враг им не страшен, столь полный разгром советской армии на первых порах войны совершенно подавил их морально.

Акции в Минском гетто

Первая акция в гетто состоялась 7 ноября 1941 года. Проснувшись утром, мы увидели из окна, что часть гетто оцеплена. Однако наша сторона улицы оказалась вне оцепления.

Почти в каждом доме евреи сооружали тайник-”малину” : делали подкоп под полом, двойную стену, замаскировывали одну из комнат. У нас на чердаке была сделана двойная стена в одном из его закоулков. Все мы, семьи, живущие в этой квартире, полезли в это убежище, одевшись потеплее, забрав с собой имевшиеся припасы продуктов. На крыше и в стене дощатого чердака были щели, из которых с высоты второго этажа открылась ужасающая картина. Людей выгоняли из дому в том виде, в каком заставляли; застигнутых в постели выгоняли в белье, в ночных рубашках, босиком. Всех сгоняли в одну колонну. При малейшей заминке сразу же расстреливали на месте, тех, кто не мог идти, тут же приканчивали. Подходили специальные закрытые машины, куда забрасывали детей. Улица была уже усеяна трупами. Раненые кричали и умоляли их прикончить. Стоял душераздирающий крик матерей, у которых вырывали детишек из рук, чтобы бросить их в машины. Некоторые изверги хватили детей за ножки и с размаху размозжали их головки о мостовую или о стену дома. Делали все это немцы совместно с местной полицией и украинскими отрядами. Среди прочих дел не забывали они и о наживе. Они тут же снимали со своих жертв часы, отбирали деньги, кольца и другие ценности. Они снимали часы и кольца и с убитых. Возле тротуара у нашего дома лежала убитая женщина, и один полицай отбежал от идущей колонны, чтобы снять с ее пальца кольцо. Но кольцо никак не снималось, и тогда он выломал палец, оторвал его и снял кольцо с другой стороны. Все это происходило у нас на глазах, и женщины,

сидящие в "малине", не выдерживали, видя этот ужас, и падали в обморок.

К вечеру "работа" была в основном окончена. Но кварталы еще оставались оцепленными, так как продолжали выискивать спрятавшихся и, кроме того, грабили все ценное, что находили. Грабеж этот проходил поэтапно. Вначале грабили немцы и их приближенные из местных полицаев, затем из оставшегося имущества уже рядовые полицаи забирали все, что представляло для них какую-нибудь ценность. Потом оцепление снималось, и туда волной врывалась толпа простонародья, которая набрасывалась на имущество несчастных, как голодные волки на свою жертву. Начиналась чистка всего под корень. Вначале забирали и увозили на повозках, на колясках, а то и просто на плечах вещи и продукты. Затем растаскивалась мебель — и новая, и старая, а после этого выламывали и уносили из дома все, что только можно было выломать и унести — и двери, и окна; а если дом был деревянный, то его просто разбирали по бревнам. В общем после окончательной обработки этого района в кварталах, где еще недавно жили тысячи мирных еврейских семей, оставались лишь одни скелеты домов. Интересно, что местное население узнавало на несколько дней раньше через своих родных и близких полицаев о том, что состоится акция. К ее началу они уже находились во втором эшелоне и кружили как черное воронье, ожидая, когда уже убьют жертву, чтобы наброситься на плоды ее многолетнего труда.

Крестьяне из пригородных деревень дежурили в прилегающих к гетто кварталах и только ждали подходящего момента, чтобы подчистить то, что осталось от немцев и полицаев. Притом, как я уже говорил, в первые дни после акций им не позволяли заходить в эти кварталы. Но у многих страсть к легкой наживе была столь велика, что они, не считаясь ни с запретом, ни с опасностью для жизни, пытались перебежать на запретную сторону и проникнуть в один из домов, а там, набив мешки вещами, вновь перебежали на свою сторону. Но многих из них настигала немецкая пуля, и они оставались лежать посреди улицы, сжимая в предсмертных судорогах награбленное добро. После войны многие дома местного

населения были битком набиты еврейским имуществом.

После акции кварталы гетто, которые подвергались уничтожению, отходили к так называемому арийскому району. Таким путем началось постепенное уничтожение минского гетто. Жертвы уводили и увозили за город в район Тучинки, где заранее были вырыты огромные рвы. Отдельным счастливым, которые притворились убитыми, удалось бежать даже из ямы. Они рассказывали, что евреев приводили к определенному месту недалеко от ям, затем, жестоко избивая нагайками, заставляли раздеваться догола. Вещи тут же бросали в отдельные кучи — обувь в одну, платье в другую, и таким образом сортировали их. Затем евреев группами гнали к краю ямы, и установленные пулеметы начинали работать. После этого убийцы подходили к краю ямы и добивали раненых и тех, кто казался им еще живым. Покрыв эту партию легким слоем земли, они подводили другую группу, и процесс начинался снова — с той же методичностью, немецкой аккуратностью, с тем же хладнокровным садизмом. Когда котлован был наполнен, его засыпали сначала известью, а затем землей. Как я уже говорил, кое-кому из находившихся в верхнем слое котлована — тому, кто упал не задетый пулей или был легко ранен, удавалось спрятаться под трупами, а ночью уползти с этого чудовищного кладбища. Люди, жившие в деревнях неподалеку, потом рассказывали, что первое время после расстрела земля еще дышала — раненые двигались. Местами скопившаяся кровь была из-под земли ключом. Даже неверующие люди в этих деревнях начинали креститься. Всего в Минске убили свыше 130 тысяч евреев. Около 100 тысяч были из Минска, а остальных привезли из Гамбурга, Австрии и Чехословакии. Естественно, что сразу всех уничтожить практически было невозможно, и немцы проводили свои акции по частям. По 10—15 тысяч за один раз.

Кроме того, постоянно проводились облавы, и сотни евреев увозили в неизвестном направлении. Потом оказалось, что их увозили на кладбище, где была вырыта огромная яма, у которой ежедневно расстреливали провинившихся евреев: тех, кто приблизился к ограждению, кто не снял шапку при встрече с немцем, кто шел без жезлой

латы на положенном месте. Все это — не считая высокой смертности в гетто от болезней и голода. Часть привезенных из Европы евреев поселяли к нам в гетто, в отведенные им кварталы. Кварталы гетто были отгорожены друг от друга колючей проволокой, и нам было запрещено с ними общаться. Помню, как они колонной плелись с вокзала. Они отличались от местных евреев. У них были европейские манеры. На многих сохранились остатки прежнего лоска — добротная, хотя уже изрядно потрепанная одежда. Кожаные чемоданы, набитые разрешенными килограммами, они волокли по земле, привязав их веревкой или поясом. Их положение было еще хуже нашего, так как они, не зная русского языка и не имея знакомых среди местных жителей, не могли менять свои пожитки на хлеб. Говорили только на немецком, а чешские евреи, естественно, и на чешском языке. Носили они не желтую заплату, как мы, а желтый Маген-Давид. Многих из них прямо на станции погрузили в закрытую машину, предварительно отобрав вещи. Им сказали, что их отвезут на постоянное место жительства, а вещи придут вслед за ними. Их действительно увезли на постоянное место — на место вечного покоя. Их увозили за город, где уже заранее были вырыты ямы, и когда двери фургона раскрывались, оттуда вываливались трупы. Пока машина находилась в пути, выхлопные газы ее рационально использовались для исполнения давно вынесенного приговора. Соседка наша, которая работала на уборке двора в полиции, рассказывала, что всех работающих вдруг погнали вечером в гараж мыть эти машины. В фургоне валялись разбитые очки, клочья волос, вырванные с мясом, сгустки крови и испражнения. В кабине этой машины был глазок в кузов, через который садисты могли наслаждаться предсмертными муками несчастных. Вещи убитых сортировались и отправлялись в Германию, а их остатки разбирали местные полицейские.

Не успели мы еще прийти в себя после первой акции, как 20 ноября того же года, через две недели, началась вторая акция. Рано утром мы из окна увидели, что наш квартал оцеплен гестаповцами. Мы решили проводить старшую сестру Тамару на работу и пошли с ней на соседнюю улицу, где она обычно проходила с одной из рабочих колонн на

арийскую сторону. Но тот район тоже был оцеплен гестаповцами. Всех нас стали сгонять в колонну, а место назначения было уже известно по предыдущей акции. Тогда тоже выгоняли всех из домов кто в чем был — в белье, в ночной сорочке, босиком. Это было в конце ноября, земля подмерзла и падал легкий снежок. На сей раз на помощь немцам и местным полицаям прислали специальный карательный отряд литовцев, у которых был уже некоторый опыт по этой части. Люди вели себя по-разному. Некоторые пытались бежать из колонны, но их тут же настигала пуля, некоторые снимали кольца, часы и этим пытались откупиться. Одни молились, другие плакали. Все были в панике. Люди не знали, как лучше поступить, что делать. Почти все были связаны семьями. И даже тут опять-таки прошел слух, что просто переселяют. И когда им это говорили, они верили. Верили, потому что хотели верить. Это была единственная надежда на спасение. Нас повели через оцепленный район по Замковой улице, на которой мы жили. Я шел рядом с младшей сестрой Бетти, рядом с ней шла мама, а справа от меня, с краю колонны, шла Тамара. Тетя с девочкой на руках и со старшей дочкой Таней шла на две шеренги впереди нас. Ее пятилетний сынишка Толик еще вначале потерялся и каким-то образом оказался опять дома. Но потом, при обыске квартир, его откуда-то выволокли и, зверски избивая сапогами и нагайками, допытывались, где находятся его мама и папа, а он-то и сам не знал. И там же его пристрелили, так как сам идти он уже не мог. Об этом мне потом рассказала чудом спасшаяся соседка, которая просидела несколько дней в помойной яме, зарывшись на самое дно. Там были скважины, и она могла видеть все происходящее во дворе. Таким образом она уцелела — уцелела до следующей акции. Когда нас подводили к концу Замковой улицы, Тамара рванулась и исчезла в воротах одного из дворов. Это было сделано молниеносно, и литовец не успел даже выстрелить. Мама крикнула ей вслед: "Тамара, осторожно, тебя могут убить!" В дальнейшем ей удалось пробраться в арийский район, где она встретила своих, подпольщиков, но ее там кто-то выдал, и она оказалась в руках полицаяв. Ее посадили в тюрьму, там над ней полицаи измывались, пытали, а потом повесили как

партизанку. В тюремном дворе работала еврейская рабочая колонна. Рабочие видели там Тамару, им она передала, что ее кто-то выдал, а от других заключенных они узнали о дальнейшей ее судьбе.

От Замковой нас повели вверх по Обойной. Теперь я оказался с краю шеренги. Я не могу сказать, что о чем-то думал, что-то планировал. Скорее всего, я действовал инстинктивно. Я почему-то старался находиться не рядом с ведущим нас литовцем, а между двумя. И когда идущий сбоку шага на три сзади меня литовец оглянулся назад, я, сам не понимая, что делаю, рванулся во двор через какой-то проломанный забор. Но он заметил и успел выстрелить вслед. Пуля просвистела рядом, но я уже был по ту сторону забора. Так я первый раз бежал от верной смерти — и последний раз видел свою маму. Я пробрался дворами в противоположный конец гетто и там, выбрав удобный момент, проскользнул под колючую проволоку и оказался на арийской стороне. Это уже была окраина города, возле искусственного озера. Сняв желтые латы, я пошел по замерзшему озеру. Но куда идти? В городе у нас были русские знакомые. Но я не знал, как они ко мне отнесутся, а проверять их отношение к евреям на себе я не хотел, так как мог ошибиться лишь один раз. Бродил я так до позднего вечера. Уже стемнело. Я был ужасно голоден и замерз.

Находился я как будто у себя в городе, в городе, в котором я родился и вырос. Сколько времени я провел на этом озере — купался, загорал, играл. Все мне было знакомым и когда-то близким. А сейчас я вдруг почувствовал враждебность во всем. Все преобразилось, сбросив с себя маску. Мне казалось, что даже деревья, скамейки и все вокруг смотрит на меня с ненавистью и тычет пальцем — "жид", "жид".

Деваться было некуда, я пошел назад в гетто. В других кварталах, в которых еще не проводили массовых акций, жили мои тетушки. Я пошел к одной из них, которая жила по улице Опанского. Мужа ее схватили в одной из облав и он бесследно исчез.

Материальное положение в гетто было крайне тяжелым. Люди умирали с голоду. На улицах валялись опухшие от

голода дети. Кто не работал, получал в день комочек сырого хлеба и пол-литра мутной водички с сантиметровым осадком муки, которая называлась затиркой.

Нас водили на рытье канав, уборку улиц и подобные работы. Водили нас работать и на товарную станцию. Там удавалось иногда достать картофельную шелуху, или мороженую картошку, или немного макухи. Это была какая-то поддержка. Водили нас на работу очень далеко — в мороз, в пургу. В гетто свирепствовал террор. Искали подполье. Почти еженощно окружали какой-нибудь подозрительный дом. Жителей увозили в душегубках, а часть убивали на месте. Эти акции всегда сопровождались душераздирающими криками женщин, выстрелами, лаем собак и гортанной бранью гестаповцев. Естественно, что в эти ночи никто уже не спал, и люди прислушивались, не приближается ли душегубка к их дому.

К этому времени, кроме желтых лат, каждый житель гетто обязан был пришить к своей одежде номер дома, в котором он жил. Нумерация в гетто была сплошной, без улиц. Ежедневно на специальных тачках увозили на кладбище умерших от голода и болезней. Люди были в полном отчаянии. Массовый террор, голод, холод, враждебное отношение местного населения их окончательно сломили. И когда однажды прорвавшиеся советские бомбардировщики бомбили город, то люди молились, чтобы бомба упала на них. Люди очерствели, внутренне огрубели, стали ко всему безразличны. Все чувства были притуплены. Смерть воспринималась как обычное явление. Бывали случаи, когда жители какой-нибудь квартиры прятались в малине, и если во время обыска заплачет ребенок, то мать, чтобы спасти себя и всех остальных, собственными руками душила своего ребенка. Животный страх властвовал над всеми человеческими чувствами. Удивительна была способность и любовь немцев к самым изощренным издевательствам. Они иногда брали заложника и заставляли его выдать кого-нибудь из близких. В противном случае грозились на его глазах убить жену, мужа, детей, родителей. Однажды пришли к одному старику и велели ему сказать, где находится его сын, а если не скажет, то тут же на его глазах повесят дочь.

Еврей-полицейские в гетто носили желтые повязки и

следили за порядком. Многие из них были связаны с подпольем и оказывали ему всяческую помощь. Но были и предатели: Розенблат, Эпштейн, Вайнштейн. Они работали на немцев, полагая, что этим спасут свою жизнь. Но они получили лишь некоторую отсрочку.

2 марта 1942 года, когда наша колонна (человек 60) возвращалась с работы в гетто, мы почувствовали какое-то возбуждение в кварталах, прилегающих к нему. Когда мы подходили к Обувной, нашу колонну остановила группа эсэсовцев. Все высокие, стройные, грудь нараспашку, и у всех длинные резиновые нагайки со свинцом на конце. Нас подвели к проволочной ограде гетто, но мы еще находились на арийской стороне. Всех нас поставили на колени в снег. Затем начали вызывать специалистов, которые переходили в указанное место тоже на коленях. Немцы в первую очередь старались уничтожить нетрудоспособную часть населения — детей, стариков, больных. Держали нас так около двух часов. Инстинкт самосохранения лихорадочно заработал во мне: "как спастись?" В гетто, я вижу, совершенно спокойно. Там уже к этому времени окончилась чистка. Я решил прорваться под проволокой в гетто. Несколько раз я подползал вплотную к проволоке, выгребал в снегу под ней воронку, чтобы можно было проскользнуть в нее. Но при третьей попытке один из эсэсовцев заметил и перетянул меня своей нагайкой по голове так, что у меня поплыли круги перед глазами. Я отполз к своей группе и остался лежать на снегу. Уже начало темнеть. Немцы окончили сортировку и, подойдя к нам, дали команду "Ауфштейн!" — "Встать". Я понял, что сейчас последняя надежда, если я сейчас не прорвусь под проволокой в гетто, то шансов на спасение уже не будет. Я весь собрался в комок, и, когда люди начали вставать и строиться в колонну, окруженную с трех сторон немцами (с четвертой стороны была ограда гетто), я рванулся и молниеносно прошмыгнул через вырытую мною воронку. Какой-то полицай крикнул: "Стой! Назад!" и два раза выстрелил мне вслед. В нескольких метрах от проволоки гетто было здание бывшей школы. Я сразу же забежал за угол и оказался в безопасности. Ни полицай, ни эсэсовцы не смогли пролезть через эту маленькую воронку.

Я забежал в один из рядом стоящих домов. Там меня какие-то люди затащили в погреб, где прятались несколько семей. Погреб этот был искусно замаскирован. Они мне рассказали о всех ужасах, которые творились в гетто в этот день. Назавтра рано утром я пробрался в дом, в котором я жил. Часть жителей оттуда была увезена, а некоторым удалось спрятаться. В квартире у нас жил рабочий люд — столяры, плотники, каменщики. Они и спроектировали тайник-малину, в котором прятались жильцы нашей квартиры. В одной из комнат стоял большой старомодный буфет. В нижней части его, в среднем шкафчике, поднималась нижняя полка с различным тряпьем, затем поднимались две доски пола, которые были хорошо замаскированы, и люди спускались в маленький погреб. В этом погребе одна из стен отодвигалась, и люди попадали в большой тайник, который был рассчитан на все семьи, населявшие нашу квартиру. Отодвигающаяся стена в погребе, а также зазор между потолком в большом тайнике и полом в квартире были плотно набиты землей, так как при обысках немцы всегда простукивали пол и стены. В тайнике стояла бочка с водой, несколько труб были выведены наружу для вентиляции и замаскированы. Мы работали по ночам. Корзинами и ведрами выносили землю и тут же маскировали ее. В дальнейшем, после моего бегства из гетто, этот тайник еще не раз спасал многих жителей от облав. После полного уничтожения гетто несколько семей остались в подвале ненайденными. Но спустя некоторое время их обнаружили новые жильцы этой квартиры, арийцы, как их называли, и тут же донесли в полицию. Пришли полицаи с немцами и даже не предложили им выйти из тайника, просто бросили туда две гранаты, а потом уже очистили погреб от трупов и всего того, что осталось от них.

Вскоре я стал работать на электростанции, которая находилась в том месте, где я жил до войны. На месте нашего дома были уже огромные горы торфа. На этой станции мы грузили торф, но чаще всего нас, мальчишек, гнали в огромную зольную, откуда мы выгребали золу, а затем грузили на вагонетки и увозили. Получали мы за день черпак супа и... 30 грамм хлеба, я не ошибся, именно 30 грамм. Не тецкую буханку черствого старого хлеба, кото-

рый выпекли еще до войны, разрезали на тонюсенькие просвечивающиеся ломтики.

Электростанция находилась на реке Свислочь. За рекой был парк имени Горького, а за парком шла улица Пулехово. Я вспомнил, что на этой улице жил еще до войны товарищ отца, местный немец по фамилии Никель. Я решил рискнуть и пойти к нему. Я перелез через насыпь у реки; там, сняв пиджак, я спорол с него желтые латы и пополз между кустами к арийскому району. Электростанцию охраняли украинцы. Многие дети, работавшие на электростанции, и дети рабочих часто пробирались на арийскую сторону, чтобы добыть там что-нибудь из продуктов. Многие из них не возвращались, так как были опознаны полицией или местными, которые тут же выдавали их полиции. Часть была поймана украинцами, которые охраняли электростанцию. Они их зверски избивали, а затем отводили в полицию, из которой уже возврата не было. Иногда, когда полицаи или кто-нибудь из местных жителей подозревал пойманного мальчишку в том, что он еврей, ему устраивали экзамен. Требовали произнести фразу: "На горе Арарат растет крупный виноград". Если картавости не было, делали другую проверку — предлагали спустить брюки.

Младший сынишка Никеля нашел бумажник, в котором были документы на имя Степанова. Никель дал мне их: "Возьми, может и пригодится". Там были и метрика о рождении, и немецкий паспорт. Но год рождения был 1924, а это было опасно, так как в этом возрасте уже начинают мобилизовывать в различные отряды самообороны. Но из четверки легко сделать девятку, что мы и сделали. Фотография оказалась очень невыразительной и даже чем-то похожей на меня, так что мы решили ее не менять. Потом знакомые лишь говорили, что я плохо получился на фотографии. Эти документы меня не раз выручали. Именно Никелю я обязан этим, а также своим уходом из гетто. Он помог мне сделать первый шаг.

Вскоре я познакомился на работе с женщиной по фамилии Штефан, которая до войны работала "техничкой" в школе: убирала классы и давала звонки. Моя цель была найти какие-нибудь нити, ведущие в лес, найти людей, связанных с партизанами. Дело в том, что к этому времени я

остался совсем один. Родственников и знакомых у меня уже почти не осталось. И люди, которые не знали меня, не могли, естественно, разговаривать со мной о партизанах, о подполье. Я решил уйти куда-нибудь в деревню, а там уже, как я думал, до партизан рукой подать.

В июле 1942 года, когда рабочие колонны ушли на работу, в гетто началась самая продолжительная резня, которая продолжалась четверо суток. Наци решили уничтожить в первую очередь всех неработающих — детей, стариков и инвалидов. На сей раз увозили всех подряд. И работников Еврейского комитета, и с биржи труда, и из самообороны. Немцы и полиция шарили с собаками по всем квартирам, чердакам и подвалам. Все места, которые казались им подозрительными, в которых могли спрятаться люди, они взрывали гранатами. Многих пристреливали на месте. По улицам текли ручьи крови. Даже любимая собака начальника гетто Готтенбаха, остроту зубов которой мне незадолго до этого пришлось испытать, опилась кровью, взбесилась, и он вынужден был ее пристрелить. В больнице всех больных перерезали. Детские дома были все уничтожены. Нашу рабочую колонну с электростанции четыре дня держали в развалинах бывшей гостиницы "Беларусь", днем водили на работу, а на ночь в "гостиницу". Когда через четыре дня нас привели назад в гетто, перед нами предстала жуткая картина. Дома были как бы вывернуты наизнанку. Окна и двери вырваны. Квартирная утварь валялась на улице. всюду стояли лужи запекшейся крови. Эту картину дополняли жуткие вопли рыдающих матерей, отцов, детей и сестер. Все вдруг сразу осиротели. У каждого погибла если не вся семья, то часть ее. Прежде они торопились с работы домой к женам, детям, родителям, и каждый старался принести в дом что-нибудь, что можно было достать на работе: бидончик супа, немного картофеля, просто кусок доски или полена для растопки печи. Сейчас это уже никому не нужно было. Квартиры были пустые, и из них лишь глядели широко раскрытые глазницы окон, дверей и печей. Гетто сразу опустело, люди сломались, атмосфера стала еще более гнетущей.

Я продолжал приходить к госпоже Штефан. Каждый уход и возвращение на территорию электростанции были связаны

со смертельной опасностью. Однажды я вернулся на электростанцию, когда колонна уже ушла в гетто. Что делать? Куда деваться? Я снова пошел к ней и рассказал, что опоздал к своей колонне и мне некуда деваться. Жила она в одной большой комнате. К ней часто заходили соседи и всякие люди для продажи и обмена вещей. Она оставила меня у себя ночевать. Поздно вечером неожиданно к ней пришли соседи. Когда они постучались в дверь, она заметалась — куда бы спрятать меня — и втолкнула меня под стол. Стол был большой, круглый, накрытый скатертью, которая свисала до пола. Гости уселись, и начались беседы о том, о сем. Я всячески увертывался от их ног, которые они то и дело протягивали под стол. Затем у меня от неестественного скрюченного положения отекли ноги, мне страшно хотелось их распрямить. Хозяйка и так и эдак пыталась закруглить разговор, но они как назло не понимали намеков. Так я перекачивался, сидя на корточках, с ноги на ногу в течение двух часов, пока они, наконец, не ушли.

В другой раз, когда я уходил от нее, на улице было много русских ребят. Они увидели меня и каким-то особым чутьем почувствовав, что я еврей, начали кричать: "Жид, жид, пойдди сюда! Дай золото, а то убьем!" Я пустился бежать в противоположную сторону, преследуемый градом камней, гиканьем и смехом.

Бегство из гетто в деревню

Я стал расспрашивать госпожу Штефан о родственниках ее мужа: где они живут, бывают ли там партизаны. И когда она собралась в деревню навестить свою дочь, я ее прямо спросил, не может ли она меня взять с собой. С ней было идти значительно безопаснее. Она и дорогу знала, и на вид была арийкой, и говорила по-немецки, что очень пригодилось. Она немного подумала, а потом говорит: "Давай-ка пойддем, вид у тебя не типично еврейский, документы у тебя есть" (свой новый документ я ей уже показывал). Мы договорились, что я приду к ней рано утром, и мы вместе пойддем в деревню. Была середина марта 1943 года. Я

поднялся задолго до рассвета. Стоял крепкий утренний морозец. Одевшись в лучшее, что у меня было, я отправился к главному выходу из гетто в надежде, что смогу примкнуть к какой-нибудь колонне, которая выходила на работу пораньше. Но, подойдя к воротам на Республиканской улице, я увидел несколько машин с гестаповцами, которые выгружались и начали оцеплять наш район. Я бросился в противоположную сторону к еврейскому кладбищу, чтобы успеть пробраться через ограду, пока туда еще не дошло оцепление. Я сорвал с себя желтые латы и по привычке сунул их в карман, как будто я еще собирался вернуться обратно. Но тут я осознал, что возврата быть не может. Я внутренне настроил себя, что какие бы опасности ни ожидали меня, в гетто я больше не вернусь. Мне было всего пятнадцать лет, но за два года, проведенные в гетто, я начал по-взрослому осмысливать все происходящее. Гетто было окружено всеобщей враждой и ненавистью. Самой страшной была не ненависть немцев, ибо это было в порядке вещей, а ненависть, как тогда казалось, "своих" — тех, с которыми жили, работали, учились и дружили десятки лет. Атмосфера всеобщей вражды сковывала инициативу, выхолащивала людей духовно и физически. Многие из них, оказавшись они в самых тяжелых условиях, в самых опасных ситуациях, но не лишённые моральной поддержки, не отвергнутые всеми и вся, могли бы проявить чудеса героизма.

Я вытащил латы из кармана и сунул в сугроб. Выбрав удобный момент, я пролез под проволоку, предварительно оттянув до отказа нижний ряд вверх и закрепив его обрывком шнура. Я оглянулся в последний раз на гетто, вернее на то, что еще осталось от гетто, на это старое еврейское кладбище, которое за два года поглотило больше людей, чем за все время своего существования, на эти домишки с наглухо закрытыми ставнями, воротами и дверьми, в которых еще теплилась жизнь, но вряд ли надежда. Отсутствие надежды может сломить самых сильных, волевых людей.

Я пришел к госпоже Штефан, и мы отправились в деревню. Мы шли четверо суток. Иногда нас подвозили попутные подводы крестьян, которые ехали с базара. Ночевали мы там, где нас заставляла ночь. Когда начинало темнеть,

мы заходили в ближайшую деревню или хутор и просились у крестьян на ночлег. В то время полно было всяких беженцев и просто людей, которые бродили из деревни в деревню в поисках пропитания. По нашей легенде, до войны я учился в школе, в которой моя попутчица работала. Случайно она встретила меня в городе, узнала, что я остался один, все мои родные погибли при бомбежке, и она решила увезти меня в деревню, где легче прожить и пристроить к какому-нибудь богатому крестьянину. Эту версию она повторяла везде, где мы останавливались, и всем, с кем приходилось разговаривать. На четвертые сутки мы подошли, наконец, к деревне, где жили родственники ее мужа. Деревня эта называлась Дравовщина. Она находилась в 20 километрах от еврейского городка Клецк и в 7 километрах от местечка Заостровече. Район этот находился в Западной Белоруссии (название того времени), то есть на территории, которая до 1939 года принадлежала Польше. Деревня была разбита на хутора. Хозяин, двоюродный брат ее мужа Янко Карсюк, был относительно зажиточным крестьянином. У него был большой дом, 8 гектаров земли, две коровы, лошадь, телята, свиньи, овцы. С ним жил его старший сын Иван со своей семьей. Он в детстве повредил себе ногу и стал инвалидом. Ученик еврейского портного из Польши, он слыл лучшим портным в округе. Кроме него, с хозяином жили еще две его дочери—Настасья и Лида. Нас они встретили приветливо. Госпожа Штефан рассказала им обо мне, мобилизовав все свое искусство рассказчицы. Все расчувствовались, а женщины даже прослезились. Они решили оставить меня у себя жить, чтобы я им помогал по хозяйству. У них, как оказалось, всего два месяца тому назад бандиты убили сына, когда он шел в соседнюю деревню через лес. Леса кишели тогда бандитами вперемежку с партизанами и полициями.

Вечером старушка согрела воду в печке. За дорогу, со всеми случайными ночевками, я стал еще более грязным и вшивым. По понятной причине догола раздеваться я боялся. Но вода уже была налита в кадушку ("цебар"), у меня не было выбора. Как бы очень стесняясь, я сбросил с себя белье и быстренько прыгнул в воду, где я смог сидеть лишь плотно поджав колени, что меня спасало. Когда раздетый я

уже сидел в кадушке, то увидел изумленные лица всех присутствовавших. Я сразу не понял в чем дело, почему все так пристально смотрят на меня. Не заметили ли они у меня признак, который в то время означал смертный приговор? Но, оказывается, их просто поразила моя худоба. Мои руки у запястья и плечевых костей были одинаковой толщины — буквально кожа да кости. Хозяин подошел ко мне, взял осторожно двумя пальцами мою руку и начал сгибать ее во всех суставах. Потом он мне сказал, что решил, что я болел сухоткой, так как не видел никогда таких тощих. Иван мне сразу сшил белье из крестьянского полотна, старушка расчесала мне волосы густым металлическим гребнем; и я, обновленный и уже немного осмелевший, сел за стол. После почти двухлетнего непрерывного голода я впервые сел за стол, обильно уставленный яствами. С первых же дней меня начали приобщать к работе. Я задавал корм скоту, начал бороновать, а потом и пахать в поле. Эту работу я любил и чувствовал себя хорошо. Через месяца два—три я уже делал основную работу по хозяйству. Кормить скот входило в мои обязанности. Обрабатывали мы поле вместе с хозяином. Молотил цепями рожь, косил траву, очищал хлев, кроме того, ездил в лес по дрова. Летом я в основном пас коров в лесу. Но когда бывала срочная работа, меня на пастбище подменяла дочь хозяина. Эта деревня находилась на одинаковом расстоянии от местечка, в котором был полицейский участок, и от района, куда уже проникали партизаны. В лесах постоянно устраивали засады то полиция, то партизаны. Кроме того, там бродили всякие вооруженные группы, которые боролись и с партизанами, и с немцами, как, например, польские легионеры. Было много просто вооруженных бандитов, которые только грабили и убивали. Население было запугано и, когда темнело, люди боялись выйти из дому. Я удивлял своих хозяев и односельчан тем, что ничего и никого не боялся. Не боялся не потому, что был такой смельчак, а потому, что после гетто, где на каждом шагу тебя поджидала смерть, где все жили в страхе, здесь для меня был рай. Бывало один уходил с лошадью в лес на всю ночь, чтобы пасти ее и прятать от грабителей. Когда надвигалась какая-нибудь опасность, я садился на лошадь и скакал ночью через лес в соседнюю деревню к родствен-

никам своих хозяев, где было относительно спокойно. Ночевал я до Рождества один на гумне в сене, а утром босиком по снегу возвращался домой.

Относились хозяева ко мне хорошо. Я, со своей стороны, старался вовсю. К хозяйству и ко всему, что было связано с ним, я относился как к своему. Это они видели и ценили. Антисемитизм у них был в основном бытовой. И относились они к евреям, как к чему-то инородному. До войны у них в деревне и в округе жило много евреев – кузнецов, портных и торговцев. Со многими из них они были в хороших отношениях. Но самое большее, на что они могли пойти – это не выдать еврея немцам или даже помочь ему уйти в лес. Прятать его у себя – это уж слишком. Они мне рассказывали, что в начале войны у них пряталась одна еврейка – их старая знакомая. Но через два дня старик препроводил ее в другую деревню, откуда было легче добраться до партизан. Дальнейшая судьба ее была неизвестна. Они полагали, что если бы она добралась до партизан, то иногда бы их навещала. Перед своим отъездом она оставила им почти все свое имущество. С особой ненавистью они относились к советским евреям, которых было немало в 39 году среди "освободителей". Когда с приходом немцев началось уничтожение евреев, одновременно началась охота за их имуществом. После погромов специально ездили в Клецк из деревень, чтобы кое-чем поживиться. После войны я приезжал к Карсюкам и поддерживал с ними дружеские отношения до самого моего отъезда. Когда я им сказал, кто я, они были ошеломлены, но их отношение ко мне не изменилось. Хотя они мне говорили, что если бы тогда они узнали, что я еврей, они все равно оставили бы меня у себя, но думаю, что они постарались бы избавиться от меня, так же, как и от той еврейки, которая жила у них два дня. Семья эта вызывает у меня самые теплые воспоминания и дружеские чувства. Уже после войны Иван как-то сказал мне, задумавшись: "Когда в 39 году пришли Советы, то они говорили, вот, мол, из-за панов вы и жили так плохо. Пришли немцы и говорили, что, мол, из-за жидов вы жили так плохо, ну а теперь вот нет ни жидов, ни панов, а жить еще хуже".

Встреча с партизанами

Хотя в деревне было относительно неплохо, но, разумеется, целью моей оставалось узнать, где находятся партизаны, и как добраться до них. Для этого я и ушел из гетто. У меня еще тогда было о партизанах самое розовое представление, хотя часто, когда у односельчан заходил о них разговор, я слышал их реплики. Партизаны, мол, тоже жидов не любят. Приводили примеры. Но мне тогда казалось, что это просто какое-то недоразумение.

Через две деревни от нас находилась деревня под названием Чаша, там жила одна из дочерей хозяина. Деревня эта находилась недалеко от партизанского района, и туда часто проникали партизаны. Я искал всякого предлога, чтобы меня туда отправили на некоторое время: отвезти что-нибудь, помочь дочери по хозяйству. Но первое знакомство с партизанами у меня произошло в лесу. В один из дней ранней осени я пас коров недалеко от нашей деревни. Я сидел на обочине дороги, проходящей через гущу леса и плел ковш для картошки. И вдруг, о Боже, вижу – партизаны. По дороге передо мной идет колонна настоящих партизан. Впереди на лошади в желтой кожанке, в портупее, с красной ленточкой на папахе, ну прямо как на картинке едет командир, а за ним длинная вереница партизан, одетых и вооруженных по-разному. Винтовки они носили стволом к земле. Чувства мои трудно описать. Я бросил коров и со слезами радости бросился к ним. Но командир, увидев меня, сказал что-то рядом идущему, очевидно адъютанту, и тот, схватив меня за руку, отвел в колонну. Меня окружили, и со всех сторон посыпались вопросы – кто я и откуда. Я говорю открыто, ведь здесь уже бояться некого: "Я еврей из Минска. Мои родители погибли в гетто, я все время стремился к вам, к партизанам. Наконец-то моя мечта сбылась". Но тут я увидел у многих окруживших меня иронические улыбки на лицах, смешок, а затем посыпались реплики, такие с нарочитым еврейским акцентом, нараспев: "А сто ты зде-е-есть бу-у-у-дешь делать в пагтизанах? Стелеть? Но ведь у нас нет кгивого гузья!"

А другой спрашивает: "А кто были твои мама и папа? Навечно в магазине тогова-а-али?" И дальше: "А тебя

случайно немцы не заслали к нам шпионить? Лучше скажи сразу, а то мы тебе еще одно обрезание сделаем!” и тому подобное. И все это сопровождалось всеобщим гоготом. Я был в каком-то шоке. Я не верил своим ушам. Я подумал, что попал к переодетым полицаям. Мне рассказывали, что иногда полицаи переодевались партизанами, чтобы спровоцировать и выявить всех, кто им симпатизирует, а потом с ними расправиться. Так мы прошли несколько километров. Я еще пытался просить отвести меня к командиру и оставить у них. Просился пойти с ними на самое опасное задание, но кроме насмешек и издевок в ответ я ничего не услышал. Затем командир опять позвал своего адъютанта и сказал ему что-то. Он отвел меня в сторону от колонны и приказал: “Ложись лицом к земле!” Я лег. Затем он говорит: “Считай до ста, если поднимешь голову, то сразу получишь пулю в затылок”. Я начал считать и слышал удаляющиеся шаги. Когда шаги затихли, я поднялся. Партизанской колонны уже и след простыл. Я мог в то время ожидать чего угодно, но такая встреча с красными партизанами меня совершенно ошаршила. Делать было нечего, я пошел собирать своих коров, которые разбрелись по лесу. Но все-таки я еще не терял надежды, что встречу настоящих партизан, которые возьмут меня к себе. Позже мне удавалось бывать под различными предлогами в деревне Чаша, но и там меня партизаны допрашивали и настаивали на том, что меня заслали немцы. Разумеется, если бы они сами в это верили, то расправа была бы короткой. Они просто издевались надо мной. Через некоторое время один из партизан, по моему, замаскированный еврей, наедине сказал мне, чтобы я лучше поскорее убирался из этого района, так как все равно рано или поздно кто-нибудь из особо рьяных антисемитов расправится со мной. Мне пришлось вернуться опять в Дрбовщину.

Если бы я тогда не был столь наивен и скрыл свое происхождение, то меня взяли бы в партизаны, и отношение ко мне было бы совершенно иным. В дальнейшем, уже после войны, при встрече со многими партизанами-евреями я узнавал новые факты о том, как сильно процветал антисемитизм в партизанских отрядах.

При всем терроре, царившем на оккупированных немца-

ми территориях, положение евреев в гетто не идет ни в какое сравнение с положением неевреев. Последние могли свободно передвигаться по всей территории, ездить в деревню и в другие города. Материальное положение их было несравненно лучше. И, главное, они не были окружены глухой стеной ненависти. В конце концов, их не убивали только потому, что они русские, украинцы, белорусы. В партизаны их брали даже, если они прежде служили в немецкой полиции. Все это им тогда прощалось. Евреи же находились в атмосфере дикой вражды и животной ненависти не только со стороны немцев, но и со стороны своих вчерашних соседей, бывших сотрудников и друзей. И это было самое ужасное. Когда нас из гетто вели на работу через арийский район, то почти всегда идущие по тротуару так называемые арийцы нам вслед кричали: "А, жили 20 лет на нашей шее, пили нашу кровь? Теперь расплачивайтесь!" Или же, когда, бывало, еврей-интеллигенты рыли каналы, убирали улицы, то постоянно слышались насмешки, издевки над их неуклюжестью: "А, отсидели свои толстые зады в магазинах, привыкли, чтобы русский Иван работал на вас! А сейчас поработайте и вы! Кончилось ваше время!" и тому подобное.

Я видел ликующую толпу, когда евреев вели на расстрел. Я видел, как бывшие ученики, а нынешние полиция вытаскивали из колонны своих учителей-евреев и сводили счеты с ними за прошлые двойки. Помню, когда мы возвращались с работы в гетто, одна пожилая женщина, детский врач, узнала в толпе, стоявшей на тротуаре, своего бывшего пациента, которому она в свое время спасла жизнь, а потом лечила в течение всего его детства. Теперь же этот спасенный ребенок был в обличии полиция. Но она все-таки бросилась к нему в надежде, что у него осталось чувство благодарности и он сможет ей помочь. Благодарность его выразилась в том, что он швырнул ее на землю и стал топтать ногами, сопровождая это отборной антисемитской бранью. Затем он плюнул на лежащую на земле женщину. Мы же ее опять втащили в колонну и уже принесли на руках в гетто.

Если бы местное население было просто пассивно, то добрая половина евреев могла бы спастись. Ибо без активной помощи местных жителей немцы бы никогда не смогли

уничтожить такое огромное количество людей. Помогали немцам не только полиция и местная охрана или же другие организованные вооруженные отряды, старавшиеся перешеголять немцев в зверствах, но и основная масса населения: и простые крестьяне, и рабочие, и интеллигенция. Это было еще в 1941 году. Я вышел на верхнюю часть улицы, которая спускалась горой, и передо мной открылась картина. Мне виден был весь район, как со стороны гетто, так и арийская часть. Внизу улицу пересекала проволочная ограда гетто. У ограды немцы совместно с полицией проводили очередную облаву на евреев. Они окружили несколько домов и выгоняли оттуда всех жильцов, а затем загоняли их в тут же стоящие машины. Во время этой облавы нескольким еврейским мальчишкам удалось пролезть под проволоку на арийскую сторону, а там во дворах они попрятались в различных дворовых строениях — в уборных, мусорных ящиках, сарайчиках. И тогда все мы, стоявшие наверху и видевшую эту картину, были потрясены, как в этих дворах женщины и их дети выволакивали еврейских детей из их убежищ, ловили их, если они пытались удрать и тут же отдавали в руки немцам или полициям. И это был не единичный случай. Такое отношение населения к евреям было типично, лишь проявлялось оно по-разному.

Сейчас некоторые историки и писатели, иногда как будто ничего не присочиняя, искажают происходившее на территориях, оккупированных немцами. Они берут разные факты, положительные и отрицательные, и попросту количественно смещают их. Были, мол, отдельные отщепенцы, предатели, которые выдавали евреев, а в массе своей местное население всячески помогало евреям, даже рискуя своей жизнью. Это ложь. Отдельные случаи оказания помощи евреям они преподносят как типичное явление. А массовая ненависть к евреям, активная и пассивная помощь большинства местного населения немцам в уничтожении евреев выдается за отдельные случаи. Да, были случаи, когда русские, белорусы, украинцы, литовцы, поляки действительно спасали евреев, скрывая их. Но, к сожалению, это были лишь отдельные случаи, так же как и случаи, когда сами немцы спасали евреев. Например, один немец увез из минского гетто целую машину евреев в лес и сам ушел вместе с ними в партизаны.

Но это были лишь редчайшие исключения, а исключения, как известно, лишь подтверждают правило.

Уйти еврею в партизаны было не так-то просто. Нужно было выбраться из гетто, пройти город, итти по селам, по лесам, где не только рыскали немцы и полицаи, но и каждый встречный мог тебя выдать полиции. Не говоря о том, что трудно было достать документы, многих евреев выдавал их семитский профиль и еврейский акцент. Я, будучи мальчишкой, не был похож на еврея. Еврейского акцента у меня не было, так как я всегда разговаривал по-русски и учился в русской школе. И, когда я шел по городу вне гетто, предварительно сняв желтые латы, я не боялся встретиться с немецкими полицаями или с гестаповцами. Но видя русских полицаяв и других подозрительных местных типов, я всегда забегал в развалины домов, благо весь центр Минска был разрушен, или в подворотни. Русские мальчишки каким-то особым чутьем определяли, что я еврей, и сразу же начинали кричать: "Пан, пан, вон жид пошел, жид!" и гнались за мной с криками: "Держи жида!" Для них такая охота была развлечением.

Из такого враждебного окружения еврею было трудно пробраться к партизанам. Но самое ужасное начиналось, как это ни парадоксально, когда некоторые из них все-таки встречались с партизанами. Прежде всего, среди партизан усиленно распространялись слухи, что евреи кончают у немцев школы шпионажа и их направляют в партизаны для того, чтобы шпионить, а также отравлять колодцы и кухни. Об этом я много раз слышал даже после войны от русских партизан, которые с пеной у рта доказывали, что это действительно правда. Кроме того, у многих приходивших к партизанам евреев они требовали золото, считая, что у евреев золото — это нечто само собой разумеющееся. Или же давали еврею заведомо невыполнимое боевое задание с условием, что, только выполнив его, он докажет, что он не немецкий шпион. Например, давали пистолет, чтобы убить начальника полиции, или давали взрывчатку, чтобы взорвать мост, находящийся под усиленной охраной, — выполнить подобное задание могла лишь специальная группа подготовленных людей. А эти евреи безо всякой военной подготовки, а некоторые из них не умели даже пользоваться оружием,

шли на явную гибель, так как иного выхода у них не было. Известно много случаев, когда евреи уже начали создавать свои отряды, собирали оружие, но при первой же встрече с партизанскими отрядами их окружали, обезоруживали и под предлогом, что они засланы немцами как шпионы, расстреливали.

Несмотря на все мне еще тогда казалось, что антисемитизм партизан является чем-то случайным, нетипичным, а вот, когда придут наши, то тогда уже будет совершенно иначе.

Освобождение от немцев

Однажды поздно вечером хозяин вызвал меня во двор и предложил приложить ухо к земле. Я лег на землю и услышал далекий гул канонады. "Ты чувствуешь, Толя, это колхоз идет", — сказал мне хозяин. Разумеется, радости моей не было предела. Я считал уже себя спасенным. В связи с приближением Советов у моего хозяина и у большинства крестьян были смешанные чувства. С одной стороны, они не любили немцев как инородцев, хотели, чтобы поскорее окончилась война, так как у некоторых из них были сыновья и в советской армии, и в немецкой армии. У некоторых из них сыновей и дочерей увезли в Германию на работу. Кроме того, они мечтали, чтобы скорее окончилась эта партизанщина, так как больше всех страдали от нее они. У них забирали коров, свиней, лошадей и другое имущество. С другой стороны, советский режим у них ассоциировался с колхозом, что также означало лишение их почти всего недвижимого имущества, а для них их земля, пастбища, скот были главным в жизни. Дня через два с крыши дома я уже видел движущиеся колонны советских войск, окутанные клубами пыли. Все крестьяне, захватив необходимые вещи и скот, спрятались в лесу. Боев, кроме воздушных, в нашем районе не было. Немцы ушли бесшумно, а советские войска продвигались быстро. Вскоре они заполнили всю нашу деревню. Мне казалось, что я родился заново. От радости я порвал свои русские документы на имя Степанова. "Ведь теперь они уже мне не нужны, не от кого

скрывать, что я еврей”, — думал я. Я объявил хозяину, что уезжаю в Минск искать родных. И действительно, одна из моих тетушек — сестра матери — успела эвакуироваться. Меня проводили тепло. Сшили новый самотканый костюм, дали торбу с хлебом и салом, и хозяин отвез меня на телеге к шоссе. Всего я в деревне прожил год и три месяца.

В Минске никого из родственников у меня не осталось. Я решил пойти в армию. Я пришел в областной военкомат. Выглядел я совсем мальчишкой — худой, в крестьянской одежде, босиком. Это было лето 1944 года. Советские войска продвигались победоносным маршем на Запад. В тот год призывали молодежь 1926 года рождения. Один из работников военкомата меня спросил: “Что пришел, чего хочешь”, я сказал, что хочу в армию. “Какого года рождения?” Я ответил — 1928. Тогда он сказал мне: “Ну, тебе еще рановато в армию. Пойди к мамке своей, поешь блинов, подкормись, а потом возьмем”. Помню, мне стало страшно обидно. Комок подкатил к горлу, и я заплакал. Я уже не помнил того времени, когда плакал. Это было впервые за всю войну, как-то прорвало меня, и я не смог ему объяснить, что мне некуда и не к кому идти откармливаться. Я ушел. По дороге я увидел объявление о приеме в ремесленное училище, которое обеспечивало питанием и общежитием. Это было единственное место, куда я мог пойти, так как это мне давало хоть какой-то прожиточный минимум. Ученики были разные — и из города, и из деревни, но у большинства из них были родственники, и каждое воскресенье они уезжали домой и привозили мешки с хлебом, салом и другими продуктами. Питание в столовой училища поддерживало силы, хотя мы и не наедались. Практические занятия проводились на танкоремонтном заводе им. Ворошилова. Туда прямо с фронта привозили подбитые танки и самоходные орудия. Мы, мальчишки, часто лазили в танки — внутри были следы запекшейся крови. В танках я добывал радиодетали, которые приносил своему приятелю радиолюбителю; он из них собирал приемники. В то время иметь радиоприемник запрещалось. И тогда я впервые услышал голос свободного радио.

ПЕРВЫЙ СРОК

Два года свободы

В ремесленном училище была атмосфера довольно открытого антисемитизма, проявляемого как учениками, так и учителями. Учителя, в основном с "Медалью партизана", позволяли себе особенно много. (В противоположность им те, кто жил и работал на оккупированной территории и боялся, что его обвинят в сотрудничестве с немцами, сдерживали себя и даже иногда прикидывались друзьями евреев). Я открыто высказывал учителям и ученикам свое возмущение этими проявлениями. Но и тогда я еще наивно полагал, что все это лишь влияние войны и немецкой пропаганды. Мне часто приходилось вступать в драку с антисемитами. Как и в довоенный период, желание быть сильным и здоровым толкнуло меня пойти тренироваться в спортивную секцию бокса. Мне тогда уже было ясно, что антисемиты понимают лишь язык силы, язык кулака. Я учился в ремесленном училище, занимался спортом и одновременно пошел учиться в вечернюю школу, чтобы получить аттестат зрелости. По окончании ремесленного училища меня определили в группу, которую собирались послать в город Ростов в специальный техникум, который относился к тому же министерству трудовых резервов. Но очередная стычка с антисемитом изменила всю мою дальнейшую судьбу. Один из учеников, сын подпольщика, после очередного антисемитского выпада был мною жестоко избит. Меня отвели к заместителю директора училища, тоже бывшему партизану, который тряс перед моим носом огромным кулаком и рычал: "У – у морда" – с трудом удерживаясь от слова "жидовская". Под конец он заявил: "Пойдешь работать, пойдешь на свой хлеб. Вы только и стремитесь учиться, чтобы потом стать начальниками и командовать людьми". И меня исключили из списка кандидатов, в котором я, кстати, был единственным евреем. Меня отправили работать на тот завод, где мы проходили практику. Через некоторое время меня вызвал замдиректора завода по политчасти и предупредил, что если я буду заниматься и в дальнейшем националистической пропагандой, то это для меня плохо кончится.

Моя так называемая националистическая пропаганда тогда выражалась лишь в моих отповедях антисемитам. Никаких познаний в еврействе у меня совершенно не было. Особо злобствовал и постоянно провоцировал меня комсорг цеха. Я старался сдерживаться, но время от времени меня прорывало.

В это время меня от секции бокса направили на Всесоюзный парад физкультурников. Парады проводились с большой помпезностью, на них всегда присутствовал Сталин и все правительство. Парады являлись классическим примером советской показухи. На них отпускались колоссальные средства, содержались десятки тысяч спортсменов. На Красной площади или на стадионе Динамо в Москве расстилался огромный ковер для спортивных выступлений. Генеральные репетиции проводились ночью на Красной площади. В Кремле всю ночь горел свет, и мы всматривались в окна, стараясь увидеть человека с усами. В выступлениях принимали участие лучшие гимнасты страны. Для них было заказано дорогостоящее спортивное оборудование. Но перед выступлением кому-то показалось, что Сталину будет утомительно долго стоять, тогда решили программу сократить. И дорогостоящее оборудование превратилось в железный лом, а многомесячная подготовка гимнастов, которых откармливали американской тушенкой и шоколадом, пошла насмарку. Все это происходило в послевоенные годы, когда страна лежала в развалинах, не было жилья, а продукты выдавались по карточкам.

Перед отъездом я пошел к директору завода просить разрешение поехать на парад физкультурников, а после парада поступить учиться. Он меня приветливо принял, дал разрешение и пожелал успеха в выступлениях и учебе. И я уехал в специальный лагерь, где проводилась подготовка к параду. Там я познакомился со студентами Института физкультуры, и они уговорили меня поступить в их институт. После парада я сдал вступительные экзамены и был принят в институт. Я тогда, разумеется, не знал, что это был лишь хороший предлог для руководства завода избавиться от меня. Да еще каким путем! В то время, когда директор завода благословлял меня на успехи, начальник отдела кадров оформлял на меня дело в суд за уход с военного

производства. Я тогда даже не знал, что еще действовал закон военного времени об уходе с военного производства от 12 декабря 1941 г., по которому давали от 5 до 8 лет. И не знал, конечно, ничего о порядке оформления ухода с завода, полагая, что если директор завода дал мне разрешение, то все формальности выполнит отдел кадров. Он это и сделал.

Арест

14 ноября 1946 года во время лекции по анатомии в аудиторию вошла секретарь деканата и вызвала меня к декану. Я вышел, оставив свой портфель и шапку, полагая, что сейчас вернусь. В аудитории сидели все в пальто, так как помещение в то время не отапливалось. Лекции конспектировали в перчатках. Когда я вошел в деканат, меня встретили двое мужчин, одетых в гражданское, и сказали, что мне необходимо пройти с ними в милицию, чтобы выяснить вопрос о моей прописке. Я, понятно, что-то заподозрил в таком необычном приглашении, но еще не предполагал, чем это может кончиться. Выходя из помещения, один из них демонстративно вытащил револьвер из кобуры под пальто и переложил его в карман, чтобы я видел, что он вооружен, и не пытался бежать. В милиции меня заперли в камеру с какими-то уголовниками, но я не успел с ними познакомиться, как меня вызвали, посадили в специальную машину и отвезли в прокуратуру. Прокурор района, фамилию которого я уже не помню, обрушился на меня с грубейшей бранью, насыщенной антисемитскими выпадами. Мол, воевать вы не хотите, работать не хотите, а живете лишь паразитами на теле русского народа, и тому подобное. Там же следователь снял с меня допрос, который длился всего полчаса. Я ему объяснил все как было, что меня отпустил директор завода, что я хотел учиться и т. д. Он как будто записал все, как я ему говорил. Весь протокол занял полторы страницы, но расписаться он мне велел в конце листа, оставив чистой полстраницы. Тогда я еще не знал, что это один из многочисленных способов состряпать дело. В дальнейшем на суде я узнал, что он написал на оставшемся

чистом месте, что я националистически настроен и враждебно отношусь к советскому строю. Из прокуратуры меня отвели в городскую тюрьму. Все это было сделано за полдня. Это было в 1946 году. Тогда Россия кишела уголовными преступниками, процветало воровство, грабеж, бандитизм, и тюрьмы были битком набиты уголовниками. Кроме того, в первые послевоенные годы производились массовые аресты всех, кто в той или иной форме сотрудничал с немецкими оккупантами. Ловили полицейев, власовцев, бургомистров, старост и прочих. Естественно, прокуратура и суд были завалены делами. И все они оформлялись скоростными методами, без попытки вникнуть в суть дела. Первые шесть дней, то есть до суда, я находился в подвале тюрьмы в карантинной камере. Камера эта была метров 15. На полу, плотно прижавшись друг к другу, лежали люди разного возраста, разных сословий, разных национальностей. Попадали сюда как за действительные, так и за мнимые преступления. Было ужасно холодно и сыро. Пол был цементный. Кормили какой-то баландой из капустных очистков, иногда попадались отдельные картофелины, совершенно неочищенные и полугнилые. Поглощение этой баланды сопровождалось громким скрипом зубов, так как в ней было полно песка от невытой картошки. Но голод заставлял не замечать этих мелочей.

20 ноября меня вызвали из камеры и в сопровождении двух охранников повели в суд, который находился в двух кварталах от тюрьмы. Судил меня военный трибунал, так как завод был военный, и судили по указу военного времени, хотя после окончания войны прошло уже полтора года. В трибунале было полно арестантов. Во всех комнатах и коридорах стояли действительные и мнимые преступники под усиленной охраной, а на улице и во дворе толпились их родственники, пытаясь передать им что-нибудь. Трибунал работал, как конвейер. Это была чудовищная фабрика производства дешевой рабочей силы для концлагерей, которыми была усеяна вся Советская Россия. За пайку хлеба и черпак баланды строили города, валили лес, добывали уголь, рыли каналы. Судила "тройка", ни прокурора, ни адвоката не было. Когда подошла моя очередь,

меня втолкнули в маленькую комнатку. В ней за столом сидел офицер, по обе стороны от него два солдата — заседатели. Скамьей подсудимых для меня служил стоящий на полу низкий несгораемый шкаф. Быстро выяснили анкетные данные для заполнения протокола, и офицер начал допрашивать, как и почему я ушел с завода. Я ему повторил то, что говорил следователю — что меня отпустил директор завода, что я хотел учиться и что никакого преступления не совершал и не понимаю, почему меня держат и судят вместе с убийцами, фашистами и предателями. Он тогда мне ответил, что еврейские националисты и немецкие фашисты — это то же самое и что суд разберется. После окончания допроса вся тройка вместе с секретарем ушла на совещание. Оно продолжалось не более 20 минут. За мной еще была огромная очередь и с более серьезными делами. Читая описательную часть приговора, председатель суда сказал, что я, будучи националистически настроен и имея нездоровый взгляд на советский строй, разлагающе влиял на окружающую молодежь, а потом сознательно дезертировал с военного производства, и что суд определяет мне меру наказания в соответствии с указом военного времени от 12 декабря 1941 года. В дальнейшем к моей радости последовало "но" — но учитывая, что он остался круглой сиротой, что все его родные погибли от рук немецких оккупантов, сам он был узником минского гетто, учитывая, что он, уйдя с завода, не пошел воровать и спекулировать, а пошел учиться, что, хотя и судят меня по указу военного времени, но война уже победоносно окончена... После этого "но" я уже настроился на то, что суд ограничится внушением или же даст мне срок условно, и меня отпустят домой.

Судья продолжал. Учитывая все эти обстоятельства, суд считает возможным ограничиться минимальным сроком наказания и приговаривает меня к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовых лагерях. Услышав это "смягченное" решение суда, я так и остался стоять как вкопанный. Но охранники быстро привели меня в чувство и вывели в коридор, а оттуда обратно в тюрьму. По дороге они смеялись и успокаивали меня, что это ведь детский срок: пройдет зима — лето, зима — лето, и я буду дома. Понятно, что после массовых

приговоров по 25 лет каторжных работ это казалось им детским сроком. Но те хоть знали, за что сидят. "Мы хоть крови жидовской попили, поехали по всей Европе, наслаждались женщинами и лучшими винами, а вы-то за что сидите?" — говорили они, обращаясь к той части заключенных, которые и сами не знали, за что сидят, которые сидели по состряпанным делам или же по ложным доносам. Из суда меня завели в камеру осужденных. Хотя я уже отсидел шесть дней в камере подследственных и немного представлял себе, что такое тюрьма, но то, что я увидел, ужаснуло меня. В относительно небольшой камере было около 100 человек. Вокруг стен были сплошные нары, но мест хватало лишь для половины, остальные же лежали на полу и под нарами. Все проходы были заняты лежащими вплоть до самой параша. Хотя оконные рамы были сняты, стояла вонь и духота. Стоял пар, как в бане. Лица у всех были пепельного цвета. Я примостился где-то в уголке на полу, сыром и ужасно грязном. Я начал присматриваться, прислушиваться, изучать обстановку.

Большинство заключенных сидели за растраты или уход с работы, было много солдат, которым за возвращение из увольнительной с опозданием давали статью "дезертирство". Наиболее колоритными в камере были уголовники-рецидивисты. Их было всего человек пять—шесть, но они держали в своих руках всю камеру. Когда кто-нибудь получал передачу, то по существующему в камере закону он обязан был вначале отнести ее этим уголовникам, которые занимали самые комфортабельные, если можно применить это понятие к камере, углы и отбирали себе лучшие продукты, а оставшуюся часть отдавали заключенному. После этого никто уже не имел права посягать на остатки его передачи. Все заключенные свыклись с этим положением и уплачивали долг натурой беспрекословно. Если же кто-нибудь пытался утаить что-либо из передачи, прежде чем отнести ее уголовникам, его избивали самым жестоким образом досками, вырванными из нар, и сапогами. Это делалось на виду у всех и, естественно, такая экзекуция отбивала охоту даже помышлять о неподчинении. У этих уголовников были свои законы, по которым они жили сами, и навязывали, где только могли, другим. Они говорили:

”Тюрьма наш дом родной, а вас она 20 лет ждала, и вы обязаны подчиняться существующим законам, если хотите жить”. Позже, в других местах, в пересылках, например, где заключенные не получали передач и посылок, уголовники в качестве налога взимали довески. Каждое утро в камеру приносили пайки хлеба; сырой и тяжелый, как кирпич, хлеб взвешивался в хлеборезке, и все довески хлеба прикалывались к основному куску деревянной палочкой. Так вот эти-то довески надо было отдавать уголовникам, а так как в камере было по меньшей мере сто человек, то у них каждое утро собиралась гора хлеба, и они, конечно, не голодали. Кроме того, они могли еще подкармливать своих ”шестерок”. ”Шестерками” называли заключенных, морально совершенно опустившихся, которые обслуживали этих уголовников: подносили им пищу, стирали для них, выполняли все их требования и прихоти. За это они получали объедки с ”барского” стола. Весь день уголовники играли в карты, которые сами искусно делали, пели тюремные песни — у некоторых из них были прекрасные голоса — или кто-нибудь из них рассказывал ”рóман” — были среди них и великолепные рассказчики. Все они были хорошо одеты, так как все, что было приличного из одежды у заключенных, переходило к ним.

Ежедневно нас водили на прогулку по полчаса. Во дворе тюрьмы были маленькие дворики-камеры. По углам этих колодцев на вышках стояли охранники, наблюдая, чтобы заключенные из разных камер не переговаривались между собой и ничего не бросали. Полчаса мы кружили по этим дворикам, после чего нас возвращали обратно в закрытые камеры тюрьмы. Кормили нас той же баландой из гнилой капусты и неочищенного картофеля.

В Минске у меня была тетя, которая во время войны спаслась, успев эвакуироваться в Узбекистан. Узнав, что я сижу в тюрьме, она время от времени приносила мне скромные передачи: хлеб, отварную фасоль, одну—две луковицы и немного сахара. Когда я впервые получил от нее записку о том, что она принесла мне передачу, я решил сломать существующий порядок и не относить ее ”хозяевам” камеры. Возле меня лежал бывший майор милиции, еврей, который получил 3 года за потерю оружия. Он

прекрасно знал все тюремные законы и мир преступников. Уголовники, конечно, не знали, кем он был в прошлом — бывшим работникам милиции и суда в тюрьмах житья не было. Я поделился с ним своим планом, и он меня поддержал. В свою очередь он начал подготавливать солдат для совместных действий. Происходящее в камере наглядно показало разницу между небольшой организованной группой людей и массой людей разрозненных. В камере было очень много здоровых молодых людей, солдат и офицеров, но их ничего не связывало между собой, каждый думал лишь о себе и не хотел рисковать из-за кого-то. Только поэтому небольшая кучка уголовников могла терроризировать людей, которых было раз в двадцать больше их. Солдаты, хотя им и не приносили передач, тоже много терпели от уголовников — за малейшую "провинность" их жестоко избивали. И это несмотря на то, что в эти первые послевоенные годы к солдатам все относились с уважением. Но у уголовников был совершенно иной мир, иная мораль, иные законы.

И вот, когда впервые меня подозвали через кормушку для получения передачи, все обратили на это внимание, так как до этого я передач не получал. Получив передачу, я демонстративно направился в свой угол. У всех от удивления раскрылись рты. Некоторые были поражены моей "наглостью", а некоторые моим "невежеством". Отдельные доброжелатели начали мне подсказывать: "Отнеси вора сначала, ты что, порядка не знаешь? Хочешь, чтобы тебя калеккой сделали?" Уголовники подняли головы от карт, стараясь понять, что происходит. Один из них, который все видел, медленно поднялся и начал отрывать доску от нар, при этом рыча: "Ты что, фрайер, жить надоело? Сейчас ты получишь воровскую передачу, от которой тебе и жить не захочется!" Все это сдабривалось цветистой бранью, художественно довольно сложной. Но тут на нары вскочил майор и закричал: "Солдаты, за это ли вы воевали, чтоб сейчас над вами издевалась эта свора!" Это был сигнал к началу. И все, с кем мы договорились, а их было человек 15, схватили доски от нар, сапоги, крышку от параша и начали с таким остервенением колотить уголовников, что те в одно мгновение оказались избитыми, изувеченными и уползли в

дальние углы под нары. Но их оттуда выволакивали и продолжали избивать. Когда они уже были совершенно повержены, включились и другие — стали топтать их ногами.

Больше всего я питал ненависть к одному поляку, который отсидел срок за бандитизм, а сейчас сидел за попытку перейти польскую границу. Ко всему он был ярим антисемитом и отличался цинизмом и жестокостью. Все, что накопилось во мне, весь гнев и ненависть я обрушил на его большую круглую голову, а когда он уже лежал, то кто-то еще ударил его доской по голове. Он и остался так лежать недвижимым. В это время за дверью послышался шум, прибежало тюремное начальство и начали растаскивать кого куда. Уголовников перевели в карцеры и больницы, и наша камера ожила. Начальство знало о существующем камерном бандитизме, но смотрело на это сквозь пальцы. Однако после происшедшего оно вынуждено было принять некоторые меры, а наша жизнь повисла на волоске. У уголовников была великолепно налажена связь друг с другом, где бы они ни находились. Конечно, были переданы наши фамилии и другие данные — за нами началась охота. Уголовникам убить человека ничего не стоило, делали они это очень спокойно и профессионально. У всех у них было по многу статей и за воровство, и за бандитизм, и за убийство, так что они ничего не теряли. Срок у них был максимальный, им лишь добавляли еще одну статью, срок которой поглощался предыдущими статьями. Это парадоксально, но советская власть вдруг проявила удивительную гуманность и отменила смертную казнь именно в первые послевоенные годы, когда в стране свирепствовали разбой и бандитизм, когда ловили массами полицаев, гестаповцев, на счету у которых были сотни тысяч убитых людей. Всем им выносили смертный приговор, и тут же добавлялось, что на основании вышедшего указа смертная казнь заменяется двадцатью пятью годами заключения в лагерях строгого режима. Одна из причин этого "гуманизма" заключалась в том, что страна остро нуждалась в дешевой рабочей силе для работы в самых тяжелых условиях, а добровольцев было очень мало.

Вскоре нас вызвали на очередной этап. В этот этап из участников расправы попали я и несколько солдат. Нас

вывели в специальное помещение, и там передали конвою. По инструкции конвой должен был произвести тщательный шмон. Нас раздевали догола, всю одежду тщательно осматривали, прощупывали все швы и уголки. Если что-то казалось им подозрительным, они отрывали подошву от ботинок, каблуки, распарывали зимние шапки. Задавался один и тот же вопрос: "Колющих и режущих инструментов нет?" Затем переходили к осмотру посиневших от холода заключенных, которые стояли голые на цементном полу, ожидая, пока осмотрят их вещи. Заглядывали во все места, куда можно было спрятать деньги или гвоздь. Тщательно осматривали полость рта, заставляли становиться спиной и наклоняться до предела вперед — вдруг и там что-нибудь спрятано. Надо было поднимать стопы ног — может быть, к ним что-нибудь приклеено. После всех этих унижительных процедур нам разрешали одеваться, а затем загоняли в другое помещение. Чтобы кто-нибудь не вздумал поехать на этап вместо другого, конвоир называл только фамилию, а заключенному надо было назвать все остальное — имя, отчество, год и место рождения, статью, срок. Такой порядок существует и в тюрьмах, и в лагерях. Когда окончился отбор, нас построили по пятеркам и еще раз пересчитали. После этого началась погрузка в "черные вороны". Машина внутри была разбита на маленькие боксикки, куда рослому мужчине с трудом удавалось втиснуться, и сидел он там, сложившись так, что колени почти упирались в подбородок. Летом, в жару, некоторые не выдерживали такой пытки и теряли сознание. Но была зима, ехать было недалеко, и все благополучно прибыли на станцию, где было отведено специальное место для заключенных.

Нас загнали в "стольпинские" вагоны. В каждое 4-х местное купе — по 15—18 человек, так что спать можно было лишь сидя. В купе было маленькое, зарешеченное окошечко с матовым стеклом, через которое проникал свет, но увидеть ничего нельзя было. Отодвигающаяся решетка служила дверью. По коридору прохаживались часовые. Самое мучительное в стольпинских вагонах было то, что нас водили на opravку только два раза в сутки — утром и вечером. И было редким исключением, когда удавалось уговорить охрану разрешить дополнительное пользование туалетом. Как пра-

вило, заключенный, который страдал желудком, мог корчиться от боли, умолять и плакать, но часовой невозмутимо на это твердил: "Не положено". И все. (Издевались над нами и заставляли мучиться жаждой.) Почти всегда на этих этапах сухой паек состоял из хлеба и ржавой селедки. После того, как поешь этой пересоленной селедки, наступала мучительная жажда, а в воде-то ограничивали, давали по баночке. И часовой так же, как и при просьбах в туалет, на мольбы заключенных дать еще водички отвечал: "Не положено". Не помню уже, сколько мы тогда ехали. Поезда в послевоенное время шли очень медленно. Останавливались на всех полустанках. Кроме того, дороги были занесены снегом, а работающие там женщины не успевали очищать путь. Наконец-то мы прибыли на станцию Орша. Было известно, что в Орше находится большая пересылка.

Пересылка — это место, где собирали заключенных из всех ближайших тюрем, и туда приезжал покупатель рабсилы из какого-нибудь концлагеря и формировал этап. Этапы эти были огромные, формировали целый состав и уже не из столыпинских вагонов, а из пульмановских. В пульмановских вагонах были свои преимущества и свои недостатки. Легче было потому, что там прямо в центре вагона было сделано отверстие, которое называлось "туалетом", и заключенные не зависели от доброй воли часового. Но хуже было потому, что люди замерзали — ехали зимой, в Сибирь, и единственная железная печурка не помогала. Стоишь, бывало, около нее, спереди жарись, а сзади замерзаешь.

Оршанская пересылка состояла из множества одинаковых корпусов, которые битком были набиты заключенными. Как всегда, мы прежде всего прошли через шмон, потом нас повели в баню. Все наши вещи были сданы в прожарку, в которой убивалось все живое, находящееся в одежде и белье. Затем нас пропустили через строй парикмахеров: один из них стриг волосы на голове, другой брил бороду, третий брил лобок. Бритвы были тупые, приходилось сжимать зубы от боли. Все это происходило в холодной раздевалке, очереди были огромные, и когда подходила очередь, то заключенные были уже синими от холода. Всем давали по маленькому кубику мыла. Мытье также происходило скоростным методом. Едва только успе-

есть намылиться, как присутствующий здесь же надзиратель уже подгонял, приговаривая: "Быстрее, быстрее, давайте кончайте, там еще много таких ждут. До утра не успеем всех пропустить. Нечего нежиться, это вам не дома". После бани нас развели по камерам. Камеры, как и вся пересылка, были огромные. В той, в которой я находился первое время, было более трехсот человек. Никаких нар вообще не было, так как это считалось местом временного пребывания, хотя люди там жили помногу месяцев. Весь день приходилось стоять или сидеть на корточках. Ночью ложились по команде: "По рядам и валетом!" Наши ноги лежали на животе друг у друга, головы на плече друг у друга. Примерно через каждый час следовала команда, по которой все поворачивались набок, потом на другой бок — так проходила ночь. В основном контингент заключенных состоял из бывших полицаев, гестаповцев и власовцев. Большинство из них получили по 25 лет каторжных работ. Второе место занимали уголовники. Матерые рецидивисты, потерявшие всякий человеческий облик, хозяйничали по всей пересылке. Их перебрасывали из камеры в камеру за добычей, а потом они собирались вместе и пировали. В одной из камер кто-то из них наткнулся на одного солдата — участника их разгрома в Минской тюрьме. Солдат был зверски избит, и только вошедшие в камеру надзиратели спасли его от смерти. После этого начальник режима, для которого частые внутритюремные убийства были не очень приятны, поместил всех нас — участников расправы с бандитами — в маленькую каморку.

Нас было пять человек, каморка была размером три на два метра. Все лежали на полу. В углу стояла параша. Кормили нас три раза в день. Завтрак — пайка хлеба на весь день и кипяток, обед — черпак баланды, на ужин тоже черпак баланды. Так как наша каморка находилась где-то в углу одного из дальних корпусов, а пищу начинали разносить с разных концов пересылки — завтрак с нашей стороны, а обед — с другой — то выходило так, что мы получали завтрак часов в пять утра, обед часов в одиннадцать вечера, а ужин доходил до нас где-то в два ночи. Заключенные, работающие по разносу пищи, не могли справиться со своевременной ее доставкой многим тысячам арестованных.

Пока ее доносили до "едока", она совсем остывала. Разумеется, мы были постоянно голодны, никто из нас никаких передач и посылок не получал. Весь день лежали на своих подстилках и лишь поочередно один из нас мог прохаживаться по каморке, делая по три шага в каждую сторону. За три месяца пребывания в этой каморке нас ни разу не выводили на прогулку. Наше маленькое окошечко выходило в коридор. Внутри круглые сутки коптила коптилка, иначе надзирателю не было бы видно через глазок, чем мы занимаемся. Так что все мы были совершенно лишены свежего воздуха и света. Когда к концу третьего месяца нас впервые вывели в баню через двор, то все мы закричали от сильной рези в глазах. Пришлось с закрытыми глазами вернуться в помещение и постепенно привыкать к свету. Это было зимой, и белый снег еще более усиливал яркость. За три месяца такого режима мы были совершенно истощены, озлоблены, друг другу надоели. Темы для разговоров были исчерпаны. Все уже знали в подробностях биографию друг друга. Голодные и злые, мы постоянно грызлись друг с другом, а мне, как еврею, приходилось еще отражать и антисемитские выпады. Почти всегда это кончалось дракой, а потом, обессиленные, мы опять ложились вместе на пол. Вскоре нас повели на осмотр к врачу. Это делалось перед этапом для комплектования рабочих бригад.

Тюремные врачи считали истощенным заключенного тогда, когда у него уже отчетливо торчали кости и на ягодицах. Я, слава Богу, подходил уже под эту категорию, и меня перед этапом отправили на неделю в "слабиловку", — камеру для истощенных. В этой камере заключенным давали "усиленный" паек, что выражалось в дополнительных 100 граммах хлеба, вечером давали ложку каши, да еще 15 граммов сахара — одну спичечную коробочку на двоих. Откормиться я еще не успел, мясо еще неросло, а меня уже вызвали на этап. Этап готовился большой, несколько тысяч человек. Опять обычные процедуры — обыск, проверка — и нас небольшими партиями отправили на товарную станцию, где уже ждал состав из пульманов. Вагон был битком набит заключенными, и каждый старался захватить место получше, т. е. поближе к железной печурке. Я разместился где-то на полу посередине вагона. И ночью поезд

отправился, увозя многотысячную дешевую рабочую силу на одну из строек сталинских пятилеток. Назавтра утром с грохотом растворили двери, и нам принесли хлеб и кипяток. В обед принесли ржаную затирку, и мы заметили, что она была горькой на вкус и пахла смолой. Оказывается, в баланду при варке клали хвойные иглы, чтобы мы получали витамин С — профилактика от цинги. Рабочая сила должна быть здоровой.

Ехали мы недели две. Время было послевоенное. Поезда шли нерегулярно. Сутками мы простаивали на полустанках, и нам казалось, что мы едем целую вечность. Жизнь в вагоне была однообразной. Днем всегда царил полумрак. Ежедневно те же проверки-переключки. Ежедневно прощупывали и простукивали вагон (не пытались ли мы его сломать). Ежедневно та же пища, те же голоса. Нарушали однообразие только стычки между заключенными.

На Яе

Однажды, после того, как мы простояли более суток на одном месте, двери вагона неожиданно раскрылись, и нас начали выгружать на каком-то полустанке. Была ранняя весна. Кругом стояла непроходимая грязь, и лишь в отдельных местах были остатки почерневшего снега. Охрана была усиленная и, как всегда, с большим количеством немецких овчарок. На какой-то площади, окруженной войсками МВД, мы начали снова проходить всю приемопередаточную процедуру. Хотя разного рода служащих была уйма, все это заняло много часов, и мы стояли голодные, замерзшие, ожидая своей очереди. Когда уже начали спускаться сумерки, нас, наконец, повезли на специально оборудованных грузовых машинах к лагерю. По дороге мы узнали, что находимся где-то в Сибири. В лагере вся процедура по нашему приему тянулась до утра. Опять обыск, но еще более тщательный, баня, бритье, прожарка — и всюду длиннющие очереди. Лишь к утру мы получили пайку хлеба да еще черпак баланды. Лагерь наш, как оказалось, находился в Кемеровской области в 400-х км

восточнее Новосибирска, на станции Яя. Рядом протекала река Яя. Это место входило в район Кузбасса. Заключение лагеря в основном работали на лесосплаве. Лес шел на оборудование угольных шахт. Это был один из старейших лагерей Советского Союза. Там сидели еще родственники Зиновьева и Каменева и других вождей русской революции, которых в свое время убрал Сталин. К тому времени, то есть, к 1947 году, они уже отсидели по 12–15 лет, хотя получили по суду 10 лет. В свое время предельный срок заключения по советскому законодательству был 10 лет. Но у всех у них на личном деле было написано СОЭ (социально-опасный элемент), а это значило, что выпускать их нельзя. И после отсиженных 10 лет их вызывали и предлагали расписаться в документе, в котором объявлялось, что их заключение продлевается еще на три года; после трех лет они опять расписывались на несколько лет, и так далее. Так продолжалось до 1956 года, когда оставшихся в живых освободили при массовом освобождении политзаключенных Хрущевым. Теперь это были пожилые больные люди. Но они как-то прижились, приспособились и чувствовали себя, в отличие от нас, как дома. Работали они в основном в службе — в столовой, прачечной, парикмахерской и детских яслях.

В зоне было 30 тысяч человек: были и тонкие интеллигенты старой школы, и безграмотные мужики, были и политические заключенные, и отпетые уголовники, ярые коммунисты и столь же ярые фашисты. Кроме того, тогда в зоне мужчины и женщины еще были вместе, только в разных бараках. Естественно, у всей лагерной верхушки заключенных — нарядчиков, комендантов барачных и других "придурков" — были наложницы, которых они покупали за пайку хлеба. Уголовники открыто приводили к себе на нары девиц, и комендант барака боялся им что-нибудь сказать, а лагерное начальство смотрело на это снисходительно. В результате пришлось создать в лагере детские ясли. Вскоре нас разбили на рабочие бригады и разместили по баракам. Я попал в бригаду, работающую на лесосплаве. Работа наша заключалась в том, чтобы тяжелыми железными крюками вытаскивать из Яя бревна, сортировать их по диаметру и штабелевать. Работа была невероятно тяжелая, нормы большие, а питание мизерное. Работали по 12 часов в сутки.

Вдобавок бригада наша работала в ночную смену — с часу ночи почти до часу дня. Очень часто к концу рабочего дня подгоняли порожний железнодорожный состав и нам говорили: "До тех пор пока не нагрузите этот состав, в зону не пойдете". И к концу рабочего дня, когда все уже были измотаны 12-часовым изнурительным трудом, приходилось нагружать огромные бревна на эти платформы. Часто люди, совершенно обессиленные, не выдерживали невероятного напряжения и падали, и тогда баланы с грохотом скатывались на них, оставляя позади убитых и изувеченных. В зону я шел, едва волооча ноги, и уже не хотелось ни есть, ни пить, а лишь добраться до нар и свалиться. По окончании работы нас строили по пятеркам, несколько раз пересчитывали, а затем следовало: "Руки за спину! Шаг вправо, шаг влево, прыжок вверх считается побегом! Стреляю без предупреждения!" — "Следуйте!". И мы, окруженные конвоем с собаками, медленно плелись обратно в зону.

Права конвоя были неограничены. Они издевались над заключенными так, как им только хотелось. Если кто-нибудь им не нравился, с ним расправлялись очень просто. Велели ему взять лежащий в нескольких метрах от него предмет — доску, палку или что-нибудь другое, — а затем стреляли в затылок. После этого вызывали офицера, измеряли расстояние, на которое он отошел от колонны, и писали акт о том, что заключенный был убит при попытке к бегству. Такие случаи были нередки. А если, бывало, заключенный, зная уже, чем это пахнет, отказывался выходить из строя, то находили другие способы избавиться от него. Один из них — покупали за пачку чая кого-нибудь из уголовников, у которого срок был предельным, так что терять ему было нечего, и он убирал кого надо. Или "случайно" падало на человека бревно, или он "нечаянно" падал под поезд, или же его попросту убивали и топили в уборной. В лагере царил полный произвол, действия администрации и конвоя не контролировались; никто не мог, да и некуда было жаловаться, так как жалобы проходили через руки той же администрации. Кроме того, уголовники при прямом попустительстве начальства властвовали в зоне. Все посылки проходили через их руки. Поэтому заключенному доставалась ничтожная доля. Спали в бараках на двухэтажных

нарах, ни постельного белья, ни матрацев, разумеется, не было, и каждый стелил на ночь то, что у него было — пальто, фуфайку или бушлат. Спали всегда в одежде: во-первых, было очень холодно — барак огромный, а топили плохо, а во-вторых, если кто-нибудь и снимал с себя часть одежды, то утром ему уже нечего было надеть. Вещи воровали, а потом продавали. Часто случалось, что со спящего снимали обувь или другие вещи, а он после долгого изнурительного труда так крепко спал, что ничего не чувствовал. Каждое утро после подъема из разных концов барака раздавались вопли — с кого-то сняли сапоги, из-под кого-то вытащили пальто. Ночью по команде "подъем", все должны были мгновенно вскочить. И худо было тому, кто замешкается или просто не услышит команду. Его хватали за ноги и сбрасывали с нар. Занимались этим коменданты барачных, а это были отпетые негодяи, которые рьяно старались выполнить свои обязанности с той же жестокостью, с какой они привыкли выполнять эту работу в немецких концлагерях. Но вскоре у всех выработался соответствующий рефлекс. По команде коменданта "подъем" все, полусонные, вскакивали, как марионетки. Выходили на построение, получали на завтрак черпак баланды, которую залпом выпивали, и только где-то на полпути к месту работы окончательно просыпались.

Этот режим, голод, издевательства, невероятно тяжелый труд убивали во многих заключенных все человеческое. Некоторые превращались в полуживотных. Никаких моральных норм для них уже не существовало. Девизом их было — выжить любой ценой. И для этого они шли на самые низкие, самые подлые дела. На разных людей лагерная жизнь влияла по-разному. Одних больше всего убивала жестокость лагерной администрации, другие не выдерживали тяжкого труда, третьи не могли перенести голод. Особенно мне запомнились голодные заключенные в карантинном бараке, куда нас поместили по прибытии в лагерь. Люди только и говорили о еде. Каждый вспоминал вслух, что он когда-то ел, что он больше всего любил, как надо готовить то или иное блюдо. Обсуждали это, жадно смакуя и с мельчайшими подробностями. Пайку хлеба, которую мы получали по утрам, каждый поглощал так, как ему казалось

сытнее. Самые нетерпеливые съедали ее сразу, другие распределяли по кусочкам на весь день, некоторые растирали в миске с водой и делали тюрю — им казалось, что таким образом они больше наполняют желудок, и это сытнее. Когда в этом бараке кто-нибудь умирал, труп старались сразу не отдавать, его скрывали и при переключке кто-нибудь из рядом лежащих откликнулся за него. Таким образом удавалось получить лишнюю пайку. Держали его до тех пор, пока он не начинал разлагаться, и лишь распространявшийся трупный запах вынуждал отдавать его в морг.

Ежедневно в лагере умирали десятки заключенных. Происходил "естественный" отбор: более слабые и больные не выдерживали голода, холода и тяжелого труда. Более сильные и выносливые еще как-то держались. Каждый день через вахту вывозили подводы с трупами. Их складывали на телеги как дрова, но так как охранники боялись, что вместе с трупами может лечь и живой и таким образом совершить побег, они устраивали особую проверку. Охранник пересчитывал трупы на подводе, ударяя изо всей силы большим молотком каждого мертвеца по голове. Если бы там и лег живой, то такая проверка гарантировала, что вывезут лишь его труп. Проверяли трупы и по-другому: один надрезал пятку кинжалом — живой не мог бы не дернуть ногой; другой просто втыкал штык в каждый труп. Надзиратели делали это, даже если за ними наблюдали заключенные, а может быть и специально, чтобы видели, что и таким путем нет никаких шансов сбежать. Были попытки бежать, хотя и очень редко. Шансы на успех были равны нулю, но толкало отчаяние. Кроме того, что охрана была усиленная, вся область была разбита на квадраты и контролировалась не только охраной, но и местным населением. По тревоге местные крестьяне выходили на заранее отведенные для них участки и прочесывали их. За поимку или оказание помощи при поимке беглеца каждый житель получал вознаграждение — пуд муки или что-нибудь еще. Стоимость беглеца зависела от места, времени и ценности самого заключенного. Однажды несколько заключенных, заранее договорившись, решили совершить побег с места работы. Это были опытные люди, в прошлом военные. Побег этот готовился долго. Все было рассчитано. Им удалось соорудить маскировочные плоты и

под ними вместе со сплавляемым лесом уплыть вниз по течению Яи. Но не прошло и часа, как побег обнаружили. Была объявлена тревога. Вся охрана и местное население были подняты на ноги, и начались поиски и ловля беглецов. К вечеру охрана привезла на подводе груды изуродованных трупов и сбросила их у вахты так, чтобы возвращавшиеся с работы заключенные могли их видеть: вот, мол, что ждет каждого из вас, кто посмеет последовать их примеру. Позже привели тех беглецов, кто чудом остался в живых. Им на шею повесили огромные камни. Они были так избиты, что друзья и знакомые не могли их узнать. После этого побега контроль и террор еще больше усилились. Но весь этот режим и террор со стороны администрации и охраны не очень касался уголовников. Они не работали, так как по их закону воры не должны работать. Они получали чай и даже водку с воли, грабили остальных заключенных. И все это — при молчаливом одобрении начальства. Только однажды они что-то не поладили между собой, и тогда были вызваны войска охраны, которые окружили барак с засевшими уголовниками. Но войти внутрь охране так и не удалось, так как двери были забаррикадированы, а если кто-нибудь пытался заглянуть через окно в барак, то его тут же обливали содержимым параша, из которой они черпали миской. Так продолжалось несколько часов, пока не подкатили к окнам пожарную машину и не начали из брандспойтов сильными струями загонять осажденных в угол. После этого холодного душа их покорили и увели в карцер, а из барака вынесли уйму холодного оружия — ножи, кинжалы, топоры и тому подобные предметы. Но недели через две они почти все вернулись на свои места и снова зажили по-старому.

Я все время старался не попадаться на глаза уголовникам, так как знал, что фамилия моя им известна, и убрать меня им ничего не стоит, никто не помешает. Но одного из солдат, который принимал участие в их избииении еще в Минске, они опознали. Их приговор был короток — убрать. Обычно в таких случаях они поручали совершить убийство одному из своих, у которого есть какие-то грешки перед уголовниками. А если такого не было, то они играли в карты, и проигравший должен был убить. На этот раз они

играли, поставив на кон голову солдата. Исполнить приговор выпало на долю одного рецидивиста, у которого срок был 25 лет. За ним числилось уже несколько убийств, в том числе и лагерных. Солдат жил в другом бараке, но его заманили к ним в барак играть в карты. Они сидели на полу недалеко от моего изголовья и мирно играли в карты. Было это после ужина, и почти все лежали на нарах, отдыхали. Вдруг в дверях появился этот рецидивист-убийца, быстро подошел к солдату сзади, выхватил из-под полы бушлата топор (обычно он ходил одетый весьма франтовато, но сейчас, готовясь к карцеру, надел бушлат) и коротким ударом рассек ему голову пополам. Солдат рефлекторно вскочил на ноги, но тут же упал замертво. Это было сделано настолько быстро и умело, что никто не успел сообразить, что произошло. Впрочем, если бы кто-нибудь и догадался о намерении убийцы, то тоже не подал бы виду, боясь, что и его постигнет та же судьба. В таких условиях чувство самосохранения особенно обострено. После того, как это "мокрое дело", выражаясь лагерным языком, было сделано, убийца сам пошел на вахту, сдал топор и заявил: "Идите уберите труп". Труп убрали, убийцу изолировали, но через некоторое время после суда он снова вернулся в зону с еще одной статьей за убийство, но почти с прежним сроком, так как времени после предыдущего суда прошло немного. Подобные убийства совершались очень часто: убивали за слово, убивали за пайку хлеба, за пару сапог, за женщин. Бывало, если кому-нибудь из уголовников нужно было перебраться в следственную тюрьму по своим делам, он выбирал первую попавшуюся жертву, убивал ее, а потом его направляли на следствие в нужное ему место. А куда направляют, ему было уже известно заранее.

Это было в 1947 году. Война уже окончилась. Страна лежала в развалинах. Царил голод и разруха. Лагеря были битком набиты заключенными. Их уже некуда было помещать, а прибывали все новые и новые поезда. И в это время власти решили разгрузить лагеря. Для заключенных с небольшим сроком и не очень страшной статьей установили бесконвойный режим. Такие жили в особых бараках и на работу шли без конвоя. Это значительно облегчало их положение. Они чувствовали себя относительно свободнее и, кроме того, могли добыть себе что-нибудь сверх пайки.

ЗАТЯНУВШАЯСЯ СВОБОДА

Неожиданное освобождение

Жалоб я, кроме кассационной, ни разу не писал, ждал все, когда отменят указ военного времени. О том, что его должны отменить, ходили упорные слухи. Но прошло уже два года после войны, указ не отменяли, и я продолжал сидеть. В Минске у меня была двоюродная сестра – очень энергичная женщина с хорошо подвешенным языком. Еще до войны она училась в одном классе с дочерью маршала Конева. Они были очень дружны. И вот она решила добиться моего освобождения. Она поехала в Москву, взяв в институте, где я учился, мою характеристику, оказавшуюся весьма положительной. Взяла всякие справки, в том числе о том, что у меня все родные погибли в гетто. И через дочь Конева, которая, в свою очередь, действовала через полковника, адъютанта Конева, добилась приема у председателя Военной Коллегии Верховного Суда СССР генерал-полковника Ульриха. После того, как она изложила суть моего дела, рассказала об обстановке, в которой было совершено мое "преступление", показала ему все справки, характеристики и даже фотографии, он тут же дал указание пересмотреть дело. Сам пересмотр длился менее недели, но решение дошло до меня лишь через два месяца. Вначале его почему-то послали в Минск, затем в Оршанскую пересылку, а потом уже в лагерь, где я находился. Когда меня через коменданта барака вызвали в управление лагеря, я не подозревал, для чего меня вызывают, во всяком случае, ничего хорошего я не ожидал. И когда мне объявили, что мое дело пересмотрено, и мой срок заменен на один год условно, то я не поверил своим ушам. Но потом, прочитав несколько раз решение Военной Коллегии Верховного Суда СССР, я убедился, что это действительно так – я свободен. Не помня себя от радости, я помчался в барак за вещами, состоявшими из рюкзака, телогрейки и полотенца. В этот же день мне выдали справку об освобождении, деньги на проезд и сухой паек на дорогу – буханку сырого хлеба, которая весила более трех килограммов, и две ржавые селедки. Так как

этого пайка явно не хватало на семь суток, то я решил ехать, как в ту пору многие ехали, на подножках, переходных площадках и крышах вагонов, а на сэкономленные деньги покупать еду.

Поезда в то время шли так медленно, что дорога от Кемерово до Минска длилась не менее семи суток. До Кемерово я добрался относительно благополучно. Я забрался на переходную площадку между вагонами и там, стоя вместе со всякими ворами, спекулянтами и просто бродягами, добрался до нужной мне станции. В Кемерове мне не удалось втиснуться на переходную площадку, и я добирался до Новосибирска на подножках вагонов, соскакивая на каждом полустанке, прежде чем меня прогонит проводник. Поезда ползли медленно, с долгими остановками. Приходилось пересаживаться с поезда на поезд. Милиция на каждом шагу меня задерживала и проверяла документы. И тогда моя всесильная справка об освобождении объясняла все. Меня отпускали и прощали то, что еду без билета. Бандиты, грабители чувствовали себя в поездах, вернее на поездах, как дома. Они всех обыскивали, и если находили что-то подходящее, то это немедленно переходило к ним в руки. Никто не пытался сопротивляться, так как расправа следовала тотчас же. Особенно они свирепствовали во время движения поезда и ночью. Дело в том, что проводники ночью запирали все двери, боясь, что грабители проникнут в вагон и начнут хозяйничать и там. Люди оказывались в безвыходном положении. В вагоны их не пускали, как бы они ни колотили в дверь и ни умоляли проводника, а бежать им некуда было. Каждую ночь в разных концах поезда раздавались крики о помощи и слезные мольбы. Помню, где-то между Новосибирском и Свердловском, когда мы ехали на крыше вагона, вдруг появилось несколько грабителей, которые бегали по крышам вагонов, перепрыгивая на ходу с одного вагона на другой. Они начали раздевать и разувать всех, на ком было что-нибудь стоящее. Но одно девушка заупрямилась и ни за что не захотела снимать сапоги. Расправа последовала тут же. Ее швырнули с крыши мчащегося поезда. Раздался душераздирающий крик, и темная уральская ночь поглотила жертву. После этого остальные безропотно отдавали все. Мне было

легче, так как у меня брать было нечего. Часто были случаи, когда люди падали по неосторожности — или когда перепрыгивали с вагона на вагон, или же когда вставали во весь рост и не замечали проводов поперек железной дороги, и их скашивало моментально.

В Свердловске я зашел на вокзал и, в ожидании отправления очередного поезда, сел в сторонке на ступеньках лестницы, крепко обняв свой рюкзак с хлебом и селедкой, и уснул. За этих несколько дней я ни разу не сомкнул глаз, но так же быстро как и уснул, я проснулся и обнаружил, что рюкзака у меня уже нет. Я забегал, начал искать, но все это, разумеется, было бесполезно. И тогда я пожалел, что сэкономил хлеб вместо того, чтобы есть досыта. У меня еще остались деньги, выданные на билет, которые были запрятаны поглубже. Все эти дни я ни разу не умывался и от копоти и грязи был настолько черен, что все прохожие шарахались от меня в сторону. Вид мой, по-видимому, настолько не внушал доверия, что женщины на базаре, куда я забегал купить что-нибудь поесть, прятали от меня все, что лежало на прилавке. Особенно страшный вид был у нас после того, когда мы проезжали туннель в Уральских горах. Проезд через самый длинный туннель едва не кончился трагично. Я лежал на крыше вагона, обняв одну из вентиляционных труб и раскинув ноги для устойчивости. Поезд вошел в туннель, и весь туннель наполнился паровозным дымом. Дышать стало нечем. Когда я делал даже неглубокий вдох, копоть и дым наполняли легкие, и я начинал дико кашлять. Тогда я старался вообще не дышать. Пришлось напрячь всю волю, чтобы дождаться того момента, когда поезд выскочит из туннеля. Все лежащие на крыше, вернее, оставшиеся лежать, так как некоторых мы не досчитались, были черны, как трубочисты. Рот, нос и уши были набиты сажей. На очередной станции нас увидел какой-то высокий начальник железнодорожной милиции и приказал проверить нас. Его приказ был тут же выполнен. Отряд милиции начал всех сгонять с вагонов. Моя справка опять выручила — меня отпустили. Все это время мне почти не пришлось спать, и только изредка, ожидая очередного поезда или же примостившись на переходной площадке, мне удавалось немного подремать. Усталость и

бессонница давали себя знать. На седьмые сутки я вскочил на скорый поезд Омск—Свердловск и примостился на узкой ступеньке вагона, держась за ручку обеими руками. Поезд мчался по ложине, по обеим сторонам которой стоял дремучий лес. Была ночь, и под мерный стук колес я уснул. Проснулся я в тот момент, когда уже летел со ступенек под откос. Я ударился головой о шпалу и потерял сознание. Сколько времени я лежал — не знаю, но проснулся от начавшегося дождя. Я вскарабкался наверх, на железнодорожную насыпь. Абсолютная тишина и кромешная тьма. Счастье, что я был в ушанке, которая немного смягчила удар. Куда идти? Немного подумав, я поплелся по шпалам. Шел я долго, не помню, сколько. Но наконец, увидел вдалеке огонек и пошел на него. Это оказалась будка стрелочника. Я ему рассказал, откуда я, и все, что произошло. Оказалось, что я пошел в сторону, противоположную движению поезда. По его совету я прошел еще несколько километров до ближайшего полустанка. Там я взобрался на какую-то платформу с кирпичами, и под утро поезд двинулся по направлению к Свердловску.

Чем ближе мы были к Москве, тем труднее становилась посадка на поезд. Милиции на станции было все больше, и контроль усиливался, но все-таки мне удалось добраться до Москвы. Я прибыл на Казанский вокзал, а мне нужен был Белорусский. Это было в воскресенье вечером. В метро было полно народу, ехавшего с гуляний, концертов и вечеров. Стоял теплый вечер, и все были одеты в светлые выходные платья. Мне, черному от сажи и грязи, пришлось осторожно пробираться сквозь эту нарядную публику, чтобы случайно кого-нибудь не задеть. Люди, в свою очередь, шарахались от меня, как от чумного, и благодаря общим стараниям я благополучно переправился на Белорусский вокзал. Но на Белорусском вокзале с посадкой оказалось значительно сложнее. Милиция и близко не подпускала меня к поезду. Вдоль всего состава стояла цепь милиционеров. Посадка шла на поезд Москва—Калининград, который проходил через Минск. Как я ни старался проникнуть сквозь цепь охраны, все мои попытки оказались тщетными. Тогда я решил действовать иным путем. Я прошел вперед по железнодорожной линии

несколько сот метров и там, спрятавшись за какой-то столб, стал ждать своего поезда. Примерно через полчаса поезд начал приближаться, постепенно набирая скорость. Когда он поравнялся со мной, он двигался уже довольно быстро. Пропустив несколько вагонов, я нацелился и вскочил на одну из ступенек, благо в тех вагонах ступеньки были наружные. Затем я перебрался на переходную площадку, а оттуда уже забрался на крышу вагона. Там было просторнее, можно было полежать, да и меньше опасности, что заметит поездная охрана. Примостившись поудобнее на крыше вагона, я мчался к своей конечной станции.

До Минска я добрался сравнительно благополучно. Приехал поздно вечером на следующий день и тут же с вокзала пошел к своей тетушке, которая жила на окраине города. Меня встретили со смешанным чувством — радостно, но вместе с тем испуганно. Я их успокоил, сказав, что задержусь у них всего дня на два. В справке, которую я получил из лагеря, было указано, что я еду до станции Греск — это в ста километрах от Минска — жить в Минске мне не разрешили. Назавтра я пошел в институт, зашел к замдиректора института, который в свое время написал мне положительную характеристику, так что он был в курсе дела. Я рассказал ему о всех своих перипетиях, и что в конце концов с меня сняли обвинение и освободили. Теперь я хочу восстановиться в институте. Он тут же дал указание в отдел кадров, и меня снова зачислили. Надо сказать, что в то время поступить в институт было не так сложно: во многих институтах был недобор. Были каникулы, и я поехал в деревню Дравовщину, чтобы немного отдохнуть и откормиться. В деревне были рады моему приезду, так как любили меня и даже считали меня в какой-то мере своим родственником. Кроме того, все время, что я был у них в гостях, я помогал им по хозяйству. Колхозов тогда там еще не было, а хозяйство было сравнительно большое, и старику-хозяину было уже трудно справляться с работой. Дети его давно отделились, имели свои семьи, свои хозяйства.

Осенью я вернулся в институт и получил место в общежитии, которое размещалось в бывших немецких бараках. Прописался по паспорту, который был у меня еще до ареста. Он сохранился дома, так как меня арестовали прямо в

институте и домашнего обыска не делали. Благодаря этой счастливой случайности мне удалось прописаться в Минске.

Существовала еще карточная система. Жил я только на стипендию, помощи ни от кого не было. Нагрузка в институте была большая. Вдобавок к теоретическим занятиям, ежедневно по три—четыре часа мы занимались различными видами спорта. Питались в студенческой столовой, которая размещалась в одном из барачков нашего общежития. Утром по карточкам я получал свою дневную норму хлеба, но во время лекций рука невольно тянулась в чемоданчик, где вместе с книгами и спортивной формой лежал оставшийся от завтрака хлеб. Незаметно отламывался кусок за куском, и обедать уже приходилось без хлеба.

Я всегда любил медицину, мечтал поступить в Медицинский институт, и такая возможность в то время была. Но Медицинский институт не мог обеспечить мне тот прожиточный минимум, который давал Институт физкультуры. В Институте физкультуры стипендия была повышенная, к тому же, так как мы занимались спортом, нам давали дополнительный паек. Кроме того, нам выдавали спортивную форму, которую можно было носить все время, и не надо было тратить деньги на одежду и обувь. Когда бывало очень трудно, я ходил на товарную станцию разгружать вагоны. Был и еще один источник дохода — донорство. Я сдавал по двести—триста граммов крови и получал за это деньги и талоны на обед. К концу второго года обучения стало уже немного легче. Я вырос как спортсмен, начал участвовать в соревнованиях по боксу, занимал призовые места и получал призы, которые, как правило, представляли собой в то время определенную денежную сумму. Вручался диплом, и к нему прилагали конверт с деньгами. И все же мне стоило огромного труда и напряжения добиться успехов в боксе: приходил на тренировку почти всегда полуголодный. Переносить в таком состоянии огромную физическую и нервную нагрузку было довольно трудно. Но желание быть сильным и физически независимым, чтобы уметь дать отпор любым нападениям антисемитов, придавало мне силы, выносливость и стремление к победе. В дальнейшем и в концлагере, и на "свободе" мне это существенно помогало, так как известно, что антисемиты проявляют свои чувства лишь тогда, когда эти проявления остаются безнаказанными.

Борьба с "космополитизмом" и "дело врачей"

Вскоре началась первая послевоенная широкая антисемитская кампания под девизом "Борьба с космополитизмом". Она проводилась в государственном масштабе и по инициативе сверху, а это значит — и с обычным в таких случаях размахом. Для проведения этой кампании был мобилизован весь гигантский пропагандистский аппарат Советской России, включая и прессу, и радио. Во всех учреждениях, особенно в научных и учебных заведениях проводились открытые партсобрания, на которых "разоблачали" космополитов, бичевали "преклонение перед иностранщиной". Все учебные пособия были переизданы или исправлены таким образом, чтобы почти все изобретения во всех областях науки принадлежали только русским ученым. Вся международная научная терминология была заменена русской. Спортивная терминология также была срочно заменена. Некоторые перепуганные профессора, чувствуя за собой какой-то "грешок", выходили на трибуну и сами себя бичевали, не дожидаясь, пока попадут в "космополиты", но это им мало помогало. Подавляющее большинство фамилий космополитов были еврейские, и вскоре уже слово "космополит" стало синонимом "еврея". Волна антисемитизма захлестнула всю страну. Все газеты пестрели фамилиями евреев-космополитов. Многих известных профессоров и крупных научных работников выгоняли с работы. Их книги изымались из библиотек и уничтожались. Русская наука, русская культура, русское искусство были подняты пропагандой на недостижимую высоту. Это было вершиной разнузданного великодержавного шовинизма. История науки переписывалась заново, и там уже основоположниками и главными творцами являлись, конечно, русские. Товарищ моего приятеля писал в то время работу по истории тульского оружейного завода. Как свидетельствовали архивные данные, основными творцами и мастерами этого завода были обрусевшие немцы — фамилии, имена и отчества у них были немецкие. Когда же он показал собранные данные своему руководителю, ему тут же было указано: "изменить все фамилии и имена на чисто русские, и чтобы в этой работе и духа немецкого не было". За легчайшую похвалу чего-ни-

будь иностранного немедленно выгоняли с работы, а многих подвергали аресту "за преклонение перед буржуазным строем". Мой знакомый инженер-строитель где-то положительно отозвался о кранах и умывальниках, которые он видел в Германии во время войны. Эта неосторожность стоила ему десяти лет концлагерей.

Вскоре в Минске было осуществлено зверское убийство известного еврейского артиста и общественного деятеля Михозлса. Хотя по первоначальной официальной версии в печати он погиб при автомобильной катастрофе, у нас на лекции по марксизму-ленинизму было объявлено, что его убили сами евреи, так как он слишком много знал об их делах и проделках, и они, опасаясь, что он может их выдать, решили его убрать. Многие лекторы дали полный выход своим антисемитским чувствам, все их лекции были увязаны с еврейством, космополитизмом и сионизмом. Еврейский театр, издательства и библиотеки были разгромлены. В Минске до войны был постоянный еврейский театр, пользовавшийся большой популярностью у зрителей. Он помещался в бывшей хоральной синагоге, которая была хорошо переоборудована. Во время войны театр сгорел и остался лишь остов. Евреи обратились тогда к Председателю Совета Министров БССР Пономаренко с просьбой восстановить помещение театра, где еврейская труппа могла бы продолжать свою работу. Он им без обиняков ответил, что мы живем в Белорусской республике, а не в еврейской. Театр был восстановлен, но уже как Русский драматический театр. Он существует по сей день. А еврейский театр вынужден был скитаться, не имея постоянного места. Впоследствии он был ликвидирован, а основной массе актеров пришлось работать на должностях, никак не связанных с искусством.

Многих людей, отсидевших срок и после войны вернувшихся домой, хватало и без суда и следствия ссылали этапом опять в Сибирь. Атмосфера в Минске была гнетущая, евреи были запуганы, затравлены и боялись собственной тени. Чувство национального достоинства было подавлено, загнано в дальний угол и придавлено русским сапогом. Кульминацией послевоенного антисемитизма явилось знаменитое дело врачей. Это был разгул самых темных сил красной реакции. О деле врачей написано много. Еще до

официального сообщения мы знали, что сняли министра здравоохранения и посадили группу врачей. После официального сообщения в печати в январе 1953 года о деле врачей все самые низменные антисемитские инстинкты, которые прежде кое-как сдерживались, с ревом прорвались наружу и захлестнули всю страну.

История человечества знает немало антисемитских процессов и кампаний, но когда это происходит в свободной стране, то евреи и нееврейская прогрессивная общественность могут отстаивать свои права и справедливость. Когда же подобная кампания проводится тоталитарным режимом, когда на ее проведение мобилизуются огромные пропагандистские силы страны, которые обрабатывают общественное мнение, а КГБ уже на этой удобренной почве завершает работу, тогда это гораздо страшнее. Самое ужасное в этой кампании было не то, что сообщала официальная пропаганда, а как реагировал народ. Подавляющее большинство населения — от полуграмотных колхозников до рафинированных интеллигентов и крупных руководящих работников — все они с каким-то особым удовольствием смаковали эти сообщения. Верили всем самым нелепым, на какие только способна антисемитская фантазия, слухам, которыми была насыщена атмосфера, слухам, в которых не было ни логики, ни здравого смысла. Но они верили, верили потому, что хотели верить, потому что это приходилось им по их антисемитскому нутру, эмоционально удовлетворяло. Антисемитизм, как известно, является больше явлением эмоциональным, чем рациональным. На улицах, в автобусах, на работе только и говорили о евреях, и разговоры эти были полны самых отвратительных измышлений. На многих предприятиях устраивали митинги, которые носили чисто антисемитский характер. Многих евреев выгоняли с работы, особенно врачей. Участковых врачей-евреев, которые приходили на дом по вызову, выгоняли с криком: "Уходите вон, отравители! Вы приходите отравлять наших детей!" Многие евреи, особенно с ярко выраженным семитским профилем, боялись выйти на улицу, сесть в троллейбус или зайти в общественное место. Было много случаев, когда избивали евреев на улице, и почти каждый прохожий старался внести свою лепту в это "святое" дело. Когда антисемитский накал

достиг апогея, было объявлено о реабилитации врачей. Но как объявлено? Каким контрастом — кричащим обвинением врачей-убийц, крупным шрифтом на первых страницах, — было короткое сообщение об их реабилитации. Оказывается, они были невинно арестованы, а ответственность несут отдельные работники КГБ — Игнатьев, Рюмин и другие. А о зверских пытках, которым подвергались врачи, было мягко сообщено, что к ним применялись недозволенные методы следствия. Вот и все. Естественно, что это сообщение ни в малейшей мере не могло нейтрализовать недавние потоки антисемитского яда.

Ничто так не потрясло Советский Союз за все время его существования, как смерть Сталина. В первый день сообщения о его смерти какая-то старушка принесла вазон с цветами и поставила его у памятника, который стоял на центральной площади Минска. И за ней пошли толпы людей с цветами, венками, и вскоре вся огромная площадь была уставлена цветами, и чтобы только попасть на эту площадь, надо было выстоять огромную очередь. Самое трагичное, что многие искренне верили в "генералиссимуса", "отца", "учителя". Даже когда начали открыто говорить о его преступлениях, многие старались найти какие-то оправдания и искать положительное в его деятельности. "Да, — говорили они, — все это было следствием его излишней доверчивости, его приближенные дезинформировали его". Все зверства, уничтожение десятков миллионов людей считалось делом рук Берии и его сообщников. "Кроме того, — говорили они, — война-то все-таки была выиграна им, это ведь факт". Психологически их можно было понять — трудно было расстаться с идолом, которому поклонялись всю жизнь. Без него они чувствовали себя опустошенными. А без веры во что-то и в кого-то человек не живет, а существует, не горит, а глеет. Он единственный заполнял их разум и сердце, ему и в него они верили с религиозным фанатизмом. Люди умирали на фронте, в застенках гестапо или НКВД, произнося не "мама", не имя любимой, а имя Сталина. Мне повезло — еще задолго до его смерти я встречался с людьми, которые мне рассказывали правду. Такие люди, к счастью, были, но большинство боялось рассказывать правду не только кому-нибудь чужому, но даже детям и жене. Когда

после его смерти все еще были в трауре, в одном кругу товарищей, которые сами весьма критически относились к советской власти, я сказал: "Да, жаль только, что это не случилось 30 лет назад". На меня бросились чуть не с кулаками. Впоследствии они сами смеялись над своей тогдашней наивностью.

Смерть тирана сделала свое дело, и постепенно люди начали прозревать. Особенно большое значение имела тогда речь Хрущева на XX съезде КПСС и чтение закрытого письма "О культе личности и его последствиях". Для людей большое значение имело то, что оно исходило от ЦК Партии, так как они еще по инерции верили партии. Магическая сила идола была развенчана, и люди иными глазами стали смотреть на происходящее. Как ни старался в дальнейшем Хрущев занять его место, но получился лишь фарс, он был всеобщим посмешищем. Но за старое цеплялся мертвой хваткой огромный партийно-государственный аппарат. Правители прекрасно понимали, что с изменением структуры государства они лишатся своего привилегированного положения, а этого никому не хотелось. Кроме того, на совести многих из них лежит гибель невинно замученных в советских концлагерях, и с них могли за это спросить. Это понимали все — от районных работников до работников ЦК и Совета Министров СССР. Поэтому они могли пойти на некоторые реформы, относительную либерализацию, но только не против самих устоев советской власти. И даже те критически мыслящие ответственные работники, которые понимали, что сама структура государства породила культ личности и авторитарный режим, старались сохранить его, так как, сохранив его, они сохраняли свое привилегированное положение. Если в свободном мире состояние капиталиста находится в его сейфе, то в Советском Союзе, в стране государственного капитализма, капиталом партийно-государственного чиновника является его служебное положение. Пока он занимает свой пост, у него есть все — и высокий оклад, и машина, и дача за государственный счет, ему гарантировано, что дети его поступят в лучшие ВУЗы страны, он пользуется закрытыми лечебными учреждениями. Для него везде — "зеленая улица". Лишившись же своего поста, он лишается всех привилегий — основы своего

благополучия. Эта материальная зависимость, зависимость будущего своей семьи, своих детей, заставляет советского чиновника делать даже то, что противоречит его взглядам, его мировоззрению. И лишь у единиц хватает мужества и воли пожертвовать своим привилегированным положением ради принципов.

Мое национальное пробуждение

Постепенно все мои спонтанно возникавшие чувства и осознание себя евреем начали формироваться в определенную систему. Но познания мои в еврейском вопросе были весьма скудными. Я не знал ни еврейской истории, ни языка, ни традиций, ни культуры, ни литературы, ни современного Израиля. Я начал жадно искать все, что было хоть как-то связано с еврейскими проблемами. Ходил в Центральную городскую библиотеку и перебирал там горы подшивок старых газет. Надо сказать, что Минск во время войны был разрушен на девяносто процентов, было уничтожено огромное количество книг — как из общественных библиотек, так и из частных. Я стал завсегдаем букинистического магазина, и все, что там появлялось на еврейскую тему, сразу же покупал. Беседовал со стариками, которые что-то знали о древней еврейской истории и еще помнили новейшую. Покупал русскую литературу, где хотя бы упоминалось о евреях. Затем я стал регулярно слушать "Голос Израиля" на идиш и, хотя я далеко не все понимал, но даже то, что я схватывал, являлось для меня колоссальным богатством.

Я не могу указать время, событие или личность, которые заставили меня почувствовать себя евреем-сионистом. После войны я в основном находился среди русских. Но я никогда не старался приспособливаться к ним, не старался быть похожим на них. Хотя многие меня и не принимали за еврея, я никогда не забывал, что я еврей. Если все пережитое и виденное мною в гетто и в лагере воспринималось в основном эмоционально, то в дальнейшем, когда я уже повзрослел, все это начало принимать у меня весьма четкую

осознанную форму. И все пережитое в детстве я пережил вторично в воспоминаниях, но пережил уже осознанно. Все это привело меня к убеждению, что я нахожусь здесь на правах непрошеного гостя, которого еще как-то терпят, пока все идет хорошо. Но стоит где-то споткнуться, мне сразу же напомнят, что я не хозяин в этом доме и должен вести себя соответственно. Я пришел к заключению, что мне, как и каждому еврею, который хочет оставаться евреем, надо иметь свой дом. А единственным домом может быть лишь Израиль — историческая родина евреев. Все мои помыслы, вся энергия, все средства были направлены на достижение этой заветной цели. Все события, свидетелем которых я был, все вопросы, которые я решал — все это проходило у меня через национальную призму. Я гордился тем, что я еврей, и старался передать эту гордость тем ребятам, с которыми общался. К этому времени я уже кое-что знал из еврейской истории и традиции. Все свое свободное время и средства я тратил на поиски и приобретение интересующей меня информации.

В 1955 году я впервые поехал в Ригу на спортивные соревнования. То, что я увидел там, меня потрясло. Тогда, и в последующие годы, когда я приезжал в Ригу, у меня было ощущение, будто я приезжал за границу. На улицах слышна еврейская речь. Евреи соблюдают национальные обычаи и традиции, собираются вместе, отмечают еврейские праздники. В Минске ничего похожего не было. В Риге, которая находилась под советской властью лишь в послевоенный период, если не считать короткого времени перед войной, сохранились старые традиции, сохранилось много евреев, которые были в свое время активными деятелями различных еврейских организаций, особенно Бейтара, сохранились богатые еврейские библиотеки. В первую очередь я пошел искать букинистический магазин. В одном из центральных букинистических магазинов я начал жадно искать на полках книги с еврейским шрифтом. Потом я спросил у продавщицы: "Какие у вас есть книги на еврейскую тематику?" Она мне что-то назвала, но в это время стоящий возле меня мужчина спросил: "А что это вас интересует еврейская тематика? Откуда вы?" Я ему ответил, что я из Минска, приехал сюда на спортивные соревнования. Он подозритель-

но на меня посмотрел и спросил, чем я могу доказать, кто я. Я ему показал удостоверение, что я являюсь судьей на проходящих соревнованиях по боксу. Мы разговорились, и он пригласил меня к себе домой. Когда я вошел в его маленькую комнатку, которая вся была уставлена книгами — книгами, которые я так жадно искал, у меня было ощущение, что я попал в тайник, в котором спрятаны огромные сокровища, а на полках от пола до потолка стоят слитки золота. Я стоял вначале зачарованный всем этим, а затем стал быстренько листать все подряд, чтобы успеть побольше просмотреть. Он мне кое-что рассказывал об Израиле, а я, в свою очередь, засыпал его вопросами. Многие из них были довольно наивны. Но мое блаженство продолжалось недолго, подозрения его, очевидно, не уменьшились, и он стал торопиться куда-то. Мы распрощались; вторично мы с ним встретились в Израиле, в первый день после моего приезда.

По возвращении в Минск я продолжал свои поиски. Случайно достал в читальном зале центральной библиотеки брошюру Горького об антисемитизме, в которой он жестоко бичует русский народ за его отношение к евреям. Он писал, что евреи воюют вместе с русскими на фронте (это было после Первой мировой войны), мерзнут в окопах и кормят вшей, а в это время их жен и сестер убивают, насиляют и грабят. Я, конечно, сразу же полностью переписал эту брошюру, и у меня оказался прекрасный материал, которым я мог пользоваться в беседах с ассимилированными евреями, еще не освободившимися от оцепенившего их страха. Не ко всем можно было подойти сразу с израильской тематикой, так как это могло отпугнуть, но общееврейский вопрос, да еще брошюра, которую написал сам Горький, считающийся основоположником советской литературы, брошюра, напечатанная в Советском Союзе, пускай в 1918 году — это не так страшно, не страшно и интересно, особенно про антисемитизм, который чувствуется во всем. Все это я адресовал в основном старшему и среднему поколению, большая же часть молодежи вообще этим вопросом не интересовалась, а продолжала жить идеалами, внушенными советской литературой. Тогда же достал я журнал, который издавался под редакцией того же Горького — "Щит". Этот

журнал издавался во время Первой мировой войны для защиты евреев от антисемитских обвинений их в шпионаже в пользу немцев. Я вырезал и переписывал отдельные заметки на еврейскую тему из подшивок старых газет, в том числе выступления Громыко и Царапкина в связи с образованием Государства Израиль. Эти крохи, которые с трудом удавалось собрать, были единственным средством пробить ту скорлупу, в которой замкнулось большинство евреев, напомнить, что они евреи не только тогда, когда им об этом напоминает антисемитизм официальный и неофициальный, пробудить в них какой-то интерес к еврейскому вопросу и показать, что есть еще евреи, которые интересуются историей своего народа, еврейской культурой и Израилем. Нужны были огромные усилия, величайшая осторожность и такт, чтобы пробудить в них интерес к своему народу, чувство национального достоинства.

Опасные встречи

Вскоре мне впервые пришлось встретиться с евреями из свободного мира. Это были американские туристы. На одном из еврейских концертов, которые изредка бывали в Минске, я увидел пожилую пару, которая выделялась на общем фоне. Говорили они по-английски. Ясно было, что это иностранные туристы. Люди из свободного мира, да еще евреи — я, конечно, не мог удержаться, чтобы не подойти к ним. Разговорились. Оказалось, что это американцы, совершавшие поездку по разным странам мира. Были в Германии, где служил их сын в американских войсках. Были в Москве, где нашли свою родственницу. Приехали в Минск, где хотели навестить родные места, которые они покинули 50 лет тому назад, но туда им поехать не разрешили, так как это местечко не входило в их маршрут — оно находилось в 60 километрах от Минска. Из Советского Союза они собирались поехать в Израиль. Обстановка в театре не позволяла долго разговаривать, и мы условились встретиться завтра в гостинице, где они остановились. Это было в 1956 году, в период, когда был слегка приподнят железный занавес и

понемногу начали приезжать туристы из капиталистических стран. Хотя я уже знал о слежке и подслушивании, но еще не догадывался, что всех иностранных туристов в гостиницах помещают в особые номера, оборудованные подслушивающей аппаратурой. Я приходил к ним дважды. Это была моя первая личная встреча с иностранцами. Вопросов у меня была уйма. Меня интересовало все и прежде всего новости с "еврейской улицы". Я подробно расспрашивал их о жизни евреев в Америке, о еврейских организациях, о еврейской культуре и, разумеется, я выжал из них все, что только можно было выжать об Израиле. Сам я рассказывал им о положении евреев в Советском Союзе, начиная со времен немецкой оккупации и до дней нашей встречи. Рассказывал о всех волнах антисемитского разгула, свидетелем которого я являлся. Обо всем этом я просил их рассказать евреям Америки и, конечно, Израиля, куда они собирались отправиться через несколько дней. Потом на следствии мне зачитали все эти разговоры. Я только удивлялся, как они смогли расшифровать эту невероятную языковую смесь, на которой я разговаривал. Это было полуграмотное сочетание английских, немецких и еврейских (идиш) слов. Но все это было переведено, отпечатано и подшито в отдельную папку, которую следователь всякий раз вытаскивал, чтобы подкрепить то или иное обвинение.

Летом 1957 года состоялся в Москве очередной Международный фестиваль молодежи. Из печати я узнал, что в нем будет участвовать и израильская делегация. Я загорелся желанием поехать в Москву и увидеть своими глазами живого израильянина. Это стало моей ближайшей целью. К фестивалю начали готовиться еще задолго до его начала. В Минске, в Институте иностранных языков стали подбирать переводчиков. Отбирал ЦК комсомола. Один из секретарей ЦК, председатель отборочной комиссии сказал: "Нам нужно, чтобы это были прежде всего хорошие граждане нашей страны, а потом уже хорошие переводчики". Пошли слухи, что на время фестиваля въезд в Москву закроют. Опасаясь этого, я поехал раньше в Ленинград на спортивные соревнования, а оттуда уже решил поехать в Москву. Но в Ленинграде тогда тоже оказалось бурное время. Там дважды пришлось отмечать 250-летие города. Первый раз на празднова-

ние юбилея приехал Маленков, второй раз — Хрущев. На митинг, который был проведен на Дворцовой площади, организовано привозили и приводили ленинградцев, причем в каждой группе был выделен партработник, ответственный за соблюдение порядка. Хрущев был огражден от народа лесом солдатских штыков.

Для уверенности я поехал в Москву за неделю до начала фестиваля. Прежде всего я хотел узнать, когда и на какой вокзал прибудет делегация Израиля. Но не тут-то было. Сколько я ни обращался в Комитет по организации фестиваля, чтобы узнать, когда прибудет делегация Израиля, всегда следовал один и тот же ответ: "Не знаем еще сами". Так мне и не удалось встретить ее на вокзале. Но когда я узнал, что на центральном стадионе будет репетиция для всех делегаций, я сразу же ринулся туда. Я искал какой-нибудь признак израильской делегации. И вот издали увидел я израильские флаги и израильтян и бросился к ним. Иврита я не знал совершенно, идиш понимал, но говорил очень плохо, немного говорил по-английски. Я начал расспрашивать их обо всем, хотелось говорить и говорить. Но вскоре они собрались уезжать в гостиницу. Я узнал, что они разместились в Тимирязевской академии, и с того момента я с раннего утра до позднего вечера не отходил от своей делегации. Хотелось говорить с ними, хотелось побольше узнать, хотелось просто смотреть на них, на этих парней и девушек, евреев, таких же как и я, но свободных и независимых. Всегда любую группу, любого члена израильской делегации окружало много евреев. Я разговорился с ними и оказалось, что многие из них, как и я, специально, приехали со всех концов России, чтобы увидеть собственными глазами посланцев своей страны. Разумеется, делегацию окружали не только друзья. Ее постоянно окружали агенты КГБ, которые следили за каждым из них, и за всеми, кто с ними общался. Следили, конечно, за всеми делегациями, но израильской делегации уделяли особое внимание. До последнего момента израильтяне не знали, куда их повезут для репетиции. Для того, чтобы их сбить с толку, им называли одно место, а везли в другое. Был я на концерте израильской делегации, который проходил в Останкинском парке вместе с концертами делегаций Нидерландов и Армянской Республики. Туда

пришло много евреев, чтобы посмотреть на народные танцы и песни и на самих исполнителей. Израильтяне всегда были окружены евреями, и со всех сторон их засыпали вопросами. Тем, кто никогда не слышал из официальных источников доброго слова о своей стране, кого постоянно заливали потоками грязи и лжи о своем народе, о своем государстве, хотелось узнать правду. Вопреки всем препонам, чинимым израильской делегации советскими властями, ее все же находили, ее смотрели и слушали тысячи евреев. Я все время ходил с фотоаппаратом и фотографировал делегацию целиком, отдельных ее представителей, мой национальный флаг. У меня до сих пор сохранились несколько фотографий, уцелевших после обысков КГБ.

Кульминацией для евреев был национальный день израильской делегации. Согласно программе и билетам концерт должен был состояться в театре им. Пушкина, но перед самым началом, следуя своей прежней тактике, организационный комитет перенес концерт в театр им. Моссовета. Билеты были розданы по различным организациям, и большинство их досталось, конечно, не евреям. Многие евреи попросту покупали билеты у тех, для кого этот концерт не представлял особого интереса. Но организаторы фестиваля и здесь нашли выход из положения. Желая свести к минимуму число еврейских зрителей, они пустили в зал через черный ход посторонних людей только для того, чтобы заполнить зал. Потом объявили, что все места заняты, и никого даже с билетами пускать не станут. Площадь перед театром была запружена людьми. Люди рвались в зал, но их не пускали. Вначале за порядком наблюдали лишь дружинники, затем вызвали милицию, а когда и милиция не смогла справиться, вызвали войска МВД. Было много стычек, многих отправили в милицию. Выходящих из здания театра представителей израильской делегации окружали и умоляли провести их. Но они, разумеется, были бессильны. Несмотря на все это, вопреки всем препятствиям и ограничениям, так грубо чинимым организаторами фестиваля, концерт все же прошел с большим успехом. Там же у Моссовета я познакомился с одним из руководителей делегации. Мы с ним договорились, что завтра я приду к Тимирязевской академии и смогу получить там кое-что из литературы и сувениров для

Минска. Назавтра утром в назначенный час я поехал к месту встречи. Не доходя до Академии, я увидел две израильские машины. У одной из них был поднят копот, и водители вроде бы копошились в моторе. Когда я подошел поближе, из одной машины вышел руководитель делегации и, подойдя ко мне, рассказал, что вчера их вызвали в Комитет по организации фестиваля и обрушили на них всяческие обвинения. Дескать, они занимаются антисоветской пропагандой, распространяют сионистскую литературу и тому подобное. Он мне сказал, что им-то бояться нечего, в худшем случае их могут выслать раньше времени — и все, а со мной могут расправиться иначе, — он тут показал мне человека, стоящего под деревом и внимательно наблюдающего за всем происходящим. Мы договорились, как в дальнейшем поддерживать связь, он дал мне свой израильский адрес (который после ареста был изъят), и мы с ним распрощались. Я ушел с пустым чемоданчиком, который прихватил с собой для литературы.

Как только я начал удаляться, за мной сразу последовал "хвост", который стоял у дерева. У меня при себе ничего компрометирующего не было, и я шел, ничего не боясь. "Хвост" сохранял дистанцию, метров 15. Я останавливался, и он останавливался, я ускорял шаг, и сразу же он следовал моему примеру. Делал он это открыто и нагло, так как знал, что я его уже вижу. Я вошел в трамвай, он сразу же вскочил за мной, через две остановки я вышел и вскочил в трамвай, идущий в противоположную сторону, и он проделал все то же. Через несколько остановок я вышел из трамвая и пошел на станцию метро. Он сократил расстояние до нескольких метров. Я спустился вниз по эскалатору. Людей было полно, вагоны были набиты до предела. Я вошел в один из вагонов, и он — тут как тут. Я все же решил во что бы то ни стало уйти от него, чтобы он не узнал, где я живу и с кем общаюсь. Когда из второй двери еще выходили пассажиры, я стал пробираться вперед к площадке, как будто хочу встать в более удобном месте возле окна. "Хвост" находился в нескольких метрах от меня. Но между нами было полно народу. И как только последний пассажир вышел, я одним прыжком выскочил из вагона, остановился и стал наблюдать, как он, бешено расталкивая локтями пассажиров,

пробирается к двери. Но увы! Двери сомкнулись, и поезд двинулся. Я стоял на перроне, а он в вагоне. Мы смотрели друг на друга. Я видел бегающие глаза загнанного зверя. Я не утерпел — показал ему нос и помахал рукой. Нужно отдать ему должное — он оказался добросовестным сыщиком. В своем отчете он описал все подробности слежки. Потом на следствии мне все это рассказали, припомнив даже нос. От него-то я ушел, но, как потом оказалось, я ушел только от него, но оставался в их поле зрения. Несколькими днями раньше, будучи возле Тимирязевской академии, я увидел одну женщину среди делегатов, которая свободно разговаривала по-русски. Я бросился к ней и начал задавать ей массу вопросов, начиная с того, что означает семисвечник, который был на груди у делегатов. Она очень подробно рассказала историю меноры и ответила на множество моих вопросов. Это была сотрудница нашего посольства. Я решил сохранить с ней связь и в дальнейшем, после отъезда делегации. Она мне сказала свой номер телефона, и я, тогда еще будучи неопытным, вытащил записную книжку. Но она предупредила, чтобы я ничего не записывал, а только запоминал. Мы договорились с ней, каким образом в дальнейшем мы сможем связаться. Через день я позвонил ей и условным кодом договорился, в какое время я буду на заранее условленном месте, то есть в отделе грампластинок ГУМа. Я пришел туда раньше, народу было полно, у прилавков стояли большие очереди. Я выбрал наиболее удобное место, с которого мог наблюдать за входом. В точно назначенное время она вместе с мужем и двумя детьми появилась в отделе. Я вышел из своего угла, она тут же заметила меня и незаметно указала на меня мужу. Немного потолкавшись в очереди, он подошел к висящей таблице с перечнем всех имеющихся пластинок, вытащил записную книжку и стал будто бы записывать нужные пластинки. Глядя на таблицу, я тоже приблизился и стал разглядывать список пластинок. Мы приступили сразу же к деловому разговору. Я ему ответил на его вопросы о Минске, и мы договорились о дальнейших встречах. Он ушел в одну сторону, а через некоторое время я ушел в другую. Вернувшись в дом, где я остановился, я узнал, что приходил какой-то человек к соседям и спрашивал обо мне — кто

я, откуда я. Но ни соседи, ни хозяева не придали этому большого значения, а просто решили, что милиция интересуется, кто здесь проживает без прописки, а так как я приехал всего лишь на дни фестиваля, то это не грозило им ничем серьезным, ибо таких как я было полно. Фестиваль подходил к концу. Я начал собираться обратно в Минск. Несмотря на все препятствия, мне все же удалось собрать некоторое количество литературы, брошюр, словарей и сувениров. Для меня это было большим богатством. Я представлял себе, как будут радоваться и жадно все это читать ребята в Минске, для которых каждое слово, каждая вещичка из Израиля драгоценны. В Минске я постоянно ходил нагруженный сувенирами, календариками и брошюрами, которые я при каждом удобном случае показывал и давал почитать. Каждый выпрашивал у меня какой-нибудь сувенир, но их было немного, и каждого удовлетворить было невозможно. Я был полон впечатлений от фестиваля и без устали рассказывал, что и кого видел. Рассказывал об Израиле правду, полученную из первых рук. Встреча с настоящими израильтянами расширила мой кругозор, обогатила меня информацией, дала мне еще раз понять разницу между галутом и родиной. Вскоре мне опять улыбнулось счастье. Один из знакомых спортсменов, который ездил с командой борцов в Польшу на соревнования, привез мне много разной литературы. Там были газеты и журналы на идиш, иврите и русском. Они были из Израиля и из Франции. Была брошюра на русском языке об антисемитизме. В то время в советской печати, особенно в "Труде" и "Комсомольской правде", появились серии антиизраильских статей, авторами которых были известные евреи — Л. Шейнин и Д. Заславский. В брошюре был дан достойный ответ на все это, а также была статья об истории антисемитизма. Брошюра пользовалась большой популярностью среди евреев Минска. Жажда знаний по еврейскому вопросу и желание передать их другим были так велики, я так горел всем этим, что забыл всякую осторожность, тем более, что опыта конспирации у меня не было. Единственный источник, где я пытался почерпнуть кое-какие сведения о конспирации — это советская и переводная литература о разведке и подполье.

Слежка

Вскоре я почувствовал, что привлек внимание кагебешников. Как позже выяснилось, впервые меня засекли в гостинице при встрече с американскими туристами. Я в то время работал в Минском Политехническом институте преподавателем физкультуры. Институт был большой, в нем занималось около девяти тысяч студентов. Директор этого института М. Дорошевич был крупной фигурой в республике. Он был членом ЦК КПБ, а позже, после моего ареста, стал министром высшего образования. С рядовыми преподавателями он почти не общался. Руководство осуществлялось через завкафедрами или проректора по учебной части. Я с ним никогда не разговаривал, и он меня даже не знал в лицо. И вот однажды он звонит на кафедру и просит меня к телефону. У меня в это время занятий не было, я должен был прийти через час. Тогда он приказал взять его ЗИМ и срочно поехать за мной домой. Все на кафедре были поражены таким вниманием ко мне самого директора. Но машина еще не успела выехать, как я появился на кафедре. Мне хором сообщили, что меня вызывает Михаил Васильевич. Сначала я не поверил и подумал, что это шутка. Но завкафедрой тут же позвонил директору и передал мне трубку. И действительно, сам Михаил Васильевич просил зайти к нему в кабинет. Сколько я ни перебирал в памяти возможные причины, побудившие его снизойти до меня, так и не смог догадаться. Зайдя в его огромный кабинет, я направился по длинной красной дорожке к столу. Он внимательно, с любопытством начал меня рассматривать, ничего не говоря. Вид у него был полурастерянный. Затем он начал задавать мне ничего не значащие вопросы о жизни, о работе, о семье. Чувствовалось, что он сам не знал, с чего начать. Я решил ему помочь и спросил: "Вы меня, Михаил Васильевич, вызвали по какому-то делу?" Он торопливо заговорил: "Да, да. Вот, знаете, здесь у нас недавно была ревизионная комиссия, и она обнаружила, что у вас в деле не хватает какой-то анкеты. Зайдите, пожалуйста, к Пирогову, заполните ее, и он вам все объяснит". (Пирогов был начальником отдела кадров, только что демобилизованный полковник. Известно, что все начальники отдела кадров

связаны с КГБ и милицией). Все это выглядело настолько нелепо, настолько нелогично, что у любого, даже абсолютно чистого перед властями человека это бы сразу вызвало подозрения.

Чувствовалось, что сотрудники КГБ не подготовили его как следует к разговору со мной. Во-первых, действительно, была ревизия, но ревизия была финансовая и никакого отношения к личным делам не имела. Во-вторых, это не могло быть так срочно, чтобы посылать свою персональную машину за мной. И в конце концов сам Пирогов мог решить этот вопрос без директора. Зайдя к Пирогову, я спрашиваю: "В чем дело?" Он мне отвечает: "Вам ведь, наверное, объяснил Михаил Васильевич". И не стал мне ничего объяснять, боясь, что его объяснения и объяснения директора разойдутся. Вид у него тоже был настороженный. Затем он попросил меня заполнить три анкеты. Одну — обычную, для поступающих на работу, другую — для военкомата со специальными вопросами, а третью, толстую анкету — для поездок за границу. В ней нужно было указать все подробности о близких и дальних родственниках, бабушках, дедушках и тому подобное. На большинство из этих вопросов я ничего не ответил, так как действительно не знал, что писать. Я почувствовал чью-то явную заинтересованность во мне. После того как я по мере способностей заполнил все анкеты, я побежал на кафедру и попросил заменить меня на первом уроке, а сам на такси помчался домой. Я решил прежде всего убрать всю "крамольную" литературу из дому. Собрав все, что мне казалось тогда "крамольным", в один чемодан, я отнес его к своему знакомому, который жил недалеко от меня. И квартира его, и он сам казались мне весьма надежными. Домашние советовали мне немедленно все уничтожить, так как лишь в этом случае у меня будет гарантия, что ничего не найдут. Но у меня попросту не подымалась рука уничтожить все то, что я таким трудом собрал, и что представляло такую ценность.

Советов я не послушал, а сделал по-своему. После этого жизнь как будто вошла в обычную колею. Работал, иногда выезжал в другие города, встречался с друзьями, но уже появилась у меня какая-то настороженность. Я стал замечать

подозрительных лиц, которые часами дежурили около моего дома. Появились "хвосты". В дальнейшем я уже узнавал их издали. Некоторые ходили за мной осторожно, другие же открыто, нагло. Иногда я заводил с ними игру и нарочно путал следы — то забегал в проходные дворы, в подъезды, то вскакивал на ходу в проходящий трамвай. Однажды я решил наказать одного из них, наиболее нахального, который преследовал меня как тень. Он ходил целый вечер за мной, сохраняя дистанцию в три—пять метров. Я заходил в магазины, в автобусы, садился в такси, но он всегда был рядом и цинично улыбался. Я вскочил в один из темных подъездов и спрятался за открытую дверь. Он вбежал за мной, побежал вверх по лестнице, остановился и стал прислушиваться, какую же дверь я открою. Он поднялся на верхний этаж, зажигал там спички, очевидно, читая фамилии жильцов. Опять прислушивался, но ничего так и не услышал. Затем он стал разочарованно спускаться вниз. Дверь подъезда была открыта, свет с улицы слегка освещал его. Сам я находился в неосвещенном углу за дверью, и он меня видеть не мог. Когда он поравнялся с дверью, я коротким и резким ударом в челюсть свалил его на пол, затем, перепрыгнув через него, выскочил на улицу и поехал домой. Об этом факте он, видимо, постеснялся рассказать в своем отчете. Во всяком случае, потом на следствии об этом не упоминалось. По-видимому, руководство института по рекомендации КГБ решило рассеять подозрения, возникшие у меня в связи с неожиданным вызовом к директору и заполнением анкет. Две недели спустя начальник отдела кадров Пирогов вызвал меня к себе и говорит: "Сейчас я могу вам сказать, для чего мы предложили вам заполнить анкеты. Дело в том, что военкомат хочет послать вас за границу, а именно, в ГДР в советские войска для работы инструктором по физподготовке. Вы согласны?" "Да, почему же нет?" — ответил я. "Тогда хорошо. Ждите ответа, но только никому об этом говорить не следует". Это наивное объяснение еще больше насторожило меня. Во-первых, было известно, что евреев очень редко посылают за границу служить в армии. Во-вторых, у нас на кафедре имелись более подходящие кандидатуры для этого — русские, и моложе меня. Да и форма самого предложения была необычной. Я сделал вид, что

поверил этому объяснению, а сам начал замечать следы. Мне приходилось часто разъезжать по разным городам. Ездил со спортсменами и как тренер, и как судья. Кроме того, меня часто посылали в разные спортивные организации как общественного инспектора для проверки их работы.

СЛЕДСТВИЕ

Снова арест

В начале декабря 1958 года мне позвонили из республиканского Комитета по физкультуре и спорту и предложили поехать в Гомель для проверки работы местной спортивной организации. Эта поездка была для меня не обязательна, так как моей основной работой было преподавание, а командировки — общественной нагрузкой. Я сам выбирал эти поездки. Если поездка представляла для меня интерес — я ездил, если нет — отказывался. Теперь же у меня не было никакого желания ехать, и я отказался. Но Комитет физкультуры (как потом оказалось, под давлением КГБ) всячески уговаривал меня. Они даже нажимали на меня через моего завкафедрой, который всегда был противником командировок во время занятий. Звонил мне домой зампреда республиканского комитета и уговаривал поехать в последний раз (как в воду глядел), так как им нужен был срочный отчет о работе Гомельского областного комитета физкультуры и спорта. В конце концов я поддался на уговоры и согласился поехать. Тем более, что следы свои я замел, а если что-то и готовится, то пускай это будет поскорее. Поезд мой отходил в час ночи. Весь вечер я нервничал и говорил дома, что мне почему-то ужасно не хочется ехать. Я предчувствовал какую-то беду. Но уже перевалило за двенадцать, и я пошел на вокзал — он был в десяти минутах ходьбы от дома. Сел в вагон, занял свое место в купе. Всю ночь я ворочался и глотал таблетки от головной боли. Поезд прибыл на станцию Гомель в пять утра.

Я вышел из вагона и пошел через туннель на вокзал. Когда я выходил из туннеля, меня вдруг кто-то окликнул: "Вы будете товарищ Рубин?" Я ответил: "Да, я". Это был мужчина лет 50 в длинном пальто и сапогах. "За вами прислал машину Сергеев" (председатель гомельского областного комитета физкультуры). Я спрашиваю: "Откуда вы знали, что я приеду сегодня?" "Нам позвонил Васильев (зампредседателя республиканского Комитета по физкультуре и спорту) и просил вас встретить". Я это воспринял как должное, так как обычно, когда я выезжал в инспекционную поездку, меня встречал кто-нибудь из представителей местных организаций, или же заранее сообщали, что мне забронировано место в гостинице. Мы поднялись на привокзальную площадь. Было декабрьское морозное утро, слегка поросил снег. На привокзальной площади стояло несколько дежурных такси, в стороне стояла машина. Когда мы подошли к ней, я обратил внимание на то, что мой попутчик открывает мне заднюю дверцу. За рулем сидел шофер в полувоенной одежде. Мысли мои лихорадочно работали. Что можно сделать, какие предпринять шаги? Но у меня были лишь подозрения, и я еще не был уверен, что меня арестовывают. Успокаивало и то, что при мне ничего компрометирующего не было, а из дома я все, что могло бы послужить материалом для обвинения, убрал. Не успел я сесть в машину, как вдруг будто из-под земли с двух сторон машины появились двое верзил и уселись рядом со мной, плотно зажав меня. Встречавший меня, как вскоре оказалось, полковник КГБ уселся рядом с шофером, захлопнул дверь и скомандовал: "Поехали!" Машина тронулась. Я спрашиваю: "Куда мы поедem, в какую гостиницу?" Здесь они все четверо сработали синхронно.

Шофер нажал на тормоз, полковник приподнялся, схватил меня за голову и с силой сжал мне с двух сторон виски так, что у меня круги пошли перед глазами. Сидевшие рядом со мной молодцы схватили меня за руки и начали лихорадочно обыскивать. Затем этот полковник сунул мне в нос какое-то удостоверение со словами: "Я полковник госбезопасности, мне велено доставить вас в Минск. У всех у нас есть оружие, и при малейшей попытке к бегству будем стрелять немедленно". Я обратил внимание, что обыскивающий меня

тщательно прощупывает воротник рубашки. Позже я узнал, что они искали ампулу с ядом. Все это произошло в считанные секунды — их методы были прекрасно отработаны. Затем полковник заговорил со мной спокойным и даже доброжелательным тоном, чтобы, видимо, успокоить меня и не лишать надежды: "Это, может быть, недоразумение. Знаете, всяко бывает и у нас. Там в Минске выяснят, что им нужно, и пойдете домой. Пусть вас не смущает, что мы не совсем деликатным образом возвращаем вас в Минск, но у нас имеются свои инструкции и законы, и мы обязаны действовать строго по предписанию". Он даже предложил мне завтрак — бутерброды, которые они специально захватили для меня. Но мне, конечно, было не до завтрака. По дороге они вели разговоры о рыбалке, об охоте, о кино. Я, в свою очередь, старался составить план, как вести себя на допросе. Что они знают и чего не знают? Как они истолкуют те факты, которые им могут быть уже известны? Приехали в Минск. При въезде в город они мне велели откинуться назад и надвинуть ушанку — чтобы меня не мог кто-нибудь увидеть и узнать. Заехали во двор КГБ через боковой проезд, и там у подъезда меня ожидало несколько кагебешников, среди них следователь майор Кудров. Меня отвели в его кабинет и усадили за стол, стоявший в углу. Стол и стулья были прикреплены к полу, на столе стояла легкая пластмассовая пепельница. Все это было предусмотрено на случай, если попадется буйный арестант. Окна были закрыты решеткой. Мне принесли на подносе обед из трех блюд. На сей раз я не отказался, так как изрядно проголодался.

Сразу же после обеда все четверо, находившиеся в кабинете, начали допрос. Первое, что они мне предложили — назвать всех своих друзей и знакомых. Я назвал им кое-кого, с кем у меня никаких "еврейских" дел не было. В основном, это были неевреи — сослуживцы, друзья по спорту и просто знакомые. Они мне: "Это мы знаем. А вот таких-то вы знаете?" И начали читать длинный список еврейских фамилий. Среди них были и те, с которыми у меня были деловые отношения, и весьма далекие от еврейства. Я видел, что они слишком много знают. Я понял, что телефон мой прослушивался — они назвали мне почти всех,

кто звонил мне в последние дни. С некоторыми из них я не виделся больше года. Я ответил, что знаю их, но, естественно, не могу запомнить фамилии всех моих знакомых. Я коренной минчанин, всю жизнь жил в Минске и, разумеется, у меня масса знакомых, начиная с тех, с кем я знаком со школьной скамьи и кончая сотрудниками института, где я сейчас работаю. О многих спрашивали, в каких мы отношениях и что нас связывало. Я отвечал, что некоторые — просто знакомые с такого-то времени или в таком-то месте, с некоторыми я вместе занимался спортом, с некоторыми меня связывали общие интересы к книгам. Затем они спросили, где моя литература. Я ответил: "Дома, на полках". "Нет, — сказали они, — вы знаете, какую литературу мы имеем в виду". Я им снова ответил, что все, что у меня есть, открыто и находится дома. Весь день разговор вертелся вокруг знакомых и литературы. К вечеру мне заявили: "Ладно, идите сейчас спать и подумайте хорошенько о том, где вы находитесь и с кем имеете дело, а завтра поговорим еще. Если вы хотите отсюда когда-нибудь выбраться, то перестаньте хитрить, отбросьте все свои штучки и начинайте рассказывать честно и прямо, по-русски". А другой добавил: "А мы-то думали, что вы мужественный человек, честно расскажете все, не боясь ничего. Вы, оказывается, просто трус. А еще бывший боксер!" "Если вы называете мужеством клеветать на своих друзей и знакомых, чтобы помочь вам состряпать дело, то я не отношусь к этой категории мужественных людей". Они мне: "Вы еще заговорите, никуда не денетесь".

Круглая тюрьма

Двое охранников вывели меня в коридор и повели вниз по лестнице. Лестничный пролет и все окна забраны решетками и сеткой. Провели меня через двор в тюрьму, которая находилась в центре двора. Тюрьма эта была круглой и почему-то называлась американской.

Сразу после войны, когда Минск был на 90 процентов разрушен, а центр города был превращен в сплошные

развалины, первое здание, которое начали восстанавливать в Минске, было здание КГБ. Во главе его тогда стоял грузин по фамилии Цанава. Здание было четырехэтажное, в форме буквы П. Тюрьма возвышалась над землей на два этажа, и еще два этажа были под землей. Так что с улицы здание тюрьмы не было видно, и не было слышно, что там происходит. Но люди уже знали, что это самое страшное место в городе. Меня отвели на первый этаж в административную комнату, где производили регистрацию и обыск.

В машине у меня искали лишь оружие и ампулу с ядом, но документы и записную книжку не тронули. Теперь я вспомнил о записной книжке, в которой были зашифрованные имена и номера телефонов. О некоторых кагебешники ни в коем случае не должны были знать. Кроме того, там были фамилии людей, не имевших никакого отношения к моему делу. Вызов в КГБ и разговор с чекистами вызвал бы у них шок. Репутация чекистов не изменилась со сталинских времен, и отношение к ним было вполне однозначным. Я сделал гримасу и сказал дежурному старшине, что с утра еще не был в туалете и мне срочно необходимо. Это было до начала тюремного обыска. Он подвел меня к двери с глазком и впустил. Соответствующим образом разместившись, я стал незаметно вытаскивать из кармана записную книжку. Различными манипуляциями я старался замаскировать свои движения, так как время от времени к глазку подходил надзиратель. Вытащив записную книжку, я стал незаметно вырывать из нее нужные, вернее "ненужные" страницы, и вскоре она стала у меня вдвое тоньше. Затем я ее вложил обратно в карман. Страницы я рвал, опускал в унитаз и несколько раз спускал воду. После проделанной работы я вышел из туалета, чувствуя большое облегчение. А когда позже еще раз попросился, уже действительно по надобности, старшина мне отказал, сказав, что так часто не положено.

Обыск был более чем тщательный. Раздели догола, прошупали все швы, оторвали каблуки от туфель. Затем, отобрав все документы и записную книжку, все "режущие и колющие инструменты" (перочинный ножик, ножницы, иголку), "пишущие принадлежности" (ручку, карандаш), сняв с меня галстук, брючный ремень и вытащив шнурки из

туфель, чтобы, не дай Бог, не повесился, меня отвели в камеру. Так как тюрьма была круглой, то камеры, находившиеся вдоль внешней стены, сужались к двери. Кроме того, углы камеры были почему-то срезаны. Таким образом камера имела форму гроба. В одном углу к стене была приделана доска, которая служила столом. Рядом с ней стояла маленькая тумбочка, прикрепленная к полу. Сбоку к стене была прикреплена железная рама с металлическими полосами посередине, служившая койкой. В шесть часов утра эта койка опускалась и через пробой запиралась на огромный замок, а в 11 часов вечера ее снова подымали. Тюрьма эта была только следственная. Сразу после суда заключенных отправляли в лагеря, или в другую тюрьму, или же в иной мир. Поэтому больших камер там не было, а держали по одному, по двое, а если не было места, на пол клали и третьего. У двери стояла параша, которая также была прикреплена к стене толстой цепью с замком. Каждое утро надзиратель отпирал его, чтобы парашу можно было вынести. Маленькое окошечко было застеклено специальным матовым стеклом, внутри которого была металлическая сетка. У форточки был намордник — прямоугольный ящик, загнутый кверху, через который можно было увидеть лишь маленький квадратик неба. Стены покрашены в грязно-серый цвет. Запах в камере стоял затхлый и сырой. Пол — цементный и всегда сырой. В двери — глазок, через который надзиратель периодически заглядывал в камеру, чтобы знать, чем занимается арестант. Под глазком — кормушка и маленькая форточка, через которую подавали пищу. Над дверью в нише — огромная электрическая лампа, которая горела круглые сутки. Спать надо было лицом к двери, чтобы лицо было все время освещено — закрывать лицо от этого яркого света запрещалось. Первое время я совершенно не мог уснуть — свет лампы бил прямо в глаза, как прожектор. Но в дальнейшем благодаря недосыпанию и общей нервной усталости я спал невзирая ни на что. Два раза в день, утром и вечером, водили в туалет, и заодно нужно было опорожнять парашу. Раз в день на полчаса выводили на прогулку. На прогулку выводили в специальные дворики, которые были чуть больше камеры, только без крыши. Туда впускали, запирали двери, и гуляй себе свои полчаса. Сверху

над двориком была специальная площадка, на которой стояли часовые и наблюдали, чтобы арестанты из разных камер не переговаривались и ничего не перебрасывали друг другу. Все дни были похожи друг на друга: подъем, туалет, стандартный завтрак, который обязательно включая селедку, допросы с перерывом на обед, а иногда и без перерыва, особенно в первый период следствия. По ночам не допрашивали.

Однажды рано утром, не успел я даже запить селедку кипятком, как меня вызвали на допрос. Несмотря на то, что надзиратели и конвоиры после многих месяцев тюрьмы знали заключенного хорошо, все равно при вызове на допрос они всегда соблюдали определенную форму – отворялась кормушка, и надзиратель вызывал: "Рубин!", я же должен был называть остальное: имя, отчество, год рождения, а после суда еще статью и срок. Он, в свою очередь, все это сверял по моей папке, в которой были все эти данные, затем, сличив мои фотографии в фас и профиль с оригиналом, открывал дверь. Меня опять прошупывали в соответствии с инструкцией. Следовала команда: "Руки за спину, не оглядываться, не разговаривать, итти медленно", и я отправлялся в сопровождении двух охранников в корпус КГБ к следователю. Если в это время вели навстречу другого заключенного, они сразу же поворачивали меня лицом к стене и держали за плечи до тех пор, пока он не исчезал из поля зрения. Вводя меня в кабинет, они козыряли офицерам и удалялись.

Беззаконная законность

На сей раз разговор был короткий. Они снова спросили, где литература, и на мой ответ, что все находится дома, ответили: "Дама-то дома, но у кого дома?" Я повторяю: "У меня дома". Тогда они мне говорят: "Мы ведь все равно все знаем. Только хотели проверить, насколько вы честны и правдивы. А сейчас поехали. Если вы раньше не хотели показать нам, где находится литература, то сейчас мы покажем вам". Мне принесли из камеры пальто, вывели во

двор и усадили в машину. Со мной в машину сели еще три человека, не считая шофера. Еще трое сели в другую машину. Я и сейчас не понимаю, как они узнали адрес. То ли им рассказал мой поделщик, то ли они подслушали мой разговор с ним дома через подслушивающий аппарат, который был установлен у меня и о котором я расскажу ниже. Мы подъехали прямо к дому моего знакомого, он еще не вернулся с работы. Войдя в квартиру, они объяснили хозяйке, зачем они приехали, и потребовали, чтобы никто из дома не выходил и чтобы все находились в соседней комнате. Один из кагебешников остался снаружи, другой — у двери внутри. Остальные раскрыли чемодан, который я принес к ним на хранение, и начали исследовать его содержимое. Затем они начали писать протокол обыска, перечисляя все найденное в чемоданчике: книжки, брошюры, календари с фестиваля, книжку об антисемитизме, изданную в Израиле, газеты и журналы на идиш и иврите из Франции, которые привез мне один из моих поделщиков, фотографии с израильянами на фестивале, статьи по еврейскому вопросу, которые я вырезал и переписывал из книг и журналов. Стопка вырезок из советских газет, так или иначе связанных с Израилем или вообще с евреями, которые, кстати, впоследствии были включены в обвинение как тенденциозная подборка материала. На всем этом я должен был написать "принадлежит мне" и расписаться. Все мы сидели за одним большим столом в столовой. Среди бумаг и книжек я заметил клочок бумаги с номером телефона сотрудника израильского посольства, правда, зашифрованным, и одним адресом, который ни в коем случае не должен был попасть к ним в руки. Тогда я еще не знал, что потом обвинение будет значительно серьезнее, и полагал, что все ограничится этой литературой.

Я решил уничтожить во что бы то ни стало этот адрес и номер телефона. Я сказал, что хочу пить. Мне принесли кружку воды. Я выпил половину и оставил немного воды во рту. В таких случаях реакция и сообразительность обостряются. Я взглянул на шкаф, как будто что-то заметил. Все повернули голову к шкафу. Достаточно было этого мгновения, чтобы бумажка оказалась у меня во рту. Они набросились на меня, еще не понимая, что произошло. Я же свернулся калачиком

на полу, и пока они возились со мной, эта бумажка вместе с водой была проглочена. Они начали орать: "Ты что сделал! Ты что сделал! Мы у тебя вместе с кишками все вынем!" Скрутили руки назад, надели наручники и увели в машину. На допрос меня в тот день больше не водили, а повели прямо в карцер. В карцере меня держали восемь суток и оттуда возили ежедневно на допросы. С каждым днем я все больше убеждался, что у них имеется полная информация обо мне. Знают всю мою биографию, большинство знакомых и родных. Назвали мне точно, где и с кем я встречался и даже о чем говорили. Больше всего меня удивило, что они знают в подробностях, о чем я разговаривал дома. Они мне назвали точно день, полгода тому назад, когда у меня был такой-то человек, описали его внешность, одежду, процитировали дословно наш разговор. Уже после суда на свидании родные мне рассказали, что на чердаке над моей комнатой был установлен подслушивающий аппарат. Узнали они случайно, когда недели через две после моего ареста к нам пришел техник ремонтировать телефон. Он спросил: "А что это у вас еще какой-то провод тянется на чердак?" Родственники поднялись на чердак и там обнаружили над моей комнатой два аппарата, в разных углах, слегка присыпанные шлаком. Они, разумеется, побоялись тогда их трогать, но спустя некоторое время эта аппаратура так же незаметно исчезла, как и появилась. Позже из наблюдений и рассказов некоторых соседей выяснилось, что аппарат был установлен более года тому назад, и провод тянулся к соседке, которая жила на нашей площадке.

Эта соседка во время немецкой оккупации активно сотрудничала с немцами. У нее даже в войну родился сын от немца. После войны она стала сотрудничать с КГБ. Так вот к этой-то соседке поселили "квартиранта" из КГБ. Из ее окна было очень хорошо видно, как ко мне приходили. Тогда он включал микрофон, и все разговоры записывались. Потом, очевидно, ленту прокручивали, и все, что представляло для них интерес, печатали на машинке и подшивали в папку. Таких папок за год с лишним собралась уйма. Когда я оспаривал какое-либо обвинение, следователь открывал железный шкаф, вынимал ту или иную папку и зачитывал все мои высказывания и разговоры. Но я уже до ареста знал,

что по закону основанием для обвинения на суде может служить лишь признание самого обвиняемого или показания свидетелей, или же вещественные доказательства, а все агентурные данные, явившиеся результатом подслушивания, фотографирования и т. п., не являются материалом для суда. Я наивно полагал, что теперь уже придерживаются законности. Но на суде я убедился в обратном, так как почти все самые серьезные обвинения против меня были построены на агентурных данных. Я все отрицал, свидетели все отрицали или просто не знали, вещественных доказательств тоже не было. Тем не менее обвинения были включены в приговор.

В последующие дни я почувствовал, что вся "крамольная" литература, которую они изъяли, не была главным в их обвинениях, и я всячески старался найти главный пункт, но на все мои вопросы они отвечали: "Пока мы еще тебя допрашиваем, а не ты нас". Я соглашался: "Пока да". Дня через два после того, как они изъяли у меня записную книжку, меня вдруг срочно вызвали во время обеда на допрос, и там набросились на меня — где вырванные страницы из записной книжки и что там было написано? Я им ответил, что использовал их по надобности, что странички были пустыми. Меня убеждали, что они все достали, что в лаборатории все записи восстановлены, но они хотят проверить мою честность. Я продолжал настаивать на прежнем ответе, и после двух дней бесполезного нажима они перестали приставать ко мне с вопросами о записной книжке. Правда, старшину этого я уже больше не встречал в тюрьме. Ему, возможно, пришлось поплатиться за допущенный промах.

В это же время они вызывали массу свидетелей. Всего было допрошено, как я позже подсчитал, около 80 свидетелей, в том числе те, с кем я совершенно не был связан по своей сионистской работе. В те времена не били и не сажали только за то, что знаком с арестованным, но методы шантажа и запугивания остались прежними. Все еще была свежа память о сталинских временах. Один лишь вызов в КГБ на допрос вызывал у людей дрожь, и они проводили бессонную ночь, размышляя, что это может быть и как себя нужно там вести. После моего ареста многие знакомые и даже некоторые бывшие друзья переходили на другую

сторону при встрече с кем-нибудь из моих родственников, так как считали, что одно лишь знакомство с политзаключенным может в лучшем случае стоить им карьеры. Большинство свидетелей, переступая порог КГБ, не знало, вернутся ли они домой. Однажды следователь мне сказал: "Не понимаю, почему люди так боятся, чего они так дрожат? Ведь их не бьют, не пытаются, а просто спрашивают. Иногда только начинаешь писать протокол допроса, задаешь первый вопрос, а он уже просится в туалет".

Что общего у православных с жидами

У КГБ имеется огромный опыт ведения следствия, у них есть даже научно-исследовательские институты по изучению психологии заключенного.

В полосу так называемых экономических процессов был арестован старый еврей. Он потерял всю семью в гетто, от второй жены у него была девочка лет шести. Он дрожал над ней и весь остаток жизни посвятил тому, чтобы вырастить свою дочь. Кагебисты не преминули воспользоваться этим. Следователь ему говорил: "Вы хотите поговорить со своей дочкой? Я могу набрать ваш домашний номер, и говорите". Он звонил, давал ему трубку, и как только девочка отвечала, следователь сейчас же нажимал на рычаг. А однажды, когда его вели на допрос, он увидел издали в коридоре свою дочь на руках у кагебиста. Когда он вошел в кабинет, ему говорят: "Вы хотите встретиться со своей девочкой? Ведь она очень скучает без своего папы и все время спрашивает: "Где мой папа, когда мой папа придет?" Все зависит только от вас, одно ваше слово, и она будет у вас на руках". Отец не выдержал нажима на самое чувствительное место и "раскололся".

А вот пример из моего следствия. Примерно через неделю после ареста меня вдруг повели не в кабинет следователя, а в другое крыло здания. Меня ввели в огромный кабинет, где все было огромных размеров. В одном конце кабинета стоял огромный письменный стол, на стене висели портреты Маркса и Ленина, в углу стоял бюст Дзержинского, на полу

была широкая ковровая дорожка алого цвета. По сторонам стояли диваны и кресла, на которых сидели восемь чекистов. Как только я переступил порог, они на меня набросились как цепные псы. "Вот он идет, этот выродок!" Они сыпали отборным матом, грозили всем, чем угодно, замахивались кулаками, оскорбляли меня всячески — будто соревновались друг с другом в издевательствах надо мной. С другой стороны было несколько стальных шкафов. Вдруг одна из узких дверей шкафа открылась, и оттуда бочком вылез рослый полный чекист в генеральской форме. Позже я узнал, что это был зампреда КГБ Белоруссии. Когда он вскоре ушел тем же путем, то я понял, что это была замаскированная дверь в другую комнату. Генерал подошел к одному из чекистов, что-то написал ему на бумажке, презрительно взглянул на меня и удалился в тот же "шкаф". Брань и угрозы, сам кабинет и его обстановка, неожиданное появление генерала, да еще как будто из шкафа, — все это было рассчитано на психологический эффект — подавить мою психику, запугать и внушить мне, что я бессилен перед этой машиной.

Действительно, я был ошарашен. Вдруг открывается дверь, и уверенным хозяйским шагом входит некто в гражданском. Позже я узнал, что это был начальник оперативного отдела. Он огляделся и заорал на них: "Замолчать! Что за крик! Что за крик! Как вы разговариваете с подследственным! Вы забыли, что это не время бериевщины! Немедленно все удалитесь отсюда!" Все затихли, смущенно встали и почти на цыпочках вышли из кабинета. Он же уселся недалеко от меня на диване, как-то спокойно, по-домашнему, закурил и, конечно, предложил мне сигарету. Бросил еще несколько резких фраз по их адресу, а потом доверительно и ласково, как хороший друг, сказал: "Толя, пойми меня, я тоже был сиротой. Вырос в детском доме. Я очень хорошо изучил твою биографию и понимаю тебя лучше, чем кто-либо другой. Я все время был против твоего ареста. Говорил, что не может человек, переживший столько, пойти на такое преступление. И только приезд Никиты Сергеевича заставил нас пригласить тебя сюда таким нежелательным образом. Мы хотим просто выяснить, что случилось. Откуда такие разговоры о тебе". Несколько раз

он извинялся за то, что говорил со мной на "ты". Мы, мол, просто хотим выяснить обстановку. Иди себе спокойно домой, иди на работу. Ведь на работе о тебе так хорошо отзываются. Такую прекрасную характеристику тебе написали", и так далее и тому подобное. Это тоже был один из их методов — так называемая работа на контрастах. Когда грубая атака доходит до предела, они неожиданно переходят в другую крайность.

Разумеется, я не испытывал удовольствия от их хамства, но проявление таких "дружеских" чувств мне было еще более неприятно. Уже имея некоторый опыт, я стал действовать испытанным методом. Цинично улыбаясь, я говорю: "Гражданин следователь", — он тут же меня перебивает и поправляет: "Я не следователь, а начальник оперативного отдела КГБ Белоруссии". — Я повторяю свое обращение, но уже в исправленной форме, и продолжаю: "Не нужно со мной разговаривать "по-человечески, по-дружески", говорите со мной, как настоящий чекист". "Ну, что ты, Толя. У тебя просто сложилось неправильное представление о сотрудниках КГБ. Ведь везде есть разные люди. Не суди о нас по тем, кто проявляет свою невыдержанность. Твое представление о КГБ — с прежних времен. Все то, что здесь произошло сейчас — это и есть остатки прежних методов. Мы сейчас стараемся всячески изжить их у нас и беспощадно боремся против любого нарушения закона". Я перешел на еще более резкий тон, играя циника и грубияна, стараясь разозлить его. Я говорю: "Перестаньте играть. Вам все равно не скрыть за этой лисьей маской свою волчью сущность. Меня все это лишь смещит". Его терпение лопнуло, и он, сразу же побагровев, вскочил и заорал: "У меня не такие заговаривали, и ты заговоришь! Ничего, мы тебе хребет переломаем! Если не понимаешь человеческого языка, тогда поговорим на понятном тебе языке!" Он нажал на кнопку, вошли охранники и увели меня в камеру. После такого сильного нервного напряжения я вернулся в камеру страшно уставшим, каким-то обмякшим. По его фразе "приезд Никиты Сергеевича заставил нас взять вас" я понял, в каком направлении они ведут сейчас следствие.

Сразу же после ареста мне официально было предъявлено обвинение в измене родине, попытке покушения на одного из

руководящих деятелей партии и правительства (фамилию они никогда не указывают), антисоветской пропаганде и агитации, которая включала в себя распространение сионистской литературы, связь с израильским посольством, разжигание националистических настроений. Все усилия я сосредоточил на том, чтобы они сняли обвинение в покушении, так как понимал, что это пахнет вышкой. Они все время допытывались, где оружие, где мины. Я категорически отрицал все эти обвинения, а они утверждали, что все уже найдено и находится у них в руках. Уже после суда, в лагере, когда ко мне на свидание приехали родственники, я узнал, что были проведены тщательные обыски. В тот момент, когда меня арестовали в Гомеле, ко мне домой приехала целая бригада чекистов. Обыск проводили с миноискателями почти целый день. Все полы в доме были подняты, печи разобраны по кирпичикам. Если в стене им что-то казалось подозрительным, они тут же молотком отбивали штукатурку. Весь двор был исколот специальным железным щупом. Они влезли в погреб, который находился в сарае, и прощупали миноискателем стены и потолок. Перекрытие в погребе было из железобетонных плит. И когда они приставили к ним миноискатель, появился сигнал о наличии металла. Тогда они с яростью начали долбить перекрытие. Кто-то из домашних, присутствовавший при этом, сказал, что перекрытие ведь из железобетона, и внутри него имеется железная арматура. Действительно, куда они ни прикладывали миноискатель, всюду был тот же сигнал. Лишь после этого они перестали долбить и вылезли из погреба. Но через несколько дней, когда уже наполовину восстановили и отремонтировали квартиру после этого разгрома, они приехали снова. Очевидно, им было приказано во что бы то ни стало найти оружие или мины, и они снова начали все разрушать, прокалывать, прослушивать, но безрезультатно. В деревне, где я жил во время войны и куда продолжал приезжать иногда в гости, они тоже сделали обыск. У хозяина, у которого я когда-то жил и с которым продолжал поддерживать дружеские отношения, они перебрали все навозные кучи, прощупали все соломенные крыши и прокололи щупом весь двор в поисках оружия, но и там ничего не нашли. Хозяин был до смерти напуган этим обыском. Дело

в том, что накануне хозяин украл в колхозе мешок зерна, и думал, что они ищут зерно. После обыска ему сказали, что именно они ищут. Они потребовали, чтобы он им пересказал все, что я ему говорил, спрашивали, привозил ли я оружие, с кем я приезжал. Чекисты знали от соседей, что он украл мешок зерна, и пытались его шантажировать, что, мол, если он не расскажет всю правду обо мне, то они передадут его ОБХСС. В конце концов они убедились, что он действительно ничего не знает, и тогда руководитель оперативной группы майор Аркадьев сказал ему: "Что у вас общего с этим жидом, зачем вы с ним дружите? Ведь в конце концов вы — православные люди". Обо всем этом рассказал мне хозяин после моего освобождения.

С деревней был связан еще один курьезный случай. В год ареста, летом, когда я был там, один из соседей позвал меня на гумно, где мужики молотили рожь. Один из них попросил меня почитать им листовку, которую он нашел в поле. Это была листовка НТС. Я им прочел и посоветовал, чтобы они были с ней осторожны. Когда допрашивали крестьян, то кто-то из них рассказал историю с этой листовкой. Через некоторое время после моего ареста человека, который нашел листовку, вызвали для допроса в Минск. Когда он получил повестку в КГБ, то он, еще не зная, в чем дело, решил, что КГБ стало известно о случаях, когда он воровал колхозное имущество. К тому же он еще не вступил в колхоз. Он был уверен, что его арестуют. Попрощавшись с родными, он взял с собой сала, хлеба и махорки в запас и с полной торбой поехал в Минск. Как только он вошел в кабинет следователя, то сразу же начал плакать — теперь он уже решил вступить в колхоз, он будет хорошо работать и аккуратно платить налоги. Когда же ему следователь объяснил, что его не для этого вызвали, а что их интересует история с листовкой, то он расплакался уже от радости и рассказал следователю, что он распрощался с женой и детьми и был уверен, что его пошлют в Сибирь. Затем он услужливо стал рассказывать, что было и чего не было. В результате он заврался так, что его просто выгнали из кабинета. Потом мне эту историю рассказал сам следователь, когда пытался убедить меня в том, что им нужна правда, а не клевета.

Как правило, ко всем процессам, проводимым КГБ, стараются подготовить общественное мнение. Когда процесс открытый, то мобилизуют печать, радио, телевидение, и как по команде появляются соответствующие статьи, радиопередачи и карикатуры. Народ уже знает, что судят предателей, убийц, валютчиков. Когда же процесс закрытый, то готовят общественное мнение и по разным каналам распускают самые нелепые слухи. Слухи эти быстро подхватываются и распространяются. Уже в лагере родные мне рассказывали на свидании, что после моего ареста по городу ходили самые невероятные слухи: что я собирался взорвать только что выстроенную гостиницу "Минск" в центре города, что меня поймали с передатчиком, когда я передавал какие-то сведения на Запад, что у меня нашли полмиллиона валюты. Об одном из моих поделщиков, который был участковым врачом, пустили слух, что он заражал своих пациентов раком. И некоторые из его бывших пациентов прибегали в поликлинику с истерикой, что их заразил раком этот врач-убийца. Антисемиты, естественно, выжимали из этого все, что можно было. Находились и такие евреи, которые нас обвиняли — вот, мол, сволочи, зачем им это нужно было, из-за них и нам жизни нет. В деревне же власть учитывала психологию мужика, тем более, что это было в Западной Белоруссии, на территории бывшей Польши, где население было враждебно настроено к советскому строю. В его глазах я не был бы скомпрометирован тем, что передавал какие-то сведения на Запад или же хотел взорвать гостиницу. Поэтому там они пустили другой слух — будто бы я вместе с моим бывшим хозяином Иваном печатал фальшивые деньги. А то, что у них был обыск, так это они искали машину, на которой мы печатали купюры. Хозяин мой жил неплохо. Недавно он построил новый дом, и в деревне ему завидовали. Так что слухи эти попали на благодатную почву, и все поверили. Лишь в 1962 году, когда в лагерь, в котором я находился, попало несколько крестьян из той же деревни за "контрреволюционный саботаж" (у них сгорел свинарник и около 100 свиней), то они убедились, что здесь сидят только политзаключенные — фальшивомонетчик не мог бы сидеть в этой зоне. Они об этом написали в деревню, передали на свиданиях, навет отпал, и отношение к Ивану резко изменилось к лучшему.

Во время обыска у меня была изъята вся литература, имеющая отношение к еврейскому вопросу, все фотографии, письма. Среди изъятых книг был один том юбилейного издания воспоминаний о Марксе и Энгельсе. В этой книге была исповедь Маркса своей дочери Лауре. Исповедь была написана в форме полушутливой анкеты. В числе других были вопросы: Кого он больше всех ненавидит? — Бонапарта. Любимый цвет? — Красный. Любимое блюдо? — Рыба. Как-то, читая эту анкету, я на клочке бумаги дал свои ответы на ее вопросы. На вопрос о ненависти я ответил — Хрущева. На вопрос о цвете — голубой, а на вопрос о любимом блюде — сало с капустой. Во время обыска все это, конечно, было изъято. На очередном допросе, когда в кабинете следователя было полно начальства, он вытащил эту книгу, в которой лежала бумага с моими ответами. Относительно Хрущева я сказал, что я симпатии к нему не питал и не питаю, я уже не раз им об этом говорил. На вопрос, почему я люблю именно голубой цвет, не потому ли, что это цвет израильского флага, — я ответил, что это дело вкуса. Прочитав о любимом блюде, начальник следственного отдела Седов встал и продекламировал: "А сало русское ты любишь!" — Я ему ответил: "Почему русское, свиное". При допросах почти всегда кроме следователя присутствовал или начальник следственного отдела Седов, или его заместитель Панин, или оба вместе. Кроме того, постоянно заходило еще какое-нибудь начальство, в том числе и председатель КГБ Белоруссии Перепелицын. Впоследствии, при Семичастном, он стал зампреда КГБ СССР.

Попытка антиизраильской провокации

Недели через две после моего ареста приехали чекисты из Москвы. Один из них сразу же проявил себя как специалист по еврейскому вопросу. Высокий, элегантный, с красивыми манерами, хорошо образованный, что не так часто встретишь среди работников КГБ, особенно среди следователей. Об эрудиции моего следователя расскажу ниже. Этот специалист прекрасно знал историю еврейского народа и особенно

историю советского еврейства. Знал всех крупных деятелей еврейской культуры в Советском Союзе, знал многих работников израильского посольства, знал, кто из них чем занимается. Иногда он пересыпал свою речь еврейскими словечками и оборотами. Чувствовалось, что он проработал в этой области не мало лет. Блеснув своими познаниями о жизни на еврейской улице и выказав "дружеское" расположение ко мне, он сказал, что специально прилетел из Москвы лишь для того, чтобы помочь мне выпутаться из этого дела. После этого он перешел к конкретному предложению. "Я хочу дать вам возможность доказать, что вы все же остались советским человеком, несмотря на то, что вы запутались или же вас запутали в сионистские дела. Но для этого, разумеется, мы должны вам верить. А поверить мы сможем лишь тогда, когда вы будете правдивы и искренни". Я его спрашиваю: "Что вы имеете в виду, о какой возможности вы говорите?" Он мне отвечает: "Нам хорошо известно, так же как и вам, что вы контактировали с работниками израильского посольства. И вы можете помочь нам разоблачить их — ведь они под личиной секретарей посольства, имея дипломатический иммунитет, занимаются подрывной деятельностью. А какой именно деятельностью, вам хорошо известно. Я еще раз повторяю, что для этого мы должны вам полностью верить. Вас надо освободить, и вы полетите с нами в Москву".

Я мог в то время ожидать от них всего, но только не такого. Я был прямо-таки ошеломлен их наглостью. Немного придя в себя, глядя ему в глаза, голосом, полным ненависти и брезгливости, я медленно и четко ответил: "По-моему, я не давал вам ни малейшего повода делать мне такие гнусные предложения". Дружеский тон его сразу исчез, и он перешел на грубую брань, полную угроз. Затем, немного успокоившись, он снова сделался миролюбивым и, мерно расхаживая по комнате, говорил почти нараспев: "Подумай, Анатолий, пока мосты еще не сожжены". Я ему сказал, что если он специально прилетел, чтобы сделать мне эти предложения, то его командировка себя не оправдала. — "Вы ошиблись адресом". На этом наш разговор закончился. Очевидно, тогда они сделали соответствующий вывод, так как в дальнейшем ни в тюрьме, ни на протяже-

нии всех шести лет лагеря мне ни разу никто не предлагал сотрудничества. А известно, что в лагере каждый начальник старается иметь своих стукачей — и начальник режима, и начальник оперативного отдела, и, конечно, отдел КГБ. Каждый начальник отряда тоже имел своих доносчиков. После окончания следствия КГБ пишет характеристику на заключенного, в которой отмечается степень его готовности доносить. Эта характеристика подшивается в дело, которое следует за заключенным до его освобождения, а затем уже изрядно распухшая папка хранится в архивах КГБ с пометкой "хранить вечно". Как я уже говорил, работники следственного отдела не отличались ни интеллектом, ни эрудицией. Их невежество доходило до анекдотического. Мой непосредственный следователь майор Кудров в паузах между вопросами рассказывал, что в прошлом он — офицер советской армии, а сейчас работает следователем и учится заочно в университете на юридическом факультете. Он исследовал мои записные книжки. В них, кроме фамилий знакомых, были названия книг с фамилиями авторов. Увидев фамилию Ожешко, он спрашивает: "Кто такой Ожешко?" Я ему говорю, что это не он, а она. "Какие у вас с ней были отношения?" Я говорю: "Книжные". "А, — заинтересовался он, — а какие же книги вы ей давали?" Встретился ему Уриэль Акоста. — "А это кто? Тоже израильский агент? Говорите прямо". Или: "А кто такой Кант?" — "Немецкий философ". Подумав, он спрашивает: "А где он проживает — в Западной Германии или в ГДР?"

Почти одновременно со мной были арестованы еще два человека. Один из них — спортсмен, простой малограмотный еврей, по профессии плотник, был неоднократным чемпионом республики по борьбе. Мы с ним были хорошо знакомы, но никаких дел у нас не было. Но однажды он, как я уже писал, поехал в Польшу на спортивные соревнования и привез литературу по еврейскому вопросу. Некоторым минским евреям, которые до войны были польскими подданными, удалось уехать в Польшу, а оттуда уже в Израиль, в Польше они его встретили и передали книги, брошюры, газеты из Израиля и Франции на русском, идиш и иврите. На следствии чисто случайно наши показания совпали. Я говорил, что ему просто передали для меня посылочку, и он даже

в нее не заглядывал, а привез и передал мне. Он говорил то же самое, хотя мы с ним не договаривались об этом. Это ему на суде очень помогло. Второй мой поделщик был врач, на два года старше меня. Он был сыном старого коммуниста с подпольным стажем. Мы с ним были дружны, и он многое знал о моих делах. Но далеко не все. И это в дальнейшем спасло меня от многих тяжких обвинений. Одно время он проявлял большой интерес к еврейскому вопросу. Хотя сионистом его назвать нельзя было, но он был на пути к сионизму. Он много читал, слушал свободное радио, и мы постоянно обменивались информацией. Я давал ему литературу, и он распространял ее среди своих знакомых. Но когда его арестовали, он сразу раскис и раскололся. На следствии он рассказал все, что только знал и помнил. Кроме того, он написал покаянное письмо в ЦК КПБ. Когда на следствии он узнал о других делах, о которых прежде не слышал, то он еще больше испугался, всячески старался отмежеваться от меня и всю вину валил на меня. Я, в свою очередь, все обвинения, которые были доказаны, брал на себя, говорил, что это я его уговаривал делать то или иное, я ему давал литературу, что вся вина за его действия лежит на мне. Вопрос стоял не лично о нем. Я знал, что на нас смотрят как на представителей евреев, евреев-сионистов. И когда я на следствии узнавал, как он себя вел, как старался своими показаниями угодить следователям, мне становилось стыдно, что он еврей. Он единственный дал показания о том, что я собирался совершить покушение на Хрущева. Он рассказал, что я просил у него цианистый калий, чтобы заложить его в пулю, которая предназначалась для Хрущева, а также ампулы с цианистым калием для себя, которые я собирался защитить в лацканы пиджака; а если бы мне не удалось после совершения покушения выстрелить себе в рот, то я должен был раздавить ампулу зубами.

Кроме агентурных данных, у КГБ были по обвинению лишь показания этого врача. Его трусливое поведение на следствии еще больше ожесточило меня, и я всячески старался показать кагебистам, что не все евреи такие, не все евреи трусы, не все евреи предают своих друзей. И на следствии, и в лагере я постоянно чувствовал, что на меня смотрят не как на человека по фамилии Рубин, а как на

представителя определенной национальности, отношение к которой было, мягко выражаясь, весьма тенденциозным. Постоянно чувствуя это, я всегда находился в напряжении, всегда у меня было повышенное чувство ответственности, которое заставляло меня держаться с достоинством, всегда стараться показать, что евреи не трусы, не предатели и не приспособленцы.

Еще в начале следствия при заполнении анкеты надо было ответить на вопрос о знании языков. Я сказал, что мой родной язык — еврейский, хотя я его не знал. Надо было видеть выражение лица следователя, когда я назвал русский язык для себя иностранным.

Постепенно прояснялось, в чем они хотят меня обвинить, что им известно и как они стараются заполнять пробелы, чтобы дело получилось цельным и логичным. Иногда их фантазия доходила до абсурда, и чувствовалось, что они стараются раздуть дело и обязательно включить в него работников израильского посольства. На одном из допросов начальник следственного отдела говорил: "Зачем вы пытаетесь увилывать? Ведь никто вам не поможет, весь ваш план действий находится у нас на столе. Если вы не хотите рассказать, то другие люди, связанные с вами, рассказали. Вы этим вредите лишь себе, а нам и без ваших показаний все ясно". И далее: "Мы хотели лишь проверить, осознали ли вы хоть сейчас, что вы хотели натворить". И он начал излагать мой "план". Будто бы первоначально я получил инструкцию о покушении на израильское посольство, затем из Польши вместе с литературой я получил уже от разведки другого, заинтересованного государства — какого, он не сказал — конкретный план действий. И еще через какие-то каналы я получил оружие, через какие именно, он тоже не сказал. Я у него спросил: "А где же находится это оружие?" Мне было ясно, что они ничего не нашли, ибо если бы нашли оружие, то давно бы мне его предъявили. Он мне отвечает: "Об оружии нам так же хорошо известно, как и вам". Однажды следователь, подойдя ко мне почти вплотную, с ехидной улыбкой спрашивает: "Скажите мне, Рубин, а почему вы все-таки остались живы во время войны? Ведь вашего брата немцы поголовно уничтожали. Почему же они сделали для вас исключение?" С трудом сдерживая гнев, я ему ответил:

”К вашему сожалению, всех евреев уничтожить невозможно. Мы пережили многие народы, переживем и вас”.

Я чувствовал, что они особо стараются обвинить меня в попытке покушения на Хрущева. Кроме статьи о покушении, на следствии у меня были статьи ”измена родине” и ”антисоветская пропаганда”. Сионистская пропаганда и национализм включались в последнюю статью. И была еще отдельная статья – ”групповая”. Я понимал всю серьезность обвинения в покушении – Хрущев в то время был в зените своего могущества. Учитывая, с какой настойчивостью КГБ копал в этом направлении, я настроил себя на самое худшее. Именно потому, что я уже настроился на вышку, я был абсолютно спокоен, так как хуже этого уже не будет. Это помогло мне держаться уверенно и с достоинством. Позже, когда я почувствовал, что они не смогут доказать обвинение в покушении, у меня появилась надежда, что я ”отделаюсь” максимальным сроком заключения. Обвинение в измене родине тоже не было доказано и отпало в ходе следствия. Во время моего следствия вышел новый уголовный кодекс, и номера моих статей были соответственно изменены. Если в обвинениях в измене родине и покушении на Хрущева следователям приходилось туго, так как они никак не могли свести концы с концами, то для обвинения в антисоветской пропаганде у них материала было больше чем достаточно. И найденная литература, и показания свидетелей – всего этого вполне хватало, чтобы передать дело в суд. Ко всему еще статья была ”групповая”, которая сама по себе не предусматривает наказания, но значительно утяжеляет основное обвинение. К концу следствия мое дело составляло шесть томов.

Ну и загнул пролетарский писатель

На одном из допросов мне предъявили обвинение в том, что у меня найдена рукопись, которая была проникнута буржуазным национализмом и в которой я злобно клеветал на русский народ. Я спросил у них, что это за рукопись. Они показали мне ее. Это оказалась переписанная мною брошюра

Горького "Об антисемитизме". Я им говорю: "Позвольте, какая же это моя рукопись, ведь это брошюра Максима Горького, которую я просто переписал". Они возмутились: "Как ты смеешь клеветать на великого русского писателя!" Я им указал точно, где я достал эту брошюру, а именно, в Центральной библиотеке им. Ленина, в читальном зале. На дом ее не давали и поэтому пришлось ее переписать. Два дня они не упоминали о ней, а на третий день мне следователь говорит: "А ты знаешь, с брошюрой-то ты был прав. Ее действительно написал Горький, ну и загнул же наш пролетарский писатель. Так клеветать на свой народ. Вероятно, когда он писал ее, то был здорово поддавшимся" — и он сделал выразительный жест — щелчок по подбородку. По существующему законодательству, в конце следствия обвиняемый должен ознакомиться со всеми следственными материалами, кроме, разумеется, агентурных. После этого он должен подписать статью 206. В моем деле была перепечатанная целиком брошюрка Горького. Был приложен и мой переписанный экземпляр.

Интересно, что теперь каждый из работников следствия, тюрьмы или суда старался показать, что он лично ничего против меня не имеет, но удовлетворение какой-либо моей просьбы или решение моей судьбы зависит не от него, а от кого-то другого. Например, когда я просил начальника тюрьмы, чтобы мне разрешили читать газеты, то он мне отвечал, что это зависит не от него, что в его функции входит лишь охранять меня, и если следственный отдел разрешит, то, пожалуйста, он готов ежедневно снабжать меня свежими газетами. Следственный отдел на эту же просьбу отвечал, что он занимается лишь ведением следствия, а чем я занимаюсь в камере — это уже дело начальника тюрьмы, и разрешить газеты зависит только от него. Или же следователь мне часто говорил, что их задача — проведение следствия и выяснение сути дела, а решает мою судьбу уже суд. Если бы это зависело от них, они ограничились бы следствием и тем временем, что я находился в тюрьме во время следствия, так как, по его мнению, долгие годы заключения не изменяют человека, а лишь еще больше озлобляют. На суде же, когда я что-нибудь оспаривал, председатель суда говорил: "Видите ли, мы ведь следствия не вели, нам дали

готовые материалы, и мы обязаны на основании их вынести свое решение. Мы-то сами ничего не выдумываем, так что все ваши претензии адресуйте в следственный отдел”.

Я уже писал, что на следствие вызывали около 80 свидетелей. Когда я, прежде чем подписать 206-ю статью, ознакомился с делом, я прочел все допросы свидетелей. Им показывали бумагу с четырьмя фотографиями, одна из которых была моя. Вначале им предлагали определить, кого из четырех они знают, а затем следовали вопросы. Нужно было назвать мою фамилию, имя, когда со мной познакомились и при каких обстоятельствах, наши отношения, о чем разговаривали и мое направление мыслей, и так далее.

Среди моих друзей был человек, занимавший очень высокий пост. На протяжении всех послевоенных лет он был первым заместителем министра Белоруссии. Он продержался при всех чистках и гонениях даже в период расцвета антисемитизма. Мы были с ним действительно очень дружны, я часто бывал у них дома и дружил со всей его семьей. Больше всего я боялся, что его могут втянуть в это дело. Целый месяц они пытались мне внушить, что им уже все равно все известно и что главным виновником является он, что это под его влиянием я встал на преступный путь, и что стоит мне лишь сказать слово, и я пойду домой. Я чувствовал, что они стараются пришить его к моему делу, чтобы оно приобрело еще больший вес. Приходили какие-то аппаратчики ЦК КПБ и буквально упрячивали меня сказать что-нибудь о нем. Просили хотя бы рассказать им так, не для протокола. Меня спрашивали: “Ну почему вы его так защищаете?” А я отвечал им, что мне не от чего его защищать, а если я его от чего-нибудь и защищаю, так разве что от их клеветы. Так им и не удалось втянуть его в мое дело. Позже я узнал, что к нему все же придрались, сняли с высокого поста и перевели на второстепенную работу.

Следствие подходило к концу. Читая в конце следствия все материалы, я понял, как тщательно они следили за мной в течение полутора лет. Я часто ездил по разным городам на спортивные соревнования, и всегда меня опекал их представитель. Все люди, с которыми я случайно знакомился в вагоне, в гостинице, на пляже, которых я даже не помнил — все они были допрошены. На следствии я узнал, что все

работники израильского посольства находились под неусыпным оком КГБ. На один из запросов из Москвы была прислана подробная справка о некоторых работниках израильского посольства со всеми их биографическими данными, и многое о них я узнал именно из этих справок, которые читал, подписывая 206-ю. Большая часть изъятой литературы была послана в Москву на идеологическую экспертизу. Самые безобидные брошюры по экономике, культуре, спорту определялись экспертизой как идеологически вредная литература, не предназначенная для широкого пользования. Когда я говорил своему следователю: "Позвольте, где же тут "антисоветчина", когда здесь Советский Союз ни одним словом не упоминается", мне отвечали: "Да, мы знаем, у сионистов пропаганда тонкая, у них имеется большой опыт отравлять сознание людей. Вот посмотрите на эту брошюру, как здесь преподносится израильская действительность. В хвалебном тоне? В хвалебном, а Израиль, как известно, буржуазное государство, значит здесь восхваляется буржуазное государство. А если вы восхваляли буржуазное государство, то этим самым порочили социалистическое государство. Вот вам и антисоветчина". Такова их железная логика. И еще об их логике. Однажды следователь говорит: "Ну какой у нас антисемитизм! Разве у нас есть черта оседлости, как в царской России, или мы уничтожаем евреев в газовых камерах, как это делали гитлеровцы? Вот это антисемитизм, но у нас ведь всего этого нет".

К концу следствия мне предложили взять адвоката. Я сказал, что буду себя защищать сам, так как знал, что в таких делах адвокат ничем не поможет. Мне на это возразили, что поскольку есть обвинение, то должна быть и защита. Если я не выберу адвоката сам, то они мне его назначат. Когда же я назвал фамилию адвоката, с которым я был хорошо знаком, то мне было сказано, что к таким делам не каждый адвокат может быть допущен, а есть определенный список адвокатов, которые имеют допуск к делам, следствие по которым ведет КГБ. Мне пришлось согласиться. Мне назначили адвоката, который являлся председателем Коллегии адвокатов БССР.

Следствие продолжалось пять месяцев. Месяца четыре из них я находился в камере-одиночке. Особенно тоскливо

тянулись выходные дни и праздники, когда целыми сутками не с кем было слово перемолвить. Целыми днями я маячил взад и вперед, играл сам с собой в шахматы и шашки или просматривал классическое советское чтиво вроде Ажаева, Бабаевского, Шолохова. На все мои просьбы дать почитать настоящую литературу мне отвечали, что это и есть настоящая литература, только она может меня перевоспитать, если вообще меня можно еще перевоспитать. Они говорили, что литература — это для меня лекарство. Но меня почему-то от этого лекарства тошнило. Около недели сидел со мной еврей, морской офицер, который в конце 40-х годов служил на Дальнем Востоке, был в Китае и там познакомился с каким-то иностранцем. В результате этого знакомства у него появилась статья "шпионаж". Более двух недель сидел со мной белорус из Гродно. До войны он служил в польской армии, в войну попал в советский плен, затем был в советском лагере возле знаменитых Катынских лесов. Ему повезло — его вместе с другими пленными отправили в архангельские лагеря. В начале войны он был отправлен в армию Андерса, которая из Средней Азии через Иран дошла до Палестины и Египта, участвовал в освобождении Италии, там же после войны окончил школу разведчиков и был заслан в Советский Союз под видом резмигранта. Он жил и работал около 10 лет в Гродно. Попался на какой-то мелочи. Обо всем этом он мне рассказал со многими подробностями, так как следствию уже все было известно, и он сам во всем признался. Его дальнейшая судьба, так же, как и судьба первого сокамерника, мне неизвестна.

Суд отступает от решения "предварительного судебного заседания"

Наконец мне объявили, что суд состоится 28 апреля, а судить меня будет Верховный суд БССР. Мне вручили обвинительное заключение, дали бумагу и карандаш, чтобы я мог подготовиться к защите. Тогда я еще надеялся, что суд будет открытым, и я смогу использовать его трибуну для защиты своих взглядов. Но оказалось, что кроме судей,

защитников, прокурора и конвоя никого в зале заседаний не было. 28 апреля утром ко мне пришел парикмахер, который тщательно постриг меня и побрил, затем принесли утюг и предложили отутюжить костюм, мне вернули даже мой галстук, изъятый после ареста. После завтрака меня привели в отдельную комнату и там передали охраннику из войск МВД, который должен был сопровождать меня на суд. Офицер спросил мою фамилию и все мои данные, тщательно сверяя их по моему делу, которое держал в руках. Охранники раздели меня, тщательно обыскали, после этого вывели во двор. Там уже ждал воронок. Меня заперли в один из боксов, и машина тронулась. В полу бокса была щель, через которую я видел мостовую. И по тому, какова она была, — мощеная булыжником, клинкером или покрытая асфальтом, — я примерно знал, по каким улицам мы едем. Минут через 15 машина остановилась, еще через 5 минут дверь раскрылась и меня выпустили. Последовала команда: "руки назад, не разговаривать, по сторонам не смотреть", — и меня провели в здание суда через черный ход. В коридоре стояло много знакомых, друзей и родственников. У большинства из них лица были испуганные, взволнованные, а у женщин заплаканные. Я поздоровался с ними и старался держаться весело и непринужденно. Меня ввели в отгороженное место со скамьей подсудимых. Там уже сидели оба моих подельника. Ряды в зале были совершенно пусты. После формальной проверки, являемся ли мы в самом деле теми, кто им нужен, суд начал свою работу. Председателем суда был зампредседателя Верховного суда БССР Абушкевич. На вопрос, признаю ли я себя виновным, я ответил: "Нет, не признаю". Подельники себя виновными признали. На вопрос: "А как же с антисоветской литературой, которая была у вас изъята?", я ответил, что литература действительно моя, но я не считаю ее антисоветской и потому по этому пункту виновным себя не признаю. Адвокаты моих подельников сваливали всю вину на меня. Мой же адвокат признал, что я совершил преступление, и преступление очень серьезное, но старался смягчить наказание с помощью моей биографии. Мол, во время войны я находился в гетто, в 13 лет остался один, всю мою семью уничтожили нацисты-антисемиты и поэтому у меня такая повышенная чувствительность к

антисемитизму. И сталкиваясь с отдельными хулиганами-антисемитами, я делал неверные выводы и обобщения. Кроме того, он обвинял еще сионистскую пропаганду, которая ловит подобных мне идеологически неустойчивых людей.

Вызвали около 20 свидетелей – лишь тех, которые давали показания, подтверждающие обвинение. Свидетелей вызывали по одному. Некоторые из них отказались от своих прежних показаний, объясняя это тем, что их запугивали и держали по шесть-восемь часов на допросах. Прокурор Вербицкий начал свою речь с истории евреев в Советском Союзе. Он перечислил евреев, занимающих ответственные посты. Назвал число генералов и ученых, героев Советского Союза и героев соц. труда, подробно перечислил, что и сколько дала мне советская власть. Затем он обрушился на сионизм и государство Израиль и лишь после этого перешел к моему делу. Особо он остановился на обвинении в намерении осуществить покушение на Хрущева. Сопровождая свою речь театральными жестами, он патетически говорил: "Знаем, как вы тщательно отработывали свои движения до автоматизма для совершения преступления!" И тут же имитировал два выстрела вперед, выстрел себе в рот, а затем, как я хотел раздавить ампулу с цианистым калием, зашитую в лацкан рубахи. На протяжении своей речи он неоднократно разрешал себе грубые антисемитские выпады. Даже председатель суда вынужден был его останавливать. Весь раскрасневшийся, с пеной у рта он кричал: "Вам советская власть дала образование, воспитала, дала работу в столице Белорусской Республики, я подчеркиваю, Белорусской, а не еврейской!" В конце своей речи он сказал: "Так как попытка покушения не была претворена в действие, а было лишь намерение, то покушение снимается, но намерение будет одним из пунктов обвинения по статье 70 УКБ" (Уголовный кодекс Белоруссии). В заключение он потребовал приговорить меня как организатора этой преступной группы, как человека, имеющего высшее образование, который встал на преступный путь не по своему невежеству, а осознанно, – к пяти годам заключения в исправительно-трудовых лагерях. Моему подельнику-врачу он потребовал два года, мотивируя этот относительно небольшой срок тем, что тот до ареста был членом КПСС, исключен из партии только

сейчас, и это само по себе является тяжким наказанием для него. О моем втором подельнике прокурор сказал, что он был пассивной фигурой в нашей группе, и потребовал для него всего шесть месяцев заключения, а так как он отсидел уже пять, то ему оставался лишь месяц. Мой адвокат, как я уже писал, почти полностью был согласен с обвинением, но просил учесть мою биографию и положительную характеристику с работы и ограничиться минимальным сроком. Интересно, что когда характеристика была отрицательной, судья говорил: "Вот видите, он и на работе проявил свое отношение к советской власти. Плохо работал, не принимал участия в общественной жизни коллектива, был неуживчив и так далее". Если же характеристика была положительной, то: "Понятно, это он специально, чтобы войти в доверие к коллективу, расположить к себе сотрудников, старался хорошо работать, занимался общественной деятельностью и под покровом хорошего отношения занимался своей преступной деятельностью".

Когда прокурор потребовал для меня 5 лет заключения, я был удивлен. Правда, еще накануне суда меня на следствии познакомили с новым кодексом, по которому по статье 70 УКБ давали от 6 месяцев до 7 лет. Здесь же, когда я узнал, что статья о покушении снята, а статья об измене родине еще на следствии была снята, и осталась лишь одна статья с предельным сроком 7 лет, то я ожидал, что получу по этой статье на всю катушку. После того, что я ожидал сразу после ареста, мне это казалось детским сроком. Все зависит от того, как себя настроишь. Когда прокурор просил для меня 5 лет, я знал, что обычно обвинитель требует с запасом, и, как правило, суд выносит приговор несколько мягче требования прокурора, поэтому я рассчитывал, что получу три-четыре года.

В своем последнем слове я продолжал отстаивать свои позиции, говорил о государственном антисемитизме в Советском Союзе, о подавлении всякой национальной жизни евреев, о насильственной ассимиляции и что моя конечная цель — выехать на свою родину — в Израиль. Мой адвокат был шокирован моим последним словом, так как в перерывах между судебными заседаниями он меня уговаривал признать себя виновным, сказать, что я заблуждался, и

просить прощения. Суд продолжался 2 дня. Адвокат говорил мне, а позже моим родственникам, что на предварительном судебном заседании (интересно, насколько это действие процессуально!) было решено дать мне 3 года. Суд удалился на совещание. Через час с небольшим судебная тройка вновь вошла в зал заседания и предложила всем встать – председатель суда зачитал приговор. После перечисления обвинений в антисоветской пропаганде, распространении сионистской литературы, преступной связи с работниками израильского посольства, в террористических намерениях по отношению к одному из руководителей партии и правительства, во встречах с иностранными туристами и в клевете на советскую действительность – суд приговаривает меня к 6 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях. Так как судил меня Верховный суд БССР, то приговор обжалованию не подлежал. Мне показалось, что они оговорились, я не ожидал, что они могут приговорить к сроку даже большему, чем требовал прокурор. Но оказалось, что это не оговорка. Одному подельнику дали 2 года, а второму – 6 месяцев. Я был подавлен неожиданным приговором и упрекал себя за то, что настроился на 3–4 года. Когда еще на следствии я понял, что они не докажут обвинения в покушении на убийство, а значит, не приговорят меня к высшей мере наказания, хотя и дадут предельный срок 25 лет, у меня было гораздо лучшее настроение, чем сейчас, когда я получил всего 6 лет. Позже адвокат сказал моим родным, что 6 лет мне дали, как ему объяснил председатель суда, за дерзкое поведение на суде и отстаивание своих преступных взглядов.

ВТОРОЙ СРОК

Этап

Приговор мне вынесли 29 апреля. Я не имел права обжаловать его, и меня должны были сразу же отправить в лагерь. Но был канун Первомайских праздников, и мне пришлось пробыть еще несколько дней в тюрьме. Тюрьма, как я уже

писал, находилась в центре города на проспекте Ленина. И, сидя в эти дни после приговора в камере-одиночке, я отчетливо слышал все, что происходило на улице. Я находился всего метрах в 60 от Первомайского парада, но мне казалось, что я где-то в другом мире, так все это было далеко и чуждо мне. После праздников рано утром открылась кормушка, показалась часть чьей-то физиономии, которая приказала: "Рубин, собирайся с вещами!" Меня вывели в специальную комнату, там меня ожидал офицер войск МВД с моим делом. Снова проверки, обыск — и меня повели к ожидавшему во дворе воронку. Один из моих поделщиков остался в тюрьме досаживать оставшиеся ему недели, а второго отправили другим этапом. В дальнейшем ни на пересылках, ни в лагерях мы с ним не встречались. Не знаю, по его ли просьбе, но администрация решила держать нас порознь — как бы я не вздумал ему мстить за его поведение на следствии и суде. Из двух лет он отсидел полтора и был досрочно освобожден.

Воронок отвез меня к "столыпину", который стоял на запасном пути. В вагоне меня снова проверили и отвели в купе. Там уже было человек 12, а так как я был последним, то мне пришлось лезть наверх. Вагон стоял еще часа 3, потом я почувствовал, как его прицепили к составу. И вагон, и охрана были мне знакомы с прежних времен. Разница была в том, что тогда и в тюрьме, и в вагонах было засилье уголовников, а сейчас со мной были лишь политические, так что атмосфера была лучше. Кормили по-прежнему селедкой, в воде ограничивали, в туалет водили всего 2 раза в сутки. И сейчас, как и 10 лет назад, на все просьбы следовал один и тот же ответ — "не положено". Так мы доехали до Москвы. Вагон наш отцепили и откатали куда-то подальше от людских глаз. Там нас перегрузили в воронки и отправили в пересыльную тюрьму на Красную Пресню. Это была огромная многоэтажная тюрьма, битком набитая заключенными. Прежде всего нас повели в баню, и там меня впервые постригли наголо, побрили во всех местах, прожарили одежду, и я стал санитарно обработанным заключенным. После бани нас развели по камерам. В пересылке были корпуса уголовников и корпуса политических. В камере были двухэтажные нары, на них лежали вповалку с мешка-

ми, чемоданами и узлами. Часть ехала в обратном направлении из лагерей в тюрьмы, или на переследствие, или же свидетелями на другие процессы. Тут я впервые узнал о мордовских лагерях. Пересылка всегда отличается от обычной тюрьмы своим динамизмом — ежедневно кого-то увозят, кого-то приводят. Несколько раз меня почему-то переводили из камеры в камеру. Благодаря этому разнообразию время проходило быстрее. С другой стороны, хотелось узнать, куда меня отправят. Кто там, какие условия? Незнание тяготило.

Мордовские лагеря

Через 3 недели наконец-то меня вызвали с вещами. Слава Богу — этап. Я опять в который раз прошел все процедуры — проверку, обыск, затем воронок, "столыпин" и первая станция в Мордовии — Потьма. В Потьме находилась местная пересыльная тюрьма, куда направляли со всех концов страны. Тут были и политические, и немецкие военнопленные, часть которых еще держали как военных преступников после большой амнистии 1956 года. Были и уголовники разных мастей. Мордовские лагеря были одними из самых старых лагерей Страны Советов. Они росли, развивались и укреплялись вместе с советской властью. Мордовские Темники, так же как Соловки и Воркута, стали символом советского режима. Вся система лагерей именуется Дубровлаг, она включает в себя целую сеть отдельных лагерных зон. Внутренняя железнодорожная ветка соединяет все эти зоны между собой. Когда-то вся эта область была запретной зоной, куда без специального пропуска никого не пускали. Местное население — мордвины — сотрудничает с лагерной администрацией и с войсками МВД, которые охраняют эти лагеря. Если где-нибудь побег, местное население мобилизуется на поиски. Вся область разбита на участки, и по тревоге каждый занимает свое место, и таким образом всеходы и выходы из Дубровлага перекрываются. Большинство лагерных надзирателей — местные уроженцы. Многие работают по 20–30 лет на одном месте. Перед их глазами и

через их руки прошли многие тысячи заключенных разных времен. Некоторые из них выдвинулись даже в офицеры, как например, известный начальник режима третьего лагпункта Кицаев. (О нем еще будет речь). Но высшее начальство, как правило, присылалось из центра. Оно довольно часто менялось. На станции Явас находилось управление Дубровлага, которое координировало работу всех зон и постоянно перетасовывало заключенных, переводя их из зоны в зону. Как правило, заключенные долго не оставались в одной зоне — как бы они, не дай Бог, не создали какую-нибудь организацию. Управление контролировало работу заключенных на предприятиях, политико-воспитательную работу, иногда совершало инспекцию в зоны.

За жидов сидим

Меня направили сразу в 11-ый лагпункт. Он находился на станции Явас под боком у начальства. Из-за этого-то в этой зоне старались соблюдать большой порядок (порядок в понимании местного начальства), строже соблюдалась буква законов и инструкций по ограничению прав заключенных. Состав заключенных в лагере был очень пестрым. Основная масса состояла из военных преступников, притом не рядовых полицаев, власовцев и самоохраны, большинство которых было амнистировано в 1956 году. Это были "сливки" — начальники полиции, начальники следственных отделов гестапо. У каждого из них на счету были сотни и тысячи убитых и, разумеется, в основном евреев. Когда их спрашивали: "За что сидишь?", — они отвечали: "За жидов". Вначале, когда я слышал это, я наивно думал, что то ли какие-то евреи их предали, то ли евреи были среди чекистов или судей, но потом оказалось, что вся вина евреев в том, что они существовали, и, так как они существовали, то их пришлось убивать. Не было бы евреев, то они бы их не убивали и сейчас не сидели бы. Такова их логика, очень схожая с логикой чекистов. Эти люди были основной опорой местной администрации. Они занимали все теплые местечки в лагере. Они были дневальными в бараках, бригадирами, нарядчиками, работали в хлеборезках и на кухне. Из них же

вербовали большинство стукачей. До войны многие из них были активистами в советских органах власти. Во время войны они рьяно выслуживались перед немцами. Они выполняли самую грязную работу в наведении нового порядка. После войны, когда их арестовали, они так же рьяно служили чекистам, продавая всех и вся. Главное — выжить, выжить любым путем, любыми средствами. У лагерного начальства был подход чисто прагматический. Кто бы ни предлагал свои услуги, они охотно принимали, не брезгуя никем и ничем. Самая большая группа заключенных — украинцы. Большая часть их — бендеровцы, которые в войну воевали и против советской власти, и против немцев за самостийную Украину. Мельниковцы, которые всецело были на стороне немцев. Просто полицаи и гестаповцы из печально известных карательных отрядов, которым Украины было мало, и они свирепствовали и в Белоруссии, и в Польше, и в немецких концлагерях. Была большая группа литовцев. Были националисты Латвии, Эстонии, Кавказа. Были местные немцы и немецкие военные преступники, которые вначале находились на седьмом лагпункте, а затем их всех перевели в отдельную зону для иностранных подданных.

В то время началось движение либералов, или, как их тогда называли, ревизионистов. В основном это были студенты. Первый результат этого движения — их представители находились во многих зонах мордовских лагерей. Движение это было весьма пестрым. Были и сторонники либерализации югославского типа. Некоторые хотели либерализацию по образцу начального периода гомулковской Польши, но почти все они стояли на марксистских позициях. Между ними происходили постоянные споры, доходившие иногда до открытой вражды. Почти всех ревизионистов, и не только ревизионистов, объединяло неприятие существующего строя. Но когда начинали предлагать взамен нечто позитивное, тут начинались споры. Многие из них часто меняли свои взгляды, а некоторые кидались из одной крайности к другой, от ревизионизма к монархии, от демократии к фашизму. Были и группы молодых откровенных русских нацистов, у которых вся их программа переустройства страны зиждилась на животной ненависти к евреям. Между

собой они спорили лишь о том, как лучше решить еврейский вопрос — построить ли для евреев в Сибири концлагеря немецкого типа, изгнать ли их из России или же просто пропустить через газовые камеры. На суде они открыто требовали очистить Россию от жидов. В лагере они постоянно занимались открытой антисемитской пропагандой. Администрация на все это смотрела сквозь пальцы, но если сходились 2—3 еврея, то она сразу поднимала крик о сионистских группировках. Разумеется, эти русские нацисты вдобавок к пропаганде не прочь бы и почесать руки об евреев. Но психология антисемитов известна — если они знают, что получают по голове, то ограничиваются злобным шипением. У нас было достаточно сил, чтобы их поставить на место, и они об этом хорошо знали. С другой стороны, никто из нас никогда не жаловался и не доносил на них, хотя материала было более чем достаточно. Это не потому, что боялись или жалели их — просто доноительство было нам чуждо и противно.

Было много молодых ребят, даже школьников, у которых еще не сформировались определенные взгляды, не было никакой идеологической базы. Они просто выражали свой протест против действий советских лидеров в то бурное послесталинское время. Один, например, во время первомайской демонстрации развернул плакат "Руки прочь от Венгрии". Это стоило ему трех лет. Другой дерзнул выступить на собрании по международным вопросам против течения. Третий написал и наклеил на столб наивную листовку. В лагере они примыкали к группам, которые казались им более привлекательными. Многие из них были детьми коммунистов, занимающих весьма высокие посты. Иногда их родители становились волей или неволей участниками их ареста. Помню, был один парнишка, сын крупного советского офицера. Когда в КГБ пронюхали, что он занимается чем-то недозволенным, но доказать этого не могли, то вызвали его мать и предложили ей "помочь им спасти ее сына", а иначе он окажется в тюрьме. Они предложили ей собрать все бумаги сына, записи, все компрометирующие материалы и принести им. Наивная мать "для спасения" своего сына так и сделала. И вот все эти материалы оказались в руках КГБ. В тот же день ее сын был арестован,

а затем получил 5 лет лагеря. Когда мальчишка узнал, кто его посадил, он отказался от своих родителей. Он отказывался получать их письма и посылки и жил только на лагерной пайке. Мать приезжала в лагерь. Ей давали свидание с сыном, но он категорически отказался идти на него. Можно представить себе состояние матери, которая собственными руками посадила своего единственного сына. В лагерной зоне находилась также группа бериевцев. Это были высшие офицеры и генералы КГБ, которые проходили по делу Берии и его помощников. Среди них было много грузин. Все бериевцы получили максимальный срок – 25 лет. В лагере все они были на привилегированном положении. Их всегда устраивали на тепленькие местечки – в библиотеки, на склады, в магазины, в бухгалтерии. Был среди них один армянин, старый чекист, который в своих жалобах постоянно доказывал, что в большинстве приказов об аресте крупных руководящих работников Армении его подпись всегда стояла ниже подписи Микояна. А теперь, мол, Микоян сидит в Кремле, а он в тюрьме. Впоследствии он сошел с ума и занялся изобретательством. Он сооружал миниатюрные ткацкие станки, и, надо сказать, весьма удачно. Он ткал на них узкие ленточки разных тканей. Потом он посылал Хрущеву рационализаторские предложения. На Кавказе, писал он, пасется несметное количество овец. Для охраны их приходится содержать огромное количество пастухов и специально обученных собак, что обходится государству весьма дорого. Так не проще ли скрестить овцу с собакой? Получившийся гибрид будет пастись и сам себя охранять.

В каком другом месте на земле могла образоваться такая человеческая смесь? Выходцы из разных стран, разных социальных слоев, безграмотные крестьяне и крупные научные работники, ярые нацисты и не менее ярые коммунисты, религиозные фанатики и убежденные атеисты, тупая чернь и старые аристократы, представители самых разных национальностей и народов. Особо нужно отметить огромное число сидевших за свои религиозные убеждения. Среди них были свидетели Иеговы, субботники, пятидесятники, католики-священнослужители из Литвы, униаты, ИПЦ (истинно-православная церковь), ИПХ (истинно-православные христиане, не признающие официальную советскую

церковь). Были и сионисты-христиане, и еще разные секты, которых я уже не помню. Большинство — малограмотные и фанатически верующие люди, но были и высокообразованные — католические священники, представители униатской церкви, в том числе и митрополит Слипый.

Была значительная группа убежденных коммунистов, бывших ответственными работниками, которые во время борьбы за власть между Хрущевым и "антипартийной группой" пошли не в масть. Они писали анонимные письма в ЦК в поддержку группы Молотова, Маленкова и Кагановича. И так как их флюгер повернулся не по ветру, они получили по 3—5 лет. Были такие, которых возмущало все, что им приходилось видеть за кулисами, в личной жизни избранников народа. Сидел с ними бывший командир партизанского отряда Белоруссии. Он был известным партизаном, Героем Советского Союза, в свое время о нем слагали песни. После войны он работал в Кремле, заведовал строительством квартир, дач и вилл для своих кремлевских хозяев. Это было время, когда многие семьи имели по одной комнате, многие жили еще в бараках. У Фурцевой в то время кроме прекрасной квартиры в Москве были дачи в Подмосковье и на Черном море. Однажды, как он рассказывал, она взобралась на какую-то скалу у Черного моря и потребовала, чтобы он построил ей в этой скале с великолепным видом на море домик и спортивную площадку. Все это должно было стоить огромных денег. Его это разозлило, и он написал жалобу Хрущеву, в которой показал, как растрачиваются народные средства. Месяца через два его вызвал к себе тогдашний глава ГБ Серов, а уже оттуда его увели под стражу. Ему дали 5 лет за клевету на государственных и политических деятелей Советского Союза.

Были еще перебежчики, которых обманым путем возвращали обратно в Советский Союз или же просто выкрадывали. Им посылали письма, которые писали их родственники под диктовку в кабинетах КГБ. Их убеждали, что если они вернуться, то уже этим самым искупят свою вину перед родиной. Были случаи, когда они назад возвращались вместе с Громыко или другими крупными советскими чиновниками — послами, дипломатами. Те им лично обещали, что их не посадят, если только они вернуться домой. Но как только

они пересекали советскую границу, тон резко менялся, и с ними уже разговаривали как с изменниками родины. Были такие, которых сразу не сажали, а сначала выжимали из них все что можно для советской пропаганды. Они потом рассказывали, что тексты их выступлений были написаны в КГБ, они должны были лишь читать их и рассказывать всякие небылицы о том, как с ними обращались за границей, как их вербовали в ЦРУ, и обо всех ужасах жизни при капитализме. И лишь после всего этого их осуждали на полный срок. Так было и с моряками танкера "Туапсе", и с другими невозвращенцами, которых в конце концов разными хитростями заманивали обратно в Союз.

Мы ведь с вами русские люди

В мордовских лагерях евреев было около пятнадцати процентов. Сидели они за разные "преступления". Почти во всех ревизионистских группах были и евреи, которые еще не извлекли урок из ошибок своих отцов и дедов и наивно пытались изменить антисемитскую сущность России. Интересно, что многие неевреи из этих группировок мне рассказывали, как чекисты всячески старались пробудить в них антисемитские инстинкты и заставить свалить основную вину на евреев. Допрос начинался с вступления, насыщенного самыми грубыми антисемитскими выпадами. Слово "еврей" они даже не употребляли, а говорили "жид". "Ведь вы же русский человек. Мы ведь с вами русские люди! Что у вас с ними, с этими жидами, общего? Ведь это инородное тело в нашем организме. Сколько волка ни корми, он все в свой лес, то бишь в Израиль, смотрит. Вот смотрите, как они вас предали". И агентурные данные об этом парне они преподносили так, как будто они их получали от его подельника-еврея. В некоторых случаях они прямо предлагали свалить всю вину на еврея и сделать его главным обвиняемым в процессе, даже если он имел лишь косвенное отношение к делу. Некоторые из русских ребят оказывались на высоте и не соглашались на эти гнусные предложения. Разумеется, тот, кто шел на эту сделку, об этом потом не

рассказывал. Были в лагере и еврей-одиночки, которые писали об антисемитизме и открыто им возмущались. За эту "клевету" они тоже получали от трех до восьми лет. И, наконец, были евреи, сидевшие за сионистскую деятельность.

Сионисты были из разных концов России — из Москвы, Ленинграда, Риги, Киева и других городов. Самое отрадное, что среди них была и молодежь. Это была первая разведка боем новой сионистской поросли после того, как, казалось бы, была вырвана с корнем вся сионистская жизнь в России. До ареста, в Минске, я чувствовал себя одиночкой среди ассимилированных или запуганных евреев. Здесь же я был приятно удивлен тем, что сионистское движение самопроизвольно возникло во многих городах. Оно еще было малочисленно. Основная масса советской молодежи находилась еще в путях вульгарного советского интернационализма, а те евреи, которые были когда-то сионистами или сочувствовали им, пребывали под властью страха со сталинских времен.

При всех расхождениях нас в лагере объединяло одно — Израиль. Мы постоянно встречались, обменивались информацией, каждый рассказывал, что он слышал и читал об Израиле. Старшее поколение рассказывало об истории еврейского народа, о его культуре и традициях. Среди него были знающие иврит, и мы даже начали с их помощью его изучать. Разумеется, условия для нас были особенно тяжелые, все мы были под постоянным надзором. Учебников и словарей не было. Мы сами составляли маленькие словари. Брали русские буквари и писали в них переводы русских слов на иврит. Составляли самые обиходные предложения. Все еврейские праздники мы отмечали вместе, каждый приносил, что мог. Мы собирались в каптерке, кто-нибудь из пожилых евреев читал соответствующую молитву и мы, по возможности, старались соблюдать все правила. В Судный день все мы постились — и религиозные, и нерелигиозные. Соблюдали мы эти традиции не столько по религиозным причинам, сколько для проявления своей национальной сущности. Мы делали из старых серебряных монет маген-давиды и носили их на груди. Вообще человек в лагере внутренне свободнее, чем на воле. Если он сионист, то не скрывал этого, так как свое он уже получил, и ему теперь

бояться нечего. Разве только, если он станет заниматься активной деятельностью, и об этом станет известно начальству. Если он нацист, то он тоже не скрывал этого и открыто выражал свои чувства и взгляды, а начальства ему приходилось бояться еще меньше, так как быть нацистом в глазах чекиста куда меньший грех, чем быть сионистом. Религиозники открыто молились и исполняли свои обряды. Люди намного откровеннее выражали свои взгляды, чем на воле. В лагере, как и вообще в трудных и опасных условиях — на войне, в плену — человеческие качества проявляются значительно более четко. Если человек был трусом, шкурником, эгоистом, беспринципным, и на воле в более нормальных условиях это не всегда было видно, то здесь, в лагере, все сразу выходило наружу. С другой стороны, люди благородные, мужественные, принципиальные выигрывали на общем фоне. Более четким было и отношение к евреям. Все условности, существующие на воле, отпали. Если он антисемит, то ему нечего бояться или стесняться. Он об этом открыто говорит, даже кричит, а если может, то и действует. Если он юдофил (были и такие, но, к сожалению, единицы), он резко выделялся, как белая ворона в черной стае антисемитского каркающего воронья.

Больше всего администрация боялась единства среди заключенных. Поэтому она старалась разжигать вражду между ними любыми методами и средствами. Раньше, когда политические сидели вместе с уголовниками, в лагерях всячески натравливали уголовников на политических и политических на уголовников. Теперь пользовались иными методами — разжиганием национальной вражды. Русских натравливали на грузин, украинцев на русских, грузин на армян и всех вместе, конечно, на евреев. Заключенные обычно держались группами. Объединялись или по национальному происхождению, или по убеждениям, или же просто объединяла личная дружба. Вечерами собирались где-нибудь в каптерке, располагались среди бушлатов, валонок и портянок, пили кофе, если был, вели споры. Это была единственная отдушина, единственные часы относительного покоя после изнурительного рабочего дня и общения с держимордами лагерной администрации и тупой чернью. Больше всего начальство ненавидело такие группировки, его

бесило, что многие из этих ребят были детьми хорошо обеспеченных родителей, что они были студентами, интеллектуалами, и, главное, что некоторые из них считали себя социалистами, но не в его, начальства, понимании этого слова. И, наконец, среди них всегда были евреи.

Как бывало в старину, главным врагом начальства были жидаы, "скубенты" и "сицилисты". Во время этапа проверялось содержимое чемоданов, а в чемоданах этих ребят было полно всяких книг. Надзирателей это окончательно выводило из себя. Они кричали: "А! Опять скубенты! Хфилософия вам нужна, книжечки читать, а работать кто за вас будет!" Особенно приводили их в бешенство книги еврейских авторов — Фейхтвангера, Эренбурга. Выговаривая эти фамилии, они всегда ломали себе язык. Натравливание заключенных-полицаев на молодежные группы было полуофициальной линией администрации. Однажды нас должны были перевести из 17-й зоны, где мы, то есть, сидевшие по нашей статье, находились отдельно от полицаев, в общую зону 11-го лагпункта. Зам. начальника лагеря по политчасти майор Марченко перед нашим приездом собрал всю зону и выступил с речью. Он сказал: "Я понимаю, когда вы совершили свои преступления, то это было военное время. Если бы вы не убивали, то, возможно, что вас убили бы. Здесь еще можно вас понять. Но эти маменькины сынки, которые ели булку с маслом, не знали голода, не работали — чего они хотели? А они хотели власти, власти над вами, простым людом. Сейчас, когда они приедут, то они тоже будут стремиться поменьше работать, а побольше читать и философствовать, все это за ваш счет. Вы же не должны допустить этого. Мы их распределим по вашим бригадам, и вы должны заставить их работать, показать им, как зарабатывается кусок хлеба". Чернь была в восторге от его слов. Интересно, что как для администрации, так и для лагерной черни все эти группировки считались еврейскими, хотя евреев там было меньшинство.

Всякий интеллигент, любой, носящий очки, шляпу или галстук, считался в лагере евреем. Когда приезжало начальство из Москвы, то почти всех их считали евреями. Чистокровным русским они считали только человека с грубой мужицкой внешностью. Они искренне верили, что вся власть

в Советском Союзе находится в руках евреев, распускали самые невероятные слухи о евреях и сами же верили им. Уверяли, что Хрущев полностью в руках евреев и лишь подписывает бумажки, которые они подсовывают ему. Говорили даже, что и сам Хрущев еврей, только ему сделали пластическую операцию. Невежество черни еще можно как-то понять. Но встречались также образованные, как будто толковые люди, которые тоже верили самым диким слухам о евреях, в которых не было ни логики, ни здравого смысла. Но они верили, верили потому, что хотели верить. Это отвечало их внутренней потребности, их глубокой, подсознательной, потомственной животной ненависти к евреям. Она мутила им разум. Русские ребята часто бывали в одних компаниях с евреями, дружили с ними, ели и пили вместе и даже защищали их от антисемитских нападков. Но стоило им попасть в другую зону и оказаться в среде русских наци, да если еще какой-нибудь еврей обидит, они из друзей превращались в самых ярых юдофобов. И вскоре, уже теоретически подкованные, они исторически обосновывали антисемитизм.

В лагере, как нигде, была видна враждебность и ненависть к евреям со стороны толпы, притом независимо от идеологии и политических взглядов. Так, всякого рода антикоммунисты и антисоветчики обвиняли евреев в том, что они совершили революцию в России и захватили власть в свои руки. Для них почти все руководители международного коммунистического движения и советской России были евреями. Для них коммунист и еврей были синонимами. Они твердо убеждены, что для того, чтобы освободить Россию от коммунистов, надо очистить ее от жидов. В полуофициальной же советской пропаганде все евреи были агентурой международного империализма. Почти каждый еврей прямо или косвенно связан с реакционными организациями. Все они, от Бернштейна до Ларсена, были ревизионистами истинного марксизма (то, что сам Маркс был евреем, игнорировалось). Считалось, что для того, чтобы очистить марксизм от всякого рода ревизионизма, надо очистить его от жидов. И у тех и у других во всем были виноваты жидаы. Если еврей в лагере не хотел работать, то ему говорили, что евреи никогда не работали, нигде не работают, что они

привыкли жить за счет других. Но были евреи, работавшие по две смены подряд, они буквально ночевали в цеху и их фотографии постоянно висели на доске почета как фотографии лучших работников лагеря. Об этих говорили, что жадность евреев к деньгам не знает предела — они готовы работать круглосуточно, лишь бы получить несколько лишних рублей, что ради денег они готовы на все.

Когда я прибыл в лагерь, тогдашний председатель Верховного Совета СССР Ворошилов, находясь в Индии, громко заявил, что в Советском Союзе нет политзаключенных. Через некоторое время Хрущев в интервью заявил то же самое. Тогда мы спрашивали у лагерного начальства, а кто же мы? Воры? Убийцы? Насильники? Нам неуверенно отвечали: "Вы просто государственные преступники". На 11-ом лагпункте был деревообрабатывающий комбинат. Меня определили в бригаду, работавшую на пилораме. Работа была тяжелая, нужно было крюками волочить и подавать на распиловку огромные бревна. Так как все рабочие процессы на пилораме были связаны между собой, то приходилось прилагать максимальные усилия, чтобы из-за тебя не простаивал другой. После 6 месяцев тюрьмы и пересылок я сильно ослабел и приходил с работы измотанный, с непривычки болели все мышцы. Новую администрация лагеря особенно старалась послать на самые тяжелые работы, чтобы сразу сломить его физически и духовно. Официальная норма питания была 2200 калорий на человека в день, но пока эта норма доходила до заключенного, оставалось намного меньше двух тысяч. Давали 600 граммов хлеба, было положено 40 граммов мяса или рыбы, но мяса мы практически не видели в глаза. Было положено 15 граммов растительного масла в день и 15 граммов сахара. Согласно медицинским нормам питания, на подобных физических работах необходимо 5–6 тысяч калорий в день. Без этих калорий организм заключенного постепенно истощался.

Осенью 1959 года было решено отделить новый поток — 70-ю статью (по старому кодексу 58-10) от других заключенных, сидевших по политическим статьям. Всех нас перевезли в лагерь 7/1. В этой зоне тоже были цеха деревообработки. Кроме того, многих, в том числе и меня, отправляли

на работу за зону. Работы были разные, вернее, работы не было никакой. Но чтобы как-то занять заключенных, нас направляли на полевые работы, на уборку территорий, корчевку пней. Пни корчевали вручную. То, что с помощью лошади, не говоря уже о тракторе, можно было сделать за час, мы целой бригадой делали несколько дней. Сначала подкапывали пень, потом рубили верхние корни, потом, впрягшись всей бригадой, пытались вытащить его из земли. Бригадир командовал "раз-два — взяли!" — и все, напрягаясь до предела, тянули цепи и веревки, привязанные к пню. Такова была техника 60-х годов XX века. Выкорчеванные пни мы стаскивали в одно место. Если назавтра не было другой работы, то мы должны были переносить эти пни в другое место. Часто нас заставляли перетаскивать с места на место камни, чтобы нас чем-то занять или, как говорил начальник, "чтобы у нас мускулы не одрябли". Разумеется, денег, даже мизерных, которые можно было заработать, перевыполнив норму в цехе, за эту работу мы не получали. Целью в данном случае была не продукция, а выжимание пота. Через некоторое время появился так называемый покупатель рабочей силы с 3-го лагпункта и стал отбирать заключенных для этапа в 3-ю зону.

В администрации 3-го лагпункта особенно выделялся начальник режима старший лейтенант Кицаев. За свою многолетнюю работу в лагерях он приобрел огромный опыт и сноровку. Полуграмотный, он дослужился до офицера. У него был собачий нюх на заключенного. Сочетание этой своеобразной проницательности, холодного расчета и жестокости очень подходило для его должности. Он всегда неожиданно появлялся то на разводе, то ночью в бараке, то в рабочей зоне. Его зоркое око всегда фиксировало малейшее нарушение, как ему казалось, режима, а если такового не было, то он мастерски умел придаться к чему угодно, и жертву уводили в карцер. У него была потребность каждое утро сажать кого-нибудь в карцер — вроде потребности в завтраке или в курении. В 3-й зоне мы работали на хозяйственном дворе. Заготавливали дрова, работали на пилораме. Однажды мы рыли котлован для цеха. Вырыв не более полуметра, мы обнаружили огромное количество человеческих скелетов, лежащих рядами. Во многих черепах

были дырки от пуль. Когда начальство заметило это, нас сразу же отогнали в сторону. Затем приехало руководство из Управления, и нам велели зарыть все обратно. Через несколько дней мы начали рыть котлован уже в другом месте. Нам "объяснили", что это всего лишь старое кладбище.

На 3-м лагпункте размещалась также больничная зона, куда привозили со всех лагерей Мордовии тяжелобольных. Там были бараки для хирургических, туберкулезных, терапевтических с неврологическими вместе и так называемый "дурдом", куда помещали психически больных. Интересно, что в каждой зоне было какое-то количество явно психически больных. Некоторые заболели в лагере, некоторые на следствии, но так как в их деле об этом ничего не было, то администрация к ним предъявляла требования как к здоровым. Но после первого же общения с ними их психическое состояние ни у кого не вызывало сомнений. С другой стороны, совершенно здоровых людей направляли на лечение в психбольницу в тех случаях, когда явного криминала для суда не было, но этого человека им необходимо было изолировать от общества. Например, подельник моего приятеля, научный работник, написал реферат, который явно шел вразрез с советской установкой в этой области и разбивал советские догмы. Его посадили в Ленинградскую психиатрическую больницу. Там ему прямо предложили отказаться от своей теории, тогда его сразу же выпустят. Он не согласился пойти на компромисс с совестью и отсидел в больнице 8 лет.

Бараки в больничной зоне были старые и полуразрушенные. Зимой в них было ужасно холодно. Они всегда были битком набиты больными, и никогда не хватало мест для вновь прибывших. Однажды я был невольным свидетелем разговора между начальницей больничной зоны и приехавшим высоким начальством из Москвы. Она жаловалась на тесноту, что зона, мол, рассчитана на такое-то количество больных, а больных присылают во много раз больше. В ответ на эту жалобу приехавший высокий офицер смеясь отвечал ей: "Подумаешь! Немного тесновато. Ну и что! Помню, мои зоны, когда я работал на Севере, были рассчитаны на 100 тысяч заключенных, а привозили полмиллиона, и мы их как-то размещали". В основном, в зоне работали

вольнонаемные врачи. Врачи и прочий обслуживающий персонал из заключенных находился под строгим контролем оперуполномоченного. Их постоянно проверяли, устраивали разные ловушки, стараясь поймать на том, что они удерживают заключенных в больничной зоне и для этого продлевают лечение. Например, мой приятель работал лаборантом. Ему часто приносили на анализ мочу здорового человека под фамилией подозреваемого больного или просто подсовывали чистую воду. Но он уже знал об этих хитростях и был начеку.

Наша рабочая зона размещалась по одну сторону больницы, а по другую была женская зона. В женской зоне в основном находились уголовницы. Атмосфера там была ужасной. Никогда я не думал, что женщины могут так опуститься.

В мужских зонах многие уже отсидели 20 лет или около этого. Большинство из них было арестовано в молодости, а сейчас им было около 40. Они ни разу в жизни не знали женщину. Результатом были всевозможные патологические способы удовлетворения физиологической потребности. Были случаи гомосексуализма, онанизма. В мужских зонах эти случаи были не часты, а гомосексуалисты всегда третировались основной массой заключенных. Фантазия же женщин в этом отношении была безгранична. Кроме огромного ассортимента изощренно придуманных заменителей, некоторые из них объявляли себя мужчинами — носили мужскую одежду, делали себе мужские прически, называли себя Мишками, Ваньками, Васьками и имели подруг, с которыми жили. Они ревновали, дрались и резались за своих любовниц. Назывались они коблы. Высшее счастье заключенной женщины — забеременеть от вольнонаемного надзирателя или конвоира. По беременности они получали освобождение на два месяца от работы и молоко. После родов ребенка забирали в детский дом, а мать снова возвращалась в свою рабочую бригаду.

Из 3-й зоны меня снова перевели в лагерь 7/1. Там находились, в основном, сидевшие за религиозные убеждения. Единоверцы держались отдельными группами, вместе работали, вместе ели и праздновали свои праздники. Некоторые из них, например, ИПХ, категорически отвергали

всякий контакт с администрацией, отказывались работать. "Работать на начальника, — говорили они, — значит работать на дьявола". Спали они без матраца, постелив простыню на голом щите. Их постоянно сажали в карцер, отправляли в закрытую тюрьму во Владимир, но ничто не могло сломить их веры. Особенной организованностью отличались свидетели Иеговы. Они регулярно получали газету "Башня стражи", выходящую в США. Женщины, приезжающие к ним на свидание, прятали эти газеты в самых сокровенных местах. В дальнейшем, узнав об этом, администрация устраивала им перед свиданием гинекологический осмотр. Свидетели Иеговы регулярно занимались, собираясь в бараках в определенные часы, выставляя охрану, которая цепочкой тянулась до вахты. Если появлялся надзиратель, то по этой цепочке давался условный знак, и все занимающиеся вмиг улетчивались.

В 1959–60-х годах правительство и КГБ, видимо, поняли, что перегнули палку массовыми арестами, и решили разредить переполненные лагеря. Многим начали сокращать сроки в ответ на их жалобы. Некоторых освобождали совсем, особенно тех, кому оставалось досиживать немного. Люди писали жалобы. Из прокуратуры требовали характеристику с места заключения, затем дело пересматривали и выносили решение. Именно в этот период некоторого потепления многие из заключенных, писавших жалобы, получали положительный ответ. Все зависело от общей ситуации. И до этого писали жалобы. Были такие, которые все свободное время тратили на писание жалоб. У некоторых количество жалоб доходило до 400–600. Писали в прокуратуру, в Верховный Суд, в Совет Министров, в ЦК КПСС, в газеты, в журналы, лично всяким политическим деятелям, но ответ всегда был стереотипный, причем из той инстанции, на которую жаловались: приговор правильный, оснований на снижение срока нет. Было ясно, что там уже привыкли отвечать этим штампом и жалоб даже не читали. Характерный случай произошел со мной. Когда меня отправили из тюрьмы в лагерь, мне сказали, что все мои вещи, в том числе и часы, изъяты после ареста, отправят следом за мной. Но прошло уже несколько месяцев после моего прибытия, а вещи я еще не получил. На все мои вопросы тюремная администрация

вообще не отвечала. Тогда я написал жалобу в прокуратуру на тюремную администрацию и получил ответ — приговор вынесен правильно, оснований на снижение срока нет. Теперь же многие ответы были благоприятными, но для этого требовалась хорошая характеристика с места заключения. Должно было быть написано, что заключенный хорошо работает, выполняет производственную норму, хорошо ведет себя.

Здесь уместно будет рассказать о том, что кроме вербовки скрытых стукачей разными инстанциями лагерной администрации, существовал еще открытый метод морального разложения заключенных. Были созданы так называемые добровольные группы по охране порядка в зоне. Их члены носили особые повязки на рукаве. Это были открытые ставленники начальника режима, служившие ему верой и правдой. В некоторых зонах создавались так называемые товарищеские суды, которые играли еще более гнусную роль. Судили отказывающихся от работы, не выполняющих производственные нормы, нарушителей дисциплины. Этот, с позволения сказать, суд выносил решение о переводе заключенного на пониженную пайку или в карцер, или же ходатайствовал перед администрацией о переводе его в закрытую тюрьму. Начальство достигало этим двух целей. Во-первых, как бы снимало с себя ответственность — это, мол, не оно, а наши же товарищи вынесли такое решение. Во-вторых, они сеяли еще больший раскол и вражду между заключенными. В лагере была и КВЧ — культурно-воспитательная часть, которая выпускала стенные газеты и организовывала художественную самодеятельность. Программу выступлений составлял замначальника по политчасти. Она состояла в основном из идейно-выдержанных вещей. На сцене также высмеивали нарушителей порядка, отказывавшихся от работы, и злостных антисоветчиков. В самодеятельности особенно активно участвовали бывшие гестаповцы, полицаи и им подобные. Например, трио бывших гестаповцев с большим воодушевлением пело "Партия наш рулевой", "Ленин наше знамя" и тому подобное. Как я уже говорил, подход начальства был сугубо прагматичный. Самодеятельность функционировала — это было главным. В нашем кругу существовал неписанный закон — не участвовать

ни в каких общественных лагерных организациях и ни в чем не сотрудничать с администрацией. Если кто-нибудь проявлял слабость и шел на это в надежде, что получит положительную характеристику, то он подвергался с нашей стороны полному ostracismu. Я же, ко всему, никогда не забывал свое происхождение, так как знал, что на меня прежде всего смотрят как на еврея, а потом уже как на заключенного. А главное, для самого себя я старался быть всегда чистым от каких бы то ни было подозрений. Это давало мне моральное право требовать от других того же, и я чувствовал себя свободнее, увереннее.

Когда начали снижать сроки заключения, мои родственники послали очередную жалобу в прокуратуру БССР. Мой адвокат, будучи председателем Коллегии адвокатов Белоруссии, имея широкие связи и допуск во многие судебные инстанции, узнал, что при существующей благоприятной обстановке есть шансы на положительное решение моего дела. Мне об этом сразу же написали. Я уже начал надеяться, что и мне улыбнется фортуна. Работал я тогда в цеху по шлифовке деревянных футляров для настольных часов и норму постоянно выполнял. В эту зону я перешел недавно, и с администрацией у меня столкновений еще не было. Кроме того, все внимание администрации было сосредоточено на антирелигиозной борьбе, а это меня не касалось. Через некоторое время начальник отряда сказал мне при встрече: "Держись, Рубин, пришел запрос на характеристику. Теперь все зависит от тебя". Тогда я еще не подозревал, что они хотели использовать характеристику как рычаг для приобщения меня к так называемой общественной работе. Дня через два всех нас погнали на общее производственное собрание. Я взял с собой книжку и примостился в дальнем углу, чтобы не видели, что я читаю. Краем уха я слышал, что разговор шел о выполнении норм, о повышении производительности труда, о трудовой дисциплине. Затем они стали комплектовать разные общественные организации. Вел собрание начальник лагеря. Он читал списки заключенных, которых предлагают избрать в состав активистов. Вдруг я услышал свою фамилию. От неожиданности я вскочил как ужаленный и попросил повторить — не ослышался ли я. Он снова назвал мою фамилию. Тогда я с возмущением потре-

бывал вычеркнуть мою фамилию из этого черного списка и заявил, что не позволю, чтобы они моими руками осуществляли свои грязные дела. В зале стало тихо, и все уставились на меня. Тогда начальник лагеря заявил: "Вы находитесь не в Америке. Здесь демократия. Народ захочет — изберет вас, не захочет — не изберет". Я в еще более резкой форме повторил свое требование, и, только увидев мою непреклонность, он вычеркнул меня из списка, сказав при этом, что мне это дорого будет стоить. И действительно, на другой день была отправлена характеристика, а через две недели я получил ответ из прокуратуры, в котором было сказано, что снизить срок мне невозможно по причине моего плохого поведения в местах заключения. Некоторые мои друзья тогда меня ругали, что я напрасно поторопился, что надо было быть разумнее и просто промолчать, переждать, пока они не отправят мою характеристику, а потом бойкотировать эту общественную организацию. Но я не мог согласиться на то, чтобы моя фамилия фигурировала в списке активистов. Я не сожалел о своем поступке, чувствовал себя внутренне спокойным, так как совесть моя была чиста. Позже я спросил у начальника отряда, в чем выразилось мое плохое поведение. Он ответил, что основная моя вина была не столько в том, что я отказался участвовать в общественной организации, сколько в том, что я именно на общем собрании публично выдвинул свое требование и этим самым подал дурной пример другим. В итоге единственный за все шесть лет шанс на снижение срока я потерял.

Они хоть и воры, но наши, советские

После этого я жалоб вообще не писал, и вскоре мягкий период прошел, на жалобы вновь пошли отказы, и заключенные снова стали прибывать. В то же время к уголовникам продолжали проявлять удивительную гуманность. Им снижали сроки, отпускали на поруки, переводили в бесконвойную зону. На наши вопросы, почему отпускают на волю воров, убийц и бандитов, а нас держат за колючей проволокой, и режим становится все строже, начальство отвечало:

”Они хоть и воры, но наши, советские, а вы еще неизвестно чьими являетесь”. Через некоторое время меня снова отправили в 3-ю зону, там было больше своих ребят и было немного веселее.

Периодически из Москвы приезжало высокое начальство проверять, как идет воспитание советских людей, которые сошли с правильного пути, указанного партией и правительством. Инспектора приезжали разные — и старые чекисты с огромным стажем еще досталинских времен, и новые кадры, не успевшие поработать во времена Сталина, что они часто ставили себе в заслугу. Многие из них были простыми солдафонами, у которых не было гражданской специальности, и после демобилизации из армии их направляли работать в КГБ. Во время бесед с заключенными они часто проявляли удивительное невежество и тупость. Их высказывания и реплики подчас вызывали всеобщий хохот. Помню, однажды какой-то подполковник зашел в барак, и, как всегда, заключенные определенной категории, попавшие в лагерь за случайно сказанное слово, за антисоветскую анонимку, за ругань в адрес Хрущева в пьяном виде и тому подобное, начали ныть: ”Начальник, ну когда же нас отпустят домой!” И каждый старался излить свои личные обиды. Подполковник невозмутимо им отвечает: ”Ничего, сидите, сидите! Ленин тоже в свое время сидел, посидите и вы”. Или же как-то приехал генерал, ведающий культурно-просветительной работой. Он сразу же ринулся в лагерную библиотеку проверять, какой духовной пищей питают заключенных. Видя на книжных полках Бальзака, Мопассана, да еще Ремарка и других модных в то время писателей, он рассвирепел и приказал немедленно убрать эту разлагающую литературу. На вопрос ”почему”, он стал менторским тоном разъяснять: ”Что проповедают эти Бальзаки и Мопассаны? — Разврат! А нам нужна здоровая советская семья”. При этом он побагровел и размахивал кулаком. На чей-то вопрос: ”А вы знаете, что говорил Ленин о Бальзаке?”, он, не слушая дальше, гаркнул: ”Вы и тут извращаете слова Ленина!” Все расхохотались. Изъятые книги побросали в мешок и унесли. Однажды начальство 11-го лагпункта стало изымать у заключенных все открытки и репродукции великих художников Ренессанса с библей-

скими сюжетами. На вопрос, почему все это забирают, следовал ответ: "Потому что в лагере запрещено заниматься религиозной пропагандой".

Из 3-го лагеря всех нас — 70-ю статью — перевели на 17-й лагпункт. Зона эта находилась в стороне от железнодорожной ветки, и нас везли на машинах, которые были специально для этого оборудованы. Рядом находилась женская зона политзаключенных. Нас разделяли два пятиметровых забора, между которыми была запретка и стояли вышки с часовыми. Летом мы работали в поле, на сенокосе, на лесоповале. Заводов не было. Трудно сказать, когда было хуже — летом или зимой. То лето выдалось как раз сухое и жаркое, температура иногда была выше 30°. В 6.30 утра нас выводили за зону в поле. Здесь работа была физически не столь тяжелая, но 11–12 часов в такую жару в открытом поле, где не было ни тени, ни ручейка, доводили нас к концу рабочего дня до полного изнеможения. Был где-то недалеко от нас ручеек или речушка, но только для конвоя. Они по очереди ходили купаться, а мы лишь издали смотрели на эту воду, как на мираж. Обед нам привозили — горячую кислую капусту, пшеничную кашу и успевший высохнуть на солнце хлеб. Почти полные бочки с этой едой увозили обратно, так как есть горячие щи в такую жару, когда все изнывали от жажды, почти никто не мог. Зимой нас возили километров за 30 от зоны на лесоповал. Мы сидели рядами на полу машины с широко раздвинутыми ногами, между ног садился следующий ряд, и так до заднего борта машины. Нас старались разместить поплотнее, и мы были, как сельди в бочке. Рядом с кабиной в кузове была перегородка, за которой стоял конвой с автоматами и собаками. Мороз был 30–35°C. Когда мы доезжали до лесоповала, то уже совершенно не чувствовали своих конечностей. Работа была тяжелая, нормы большие, приходилось валить деревья, очищать их от сучьев, распиливать и штабелевать. И, конечно, при тех двух тысячах калорий, которые мы получали, да еще на таком морозе норму выполнить было трудно. Обед тоже привозили прямо в лес, наливали те же кислые щи в замерзшие алюминиевые миски. Пайка хлеба превращалась в ледяшку — приходилось нанизывать ее на заостренную палку и отогревать на костре, иначе не откусить.

В 1962 году вышел новый указ, по которому всех нас перевели на строгий режим. В лагерях существовало четыре режима: общий, усиленный, строгий и особый. Уголовники за первое преступление попадали на общий режим. За повторное преступление — на усиленный, а политических за первое же преступление направляли сразу на строгий режим, а за повторное — на особый. Прежде с общего режима можно было освободиться после двух третей срока. На строгом это было исключено. Письма разрешалось посылать лишь один раз в месяц. Получать посылки — начиная со второй половины срока — одну посылку в четыре месяца, не больше 5 кг вместе с ящиком, и то лишь при выполнении производственной нормы и хорошем поведении. Практически получить посылку удавалось очень немногим. Достаточно было отказаться от общественной работы или просто не понравиться начальнику отряда, и посылку отправляли обратно. Я за всю вторую половину своего срока, то есть за 3 года получил лишь одну посылку, и то случайно. Меня неожиданно перевели в другую зону, и вслед за мной сразу же пришла посылка. Поработать я еще не успел и поругаться с начальством тоже не успел. Начальник отряда оказался в хорошем настроении и разрешил мне ее получить. Это была первая и последняя посылка. В зонах были ларьки. Каждый заключенный имел право израсходовать на ларек пять руб. в месяц. Но опять-таки здесь имелось множество "но". Покупать можно было только из заработанных денег. Если заключенный работал в местах, где заработать невозможно, или же у него высчитывали всю зарплату, так как долги превышали заработок, то он, понятно, не мог пользоваться ларьком. Существовал длинный список продуктов, которые было запрещено продавать в ларьке: животные жиры, мясные продукты, сахар, молоко. Продавали лишь черный хлеб, ржавую хамсу, махорку, зубной порошок, а когда привозили растительное масло или повидло, у ларька образовывалась огромная очередь, ибо каждый, имеющий право на покупку, хотел израсходовать свою пятерку на эти относительно калорийные продукты.

В зоне особого режима царил атмосфера самых мрачных времен сталинской эпохи. Зона размещалась в 10-м лагпункте. Этот лагерь резко отличался своим жестоким режи-

мом от других лагерей. Прежде всего, все носили полосатую одежду. Режим был "камерный", то есть всех после работы запирали в камеры до утра. При других режимах хоть можно было свободно ходить в пределах своей зоны. Посылки были запрещены, вражда между заключенными, в частности национальная, была много острее. Был страшный голод. Ссоры между голодными доходили до драки — бросались друг на друга как звери. Бывали случаи, когда доведенные до отчаяния бросались на колючую проволоку запретной зоны, и часовой с вышки тут же стрелял в них. Некоторые предпочитали смерть мучениям особого режима.

Кроме того, существовала еще закрытая тюрьма в городе Владимире. Если нарушение режима заключенным повторялось несколько раз, или же по каким-нибудь другим соображениям администрация решала изолировать кого-нибудь на длительный срок, то дело оформлялось через суд и его отправляли в тюрьму. Условия там были жуткие, голодали страшно. Человек возвращался в лагерь неузнаваемым. Он был "тонкий, звонкий и прозрачный". Свидание разрешалось один раз в год, но лишь номинально. Стоило в чем-то провиниться, и свидания лишали. Никакие просьбы и мольбы родных не помогали. Родные приезжали за несколько тысяч километров, чтобы повидать своего сына, мужа, отца и побыть с ним день-два вместе. Их перед свиданием тщательно обыскивали. Не разрешали приносить продукты сверх пяти килограммов, и то при условии, если вообще полагалась посылка. В день свидания заключенного все равно выводили на работу в зону, а родственники целый день сидели в комнате свиданий. Администрация всячески старалась использовать свидание для шантажа, нажима и просто издевательств. Вначале вроде бы разрешали свидание, и заключенный писал об этом домой, но когда его родственники приезжали, начальство начинало ставить разные предварительные условия. Если эти условия не принимались, то свидание разрешали лишь на два-три часа или же совсем отменяли. Помню, приехала к приятелю мать из Архангельска. После того, как она проделала огромный путь, начальство отказало ей в свидании под каким-то пустяковым предлогом. Она ездила в Управление, упрасивала разное высокое начальство. Наконец, ей разрешили свидание с

сыном, но... всего на 2 часа в присутствии надзирателя и при условии, что она будет разговаривать с сыном только на воспитательные темы и постарается убедить его изменить политические взгляды и поведение в лагере.

Еженедельно проводились политзанятия. В основном они посвящались текущим международным и внутренним событиям. Иногда, с большими группами эти занятия проводил сам замначальника лагеря по политчасти. Иногда, по отрядам, занятия проводили начальники отрядов. На эти занятия заключенных просто сгоняли, за непосещение строго наказывали – лишали писем, посылок, свиданий или даже сажали в карцер. Я уже писал, что в лагере находилась очень разношерстная публика – от безграмотной черни до высокообразованных людей. Но занятия проводили для всех вместе, на крайне примитивном уровне. Начальники отрядов были, как правило, люди невежественные, заучившие несколько догм советской пропаганды. Иногда эти пропагандисты превращались в общее посмешище, и на занятиях стоял веселый хохот. Например, приходит пропагандист и заявляет: "Сегодня я вам буду читать лекцию о национально-освободительной борьбе в странах Латинской Африки". Он не оговорился и продолжает настаивать на этой формуле. В то время как раз был похищен Лумумба, и один из заключенных спросил: "Начальник, а начальник, а когда Лумумбу освободят?" Он отвечает: "Вот пусть работает хорошо, а тогда посмотрим", полагая, что это заключенный. Кто-то у него спрашивает: "Начальник, а каково сейчас положение в Триесте?" Он же, очевидно, впервые услышав это географическое название, возмущенно отвечает: "Какой трест! При чем здесь трест, я вам дам трест!" – схватил свою шинель и убежал из барака под общий смех. Однажды на всеобщих политзанятиях замначальника по политчасти прочитал лекцию о роли КПСС в строительстве коммунизма. После лекции поднимается заключенный, который все время внимательно слушал, и спрашивает: "Гражданин начальник, скажите пожалуйста, что же такое КПСС, когда оно началось и когда оно кончится?" Он спросил это искренне, безо всякого подвоха. Все, конечно, расхохотались, а его тут же схватили и дали 7 суток карцера.

В зонах политзаключенных был некоторый процент уго-

ловников. У них было по 7–10 судимостей, и по какой-то причине им захотелось перейти в нашу зону. А для этого много не надо было. Достаточно было где-нибудь на стене написать "Долой Хрущева" или что-нибудь в этом роде. Автору сразу же давали 70-ю статью — антисоветская пропаганда, он уже числился политическим, и его направляли в нашу зону. Но таких было относительно немного. В основном мы встречались с ними в больничной зоне, которая обслуживала и политических и уголовных. В то время у уголовников стало модным делать антисоветские наколки на лбу, на груди и других местах: "Раб СССР", "Долой КПСС", "Смерть Хрущеву" и тому подобное. Их сразу направляли на операцию и в больнице им вырезали целые полосы кожи. Позже, когда это стало массовым явлением, вышел специальный указ, и за антисоветские наколки начали расстреливать. Тогда это увлечение прекратилось.

Среди уголовников было много наркоманов и мазохистов. Использовалось все, что в какой-то мере вызывало возбуждение, новое ощущение. Их фантазия в этом не знала границ. Каким-то образом они раздобывали наркотики и кололись. Они варили и пили чифирь — на кружку воды брали пачку чая, тщательно вываривали его и затем пили по кругу. Получать чай в зоне запрещалось, но они его все-таки приобретали — покупали у вольнонаемных за цену в пять-десять раз дороже, чем в магазине. Зубная паста, зубной эликсир содержит немного алкоголя. Все это разводили водой и выпивали. Одеколон считался деликатесом. Когда кому-нибудь из уголовников в санчасти ставили спиртовой компресс, по выходе за дверь этот компресс сразу высасывался до отказа. Мазохисты глотали буквально все, что им попадалось под руку, как страусы — лишь бы им потом сделали операцию — ложки, вилки, термометры, которые им давали, чтобы измерить температуру, гвозди. Они разбирали сетки от кроватей и глотали их части. Когда их оперировали, то специально вводили минимальные дозы новокаина. Они дико орали от боли, но через некоторое время после операции уже снова скучали по острому ощущению. Они отрезали себе уши, нос, зашивали рот, перерезали вены, наполняя миску своей кровью, и так плелись на вахту. Они пришивали себе пуговицы к коже двумя рядами, как на

мундире. Один такой, находясь в карцере, прибил гвоздями мошонку к полу с одной стороны и к двери с другой. После этого он стал яростно барабанить кулаком в дверь. Прибежал надзиратель, заглянул в кормушку и увидел эту картину. Позвали врача из санчасти, и они долго думали, как извлечь его из карцера. Ничего другого не оставалось, как дернуть дверь. Мазохиста, истекающего кровью, увезли в больницу. Это были монстры, изуродованные духовно, психически и физически.

Жизнь в лагере на строгом режиме стала намного суровее. Если раньше хлеба хватало, то сейчас каждый собирал хлеб и сушил его на железной печурке про запас. Раньше, если кто-нибудь не получал посылок, он мог достать в столовой еще супа или каши. А сейчас каждый доедал свою порцию до дна, а пайку оставлял на потом. Вся атмосфера стала тягостнее. Люди стали злее, больше стало ссор и драк.

Общее положение, если сравнивать со сталинскими временами, характеризовалось внешним соблюдением законности, то есть произвол администрации был введен в определенные рамки. Если раньше любой начальник мог просто не выдать посылку заключенному без объяснения, то сейчас, когда он не давал разрешения на ее получение, он это как-то обосновывал. При желании это было нетрудно — или норма не выполнена, или разговаривал непочтительно с начальством, или не был на политзанятиях, или еще что-нибудь. Если раньше могли заточить в карцер на сколько заблагорассудится кому-нибудь из начальства, то сейчас начальник мог выписать постановление в карцер лишь на 15 суток, затем выпустить и дать еще 15 суток, а если захочет, осудить на год в знаменитую закрытку во Владимире. Раньше могли избить заключенного открыто, а сейчас это делалось вдали от посторонних глаз, и чтобы следов не осталось. Применялись также самосжимающиеся наручники, смирительная рубашка, холодный карцер, но все это в рамках закона, надо было лишь оформить соответствующее постановление. Заключенному от этой "законности" было не легче. Однажды прибыл какой-то генерал из Московского Управления. На различные требования заключенных он возмущенно заорал: "Да что вы жалуетесь, что вы ноете, посмотрите, в каких условиях вы находитесь. Вы находитесь

в современной зоне, у вас есть право на труд и на зарплату, вы получаете трехразовое питание, вам дают мясо, жиры, сахар, у вас в зоне есть магазин, вам разрешена переписка с родными” и так далее. Формально он был прав. Но если вникнуть в каждый из перечисленных пунктов, то выяснилось бы, что это просто — насмешка и издевательство.

По существу, как и в прошлые времена, Россия существовала за счет рабского труда. За пайку хлеба и черпак баланды работали на заводах, строили железные дороги и валили лес, работали на шахтах и рыли котлованы, делали самую тяжелую работу великих строек коммунизма. Весь Север и Восток были освоены советскими рабами. В результате весь Север и Восток усеяны миллионами человеческих скелетов, миллионами безымянных могил. В этом рабском труде смыкаются две социалистические системы, доведенные до своего логического совершенства — красная и коричневая. Была даже взаимная преємственность. Еще до введения строгого режима некоторых заключенных выводили в бесконвойку, то есть они жили в отдельном бараке, уходили и приходили с работы без конвоя. Заключенный чувствовал себя относительно свободным. Когда я спросил у своего начальника отряда, почему меня не выводят на бесконвойку, он мне ответил: ”По режимным соображениям”. Я стал выяснять, в чем же дело, и в конце концов узнал, что у меня в личном деле была соответствующая полоса, такие полосы были на делах тех заключенных, которые пытались бежать или же готовились к побегу. Таких заключенных, действительно, на бесконвойку не пускали. Я бежать никогда не пытался и очень хотел узнать, откуда у них такие подозрения. Через некоторое время пришел новый начальник отряда, по неопытности проговорившийся. Оказывается, в моем деле лежала довольно подробная биография, в которой между прочим было сказано, что во время войны я находился в минском гетто и сбежал оттуда. Это было для них достаточным основанием, чтобы сделать соответствующую пометку на моем деле. Когда же я потом спросил у начальника лагеря, как же можно сравнивать советские лагеря с немецкими, то он мне ответил, что лагеря-то разные, но если вы сбежали из немецкого лагеря, то это уже говорит о вашем характере, о том, что вы не хотите примириться с теми

ограничениями, которые на вас накладывают, что вы по натуре бунтарь, и мы, естественно, должны это учитывать.

Мы прилагали огромные усилия для получения информации, духовной пищи. Несмотря на жесткие ограничения строгого режима, нам это иногда удавалось. Официально кроме ограниченного количества советской прессы нам читать ничего не давали. Иногда даже отдельные экземпляры советских изданий, если в них оказывался материал, который по мнению начальства мешал воспитательной работе, изымали. Например, когда напечатали в "Новом мире" "Один день Ивана Денисовича", этот номер журнала тотчас же изъяли. Зам. начальника по политчасти был тогда вне себя от ярости. Он возмущался: "Как могли напечатать такую блевотину, такое грубое извращение советской действительности?". Однажды он среди группы заключенных всячески поносил Солженицына. Он говорил, что если бы это зависело от него, он бы его давно запрятал в 10-ю зону (зона с особым режимом). Он возмущался клеветой Солженицына на наши органы. Тут как раз подошел я, услышав еще издали этот разговор. Он сходу обратился ко мне: "Правильно я говорю, Рубин?" — Я ему спокойно сказал: "Неча на зеркало пенять, коли рожа крива". Он не понял, но назавтра вызвал меня и говорит: "Вы думаете, я тогда не понял, что вы имеете в виду?" И тут же продемонстрировал свою эрудицию, назвав автора и басню. Затем, сказав, что он со мной еще поговорит, отпустил меня. Но дня через два я попал на этап и больше его уже не видел.

Мы получали бандероли. В бандеролях были газеты, журналы и книги на иностранных языках, но, конечно, советского издания. Цензоры знали только русский язык, и то не очень хорошо. На всех иностранных изданиях они читали на обратной стороне название книги или журнала по-русски. Иногда между этими изданиями отправителю удавалось вложить в бандероль нечто крамольное. Иногда в обложку журнала "Новое время" на английском языке вставляли даже страницы из "Тайм" или "Лайф", и — проходило. Многие специально изучали польский язык, чтобы читать польскую прессу, так как в то время в Польше печатались вещи, которые в советской печати не могли появиться. С информацией с еврейской улицы обстояло

особенно плохо. Советских изданий не было, а израильские и еврейские издания из других стран получить мы не могли, да и посылать их было некому. Приходилось выискивать и собирать все, что появлялось в прессе на еврейскую тему. Каждая статья или заметка, в которой хоть в какой-то мере затрагивался еврейский вопрос, представляла для нас огромную ценность. Каждый из нас, что-то вычитавший, передавал это другому, пересылали этапами в другие зоны; так мы делились крохами, пополнявшими наши знания.

Экзодус

У нас в лагере был русский писатель, которому разрешили получать литературу из дома, такую литературу, которую нам, обычным заключенным, не разрешали. Он писал какую-то Лениниану, и поэтому ему было сделано такое исключение. Он дружил со многими евреями и был одним из немногих, кто защищал евреев от постоянных антисемитских нападок. Однажды он мне говорит: "Знаете, Толя, у меня вот есть книга на английском языке, "Экзодус" называется. Здесь об Израиле и вообще на еврейскую тему. Возьмите, почитайте, вас она наверняка заинтересует". Английский язык я знал плохо, но достаточно, чтобы понять, какой клад я нашел. Среди нас были евреи, свободно владевшие английским. Мы сразу же организовались и начали коллективно читать, прячась в укромном месте. Через три дня книга была прочитана. Трудно передать, как она потрясла нас. В Израиле сейчас к ней относятся по-разному. Здесь, где имеется масса подобной литературы, это понятно. Но нужно представить себе наши лагерные условия, когда мы выискивали каждое еврейское слово в газете или журнале, когда мы так жаждали какой-нибудь информации об Израиле — и вдруг такое сокровище! Я ни за что не хотел расстаться с ней и решил выпросить эту книгу у хозяина. К моему удивлению, он мне охотно ее подарил. Радости моей не было предела, я не знал, как его отблагодарить. И сейчас я испытываю к нему горячую благодарность. Прежде всего я решил эту книгу закомуфлировать, чтобы ее не опознали

при обысках. Мой приятель, когда-то окончивший курс переплетчиков, мастерски вклеил ее в обложку советской книги. При многочисленных обысках надзиратели брали ее в руки, переворачивали и на задней стороне обложки, а также на последней странице читали по-русски: "Английские рассказы", учебное пособие для студентов. Это их удовлетворяло. Книга находилась в стопке других книг на английском языке, но уже с соответствующим названию содержанию. Книга переходила из рук в руки, читали ее коллективно и в одиночку, читали евреи и неевреи. Я перевозил ее из зоны в зону, и всюду ею зачитывались. Однажды начальство пронюхало об ее существовании, но, очевидно, им не было известно, кому она принадлежит и где находится. Они устроили выборочный обыск, не нашли, и так пронесло. Я знал, что если ее у меня обнаружат, то получу второй, дополнительный срок. Кроме того, меня как рецидивиста переведут на особый режим. Но книга была такой ценной, что стоила этого риска. Когда меня позже перевели в 7-ю зону, то там один из евреев, который знал английский язык, правда, далеко не в совершенстве, решил перевести эту книгу на русский. Труд этот был кропотливый и далеко не безопасный. Но при помощи всяких уловок, прячась от надзирателей, он эту книгу в конце концов перевел и даже переправил на волю. Так еще в 1962 году эта чудесная книга, сыгравшая большую роль в пробуждении национального самосознания евреев России, была впервые переведена на русский язык в советском концлагере.

Меня еще несколько раз перебрасывали из зоны в зону, снова перевели в 11-й лагпункт, из 11-го в 7-ой, и опять в 11-й, и снова в 3-й. Часть молодежи уже освободилась по отбытию срока, но на их место прибывало свежее пополнение. Люди по-прежнему писали жалобы на приговор, на режим, но все это наталкивалось на глухую стену бюрократического равнодушия. Одной из форм протеста были голодовки. Самое ужасное было в этих голодовках то, что о них почти никто не знал. Связи с Западом не было, и знал о голодовках только узкий круг друзей и знакомых. Голодающие не чувствовали той моральной поддержки международной общественности, которая имеется теперь. Я видел людей, которые голодали по 5—6 месяцев — это были живые трупы,

они не могли ходить, так как ноги у них были полностью атрофированы. Порядок объявления голодовки был следующий. Когда какой-нибудь заключенный заявлял администрации, что он объявляет голодовку, его сажали в карцер. Надзиратель, формально выполняя свой долг, предлагал ему ежедневно его паек. Голодающий отказывался, и пищу уносили. Так продолжалось 3 дня. На четвертый день приходили 2 надзирателя и санитар, приносили какую-то жидкую массу, воронку, шланг и металлический роторазжиматель. Ему скручивали руки, роторазжимателем раскрывали рот, вставляли резиновый шланг и через воронку вливали питательную жидкость. Так продолжалось изо дня в день, из месяца в месяц. В дальнейшем голодающий настолько ослабевал, что он уже не сопротивлялся, и с этой процедурой справлялся один санитар. Иногда приходил начальник режима, прокурор по надзору, уговаривали, угрожали. Иногда прибегали к обману, обещая выполнить просьбу голодающего, но как только он прекращал голодовку, его сразу сплавляли в другой лагерь и умывали руки. Многие потеряли здоровье, стали инвалидами от таких марафонских голодовок, но ничего не добились. Не добились только потому, что не было никакой реакции со стороны международной общественности. Люди голодали, страдали, гибли, борясь за элементарные человеческие права, а мир равнодушно молчал.

Жиды — они ведь все-таки тоже люди

В начале 60-х годов вышел новый указ — предельный срок заключения был определен в 15 лет вместо 25. В то время еще сидели отпетые убийцы и насильники, на счету которых были сотни и тысячи жертв. Они были главной опорой лагерной администрации, принимали активное участие в общественной жизни лагеря, хорошо работали, и лагерное начальство ходатайствовало о снижении им срока в соответствии с новым указом. А так как они в большинстве своем уже отсидели по 16–17 лет, то их сразу же после суда освобождали. Из Куйбышева приезжала тройка военного

трибунала, и в помещении столовой устраивали открытый суд, чтобы все заключенные могли увидеть, как за примерное поведение и хорошую работу снимают сроки. Нас этот указ не касался, так как по нашей статье предельный срок был 7 лет. В столовой было всегда полно любопытных. Начальник отряда заранее оформлял дело на того или иного заключенного для предстоящего суда. Составляли положительную характеристику, в которой отмечались все его достоинства и заслуги перед администрацией на протяжении долгих лет его заключения. На суде кто-нибудь из администрации ходатайствовал перед трибуналом следующим образом: такой-то за время пребывания в местах заключения показал себя хорошим работником, исполнительным, принимал активное участие в общественной жизни лагеря, был в рядах охраны общественного порядка, участвовал в самодеятельности, писал заметки в лагерной газете, кроме того, помогал администрации в разоблачении всяких разгильдяев, отказчиков от работы, чифристов и антисоветчиков. Заключенный такой-то искренне встал на путь исправления. Мы просим суд снизить ему срок заключения в соответствии с новым указом, и мы убеждены, что он будет достойным советским человеком. А на совести этого "достойного советского человека" были сотни убитых и замученных детей, стариков и женщин. Как правило, суд удовлетворял ходатайство администрации и тут же освобождал его из-под стражи.

Для этого суда убийство одного нееврея считалось более тяжким преступлением, чем убийство сотен евреев. Убийцы об этом знали и соответственно строили свою защиту. На одном из судов разбиралось дело украинского убийцы и садиста. Это был громила с бычьей шеей, с тупым и злобным лицом. Когда председатель суда, полковник, начал зачитывать его дело, то присутствующих бросило в дрожь, если не считать, конечно, таких же, как и он, убийц. Полковник подробно перечислял все совершенные им "подвиги" в борьбе с женщинами, детьми и стариками. Он лично принимал участие в расстрелах тысяч евреев, он вместе со своими друзьями бросил в колодцы живьем 400 евреев, загонял евреев в газовые камеры и душегубки, насиловал женщин, мозжил грудных детишек о каменную

стену — все это было доказано, и он и сейчас этого не отрицал. На вопрос председателя суда, как же он мог убивать так жестоко детей и женщин, он сказал по-украински: "Та це ж жида булы". (Так это ведь были евреи!). Но самым потрясающим был ответ председателя суда, полковника юстиции. Он, медленно перелистывая его дело, сказал: "Ну и что ж, жида? Жида — они ведь все-таки тоже люди". Сидевшие в зале полиция расхохотались, удовлетворенные таким ответом советского полковника. А убийцу выпустили, так как он "встал на путь исправления и осознал свои ошибки", как было указано в определении суда.

Люди разных взглядов, идеологий и национальностей проявляли в определенных вопросах солидарность. У всех у нас был общий враг — КГБ.

К сожалению, солидарность проявляла лишь незначительная часть заключенных. Так, группа из двух украинцев и одного русского просила меня помочь другому русскому, нашему общему знакомому, организовать побег через парник. Побег не удался, но никто не раскололся, и нам удалось представить дело так, будто мы отправились воровать овощи. Нам дали по пятнадцать суток карцера, а потом перевели в другую зону, опять в 11-ю. Там меня сразу же определили в аварийную бригаду. Бригада была подобрана из рослых здоровых мужчин, в основном латышей и эстонцев. Работа в аварийной бригаде состояла в следующем: в любое время суток, когда прибывал железнодорожный состав, груженный строительными материалами, нас сразу же бросали на его разгрузку. Привозили лес, камни, кирпичи, цемент, каменный уголь. Кирпич, уголь, камни перевозили в вагонах, разделенных на отсеки. При разгрузке каждый получал свой отсек и должен был выгрузить его вовремя, чтобы не задерживать других. Лес и цемент разгружали сообща, но устраивали так, что из-за отстающего страдала вся бригада. Я справлялся с работой не хуже профессионального рабочего. Никогда не забывал, кто я, и понимал, что если я буду отставать, то наверняка скажут, что я еврей и поэтому не могу и не хочу работать. На лесоповале у меня был принцип — никогда не просить напарника остановиться отдохнуть. Каким бы толстым дерево ни было и как бы тяжело и долго ни приходилось его

пилить, я продолжал тянуть пилу, пока напарник сам не попросит остановиться на перекур. Мое положение осложнялось тем, что я часто страдал приступами мигрени. Как бы эти приступы меня ни мучили, санчасть не освобождала от работы. В такие дни приходилось особенно трудно, так как никто считаться с моей болезнью не хотел.

Шел 1964 год, последний год моего заключения. Я стал уже считать оставшиеся не годы, а месяцы. Но сейчас и месяцы тянулись долго, как годы. До последнего года я физически держался хорошо. Умывался ледяной водой по пояс, натирался снегом, закалился и никогда не болел. Но в конце срока сопротивляемость организма резко снизилась. Сказался голодный паек, тяжелый труд, постоянное нервное напряжение. Всю весну 1964 года я работал на улице, кругом стояли лужи талой воды. Сапоги были рваные, и ноги постоянно хлюпали в ледяной воде. У меня появились сильные боли в ногах. Бывали ночи, когда я из-за них не мог уснуть. Прimitивное лагерное лечение не помогало, и болезнь приняла хроническую форму. Я ждал уже с нетерпением своего звонка, то есть конца срока. Но в это время произошел очередной инцидент. К нам в зону прибыла группа новеньких заключенных из Ленинграда. Все они проповедовали славянофильство, но это их дело, и я к ним относился ровно, как и к другим подобным группировкам. Но однажды в рабочей зоне один из них разошелся и начал поносить Израиль и сионизм, пользуясь всеми штампами советской пропаганды. Я подошел к нему выяснить, в чем дело, что привело его в такое бешенство. Тогда он набросился на меня: "Я знаю, ты сионист! Вы издеваетесь над арабами! Вы хуже фашистов!" и все в том же духе. Разумеется, спорить с ним было бесполезно, так как язык логики и фактов был ему непонятен. Оставалось прибегнуть к другому методу убеждения. Когда прибежали другие заключенные и оттащили меня от него, он сразу же побежал на вахту. Пришел надзиратель и отвел меня в другую зону. Вечером меня вызвали на вахту и предъявили постановление на 10 суток карцера. К постановлению было приложено его заявление о том, что он подвергся нападению сиониста, и справка от врача о его кровоподтеках, сломанном зубе и о чем-то еще.

Раньше карцер находился за зоной, и туда приводили заключенных из всех прилегающих зон. Сейчас же у нас в зоне только что окончили строительство новенького карцера, и мне была оказана честь открыть его. В карцере меня раздели догола, забрали всю мою одежду, а взамен дали старые брюки и куртку. Телогрейку взять с собой не разрешили. Внутри карцера было ужасно холодно и сыро. На его грязно-серых стенах стояли капли воды. Меня заперли в одиночку. Камера была два метра в длину и полтора в ширину. К сырой стене был приделан и закрыт на большой замок деревянный щит, который служил нарами. В 11 часов вечера его опускали, а в 6 утра снова поднимали и запирали на замок. Посреди нар проходили две толстые железные шины вдоль и поперек, наверное, для мягкости. Кроме этих нар в камере не было ничего. Весь день приходилось сидеть на холодном и сыром цементном полу, пока конечности не окоченивали, а затем подыматься, бегать, прыгать на месте, чтобы как-то согреться. Это было в апреле. Стояли еще холода. Когда наступала ночь, становилось и того хуже — ночью были заморозки. Больше часа лежать на нарах с железными шинами и при жутком холоде нельзя было. Приходилось вскакивать и опять заниматься зарядкой, чтобы как-то согреться и выпрямить окоченевшее тело. Когда я обессиливал от прыжков и бега на месте, я снова валился на нары и сворачивался калачиком, чтобы подольше сохранить тепло. Горячую пищу давали через день. В один день давали хлеб, черпак супа, селедку и кипяток, на следующий — лишь кусок хлеба и кружку кипятка. Так проходил день за днем. Когда я вышел из карцера, вид у меня был как после тяжелой продолжительной болезни. Но пережил и это. Пока я сидел в карцере, битый славянофил попросил перевести его в другую зону, боясь мести. Когда я освободился, его уже в нашей зоне не было.

Нация воров, жуликов и махинаторов

В это время в лагерях было полно новых заключенных, и КГБ спохватился, что опять перегнул палку. На сей раз они решили освободить некоторую часть заключенных иным

способом. Когда раньше заключенных освобождали по жалобам, то этим самым признавалось, что приговор был слишком суров и несправедлив. Сейчас же они решили освободить тех, кому осталось досиживать уже немного, сохранив таким образом свою честь. Приезжали в зону представители КГБ из центрального аппарата, вызывали некоторых заключенных и предлагали им писать просьбу о помиловании. Этим самым заключенный как бы признавал себя виновным, а значит и осужденным справедливо; а представители КГБ и суда выглядели людьми гуманными и милосердными. Мне оставалось досидеть считанные месяцы. Вызвали и меня. Начали с общих бесед о настроении, о работе, а потом перешли к конкретному предложению. "Вы, – говорят они, – совершили тяжкое преступление. Но советская власть не мстит, а лишь старается человеку помочь встать на правильный путь и осознать свои ошибки. Вы отсидели уже более пяти лет. Мы полагаем, что если вы напишете просьбу о помиловании, в которой искренне изложите свои заблуждения, то соответствующие советские органы примут это к сведению и ограничатся отсиженным вами сроком". Я им ответил: "Если бы вы прочитали мое дело более внимательно, то вы бы поняли, что коль скоро я не признавал себя виновным на суде и в начале своего срока и во всех своих жалобах обвинял не себя, а органы следствия и суда, то уговаривать меня принять сейчас это смехотворное предложение – пустая трата времени". Они начали снова обвинять меня. Вы, мол, и сейчас не осознали свое преступление, учтите, мол, что при подобных взглядах и настроениях вам из лагеря не выйти. Затем они перешли к сути моего дела, увязывая его с текущими событиями. Один из них говорит: "Вот вы обвиняли советскую власть, весь русский народ в антисемитизме. Вот посмотрите, сейчас (это был период экономических процессов в стране) в газетах пишут об экономических процессах, и там постоянно фигурируют евреи, а русских там единицы. Они и валютчики, они и воры, они и жулики, и спекулянты. Так какое же может сложиться мнение у русского народа о евреях?" – И сам же ответил: "Что евреи – это нация воров, жуликов и махинаторов". На это я ему сказал: "Если следовать вашей логике, то посмотрите – в соседней зоне, зоне уголовников, где сидят

убийцы, бандиты, грабители, там в основном сидят русские, евреев там единицы. И какое впечатление может сложиться о русских у других народов? Что русские — это нация убийц, бандитов, насильников. Я так не считаю, но ваш метод оценки других народов приводит именно к этому заключению”. Этим я задел их достоинство великороссов. “Вы опять клевете на русский народ, народ, который вас кормит, дал вам приют, спас от полного физического уничтожения, а вы — неблагодарная...” и еле удержался от продолжения. Это была моя первая и последняя встреча с кагебистами за все шесть лет лагеря. Через некоторое время нас опять уже в который раз перевели на 3-й лагпункт. Время тянулось мучительно долго. В своем карманном календарике я ежедневно зачеркивал еще один день.

Однажды октябрьским утром неожиданно по радио объявили о снятии со всех постов Хрущева. Администрация лагеря была совершенно растеряна. Начальники избегали встреч с заключенными, так как еще не знали, что отвечать на вопросы. Ждали указаний сверху. Замначальника лагеря по политчасти вообще три дня не появлялся в зоне. У многих заключенных появились иллюзии, что что-то изменится и они будут освобождены. Распускались разные слухи — “параши”. Эти параши витали в зонах постоянно. И чем больше срок был у заключенного, тем больше он склонен был верить слухам. Он хотел верить им, так как лишь они давали ему призрачную надежду на быстрое освобождение. Но параши приходили и уходили, а заключенный оставался сидеть.

Мой срок подходил к концу. Я считал уже последние дни. Зачеркнутые в календарике числа все ближе подходили к заветному 8 декабря. 7 декабря друзья организовали мои проводы. Каждый принес все, что у него было, и устроили общий ужин. Нажарили черный хлеб на подсолнечном масле, напекли картошки, сварили кофе, у кого-то нашлась банка джема, и ужин в лагерном понимании получился на славу. Мы обменялись адресами и договорились о продолжении наших связей в будущем. 8 декабря утром меня вызвали на вахту с вещами, так как надзиратели хотели успеть обыскать меня еще до отхода поезда. Обыск был более чем тщательный. Все бумаги, книги были перебраны, меня

раздели догола и тщательно обыскали каждый шов одежды. Но опыт у нас уже был достаточный, и все, что надо было пронести, было пронесено. После обыска меня начали торопить одеваться и складывать свои вещи, чтобы я успел на поезд. Когда я переступил зону и шагнул на свободу, я еще не совсем ощутил и подавно не осознал той перемены, которая произошла.

Через дорогу находилась рабочая зона, и мои друзья стояли на высоких штабелях леса и махали мне руками. Я помахал им в ответ, и как-то особенно остро почувствовал их положение. Ощутил, что всего лишь несколько шагов отделяют меня от того мира, где я провел 6 лет, 6 лет от звонка до звонка. Мне было больно, что мои друзья не со мной. Они остались в малой зоне досиживать свой срок. Итак, я очутился в большой зоне.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НА "РОДНОЙ" ЗЕМЛЕ

Новые друзья

В Минск я поехал через Москву. В каждом несчастье есть доля счастья. Благодаря лагерю у меня появилось много друзей и в Москве, и в Ленинграде, и в Киеве, и в Риге, и в других городах. Находясь еще в лагере, я поддерживал связь со многими из тех, кто освободился раньше меня. В Москве я сразу оказался в кругу своих лагерных друзей. Резкий переход от лагерного существования к шумной жизни в Москве меня несколько ошеломил. Меня водили в разные компании, в рестораны, на киностудию, где просматривали кинофильмы, не предназначенные для общего экрана. Я был еще как-то скован и не мог сразу переварить всю эту массу новых впечатлений. Четыре дня в Москве пролетели мигом. Все виденное мною вращалось перед глазами, как в калейдоскопе. На пятый день я уехал в Минск. В Минске я пробыл один день и сразу же уехал в Ригу, где меня тоже ждали лагерные друзья. Там я окунулся уже в чисто еврейскую атмосферу. Собиралась еврейская молодежь, устраивали вечера, на которых пели еврейские песни и танцевали еврейские танцы. Ходили в синагогу, ездили в Румбуле, где были расстреляны рижские евреи во время немецкой

оккупации и где впоследствии местные евреи, вопреки запрету местных властей, установили памятники. Позже Румбуле стало местом массового паломничества евреев со всех концов России.

В Риге я познакомился со многими еврейскими активистами. Я жадно впитывал новости об Израиле, по которым так соскучился в лагере. Погостив несколько дней, я собрался ехать обратно в Минск, где мне надо было оформить прописку, устроиться на работу и уладить еще ряд дел. Набрал сколько можно было еврейской литературы, я отправился на вокзал. Меня провожали мои друзья. Но на вокзале я заметил, что провожают меня не только друзья. Я это учел и, попрощавшись, сел в вагон. В Риге я сел в седьмой вагон. Я уже знал, что если меня провожали представители КГБ, то в Минске они обязательно меня будут встречать. Не доезжая до Минска, я перешел в тринадцатый вагон — мне было интересно, что они будут делать. На вокзале в Минске я вышел из вагона и сразу пошел домой. Меня же, очевидно, ждали у седьмого вагона, и для них я непонятным образом исчез. Они решили выяснить, приехал ли я домой или же застрял где-нибудь по дороге. Через час после того как я пришел домой, явился тип в гражданском и представился работником милиции. Он спросил у домашних, где я. Я вышел из комнаты и поинтересовался, в чем дело. Он начал что-то лепетать об устройстве на работу, о прописке, но было ясно, что его интересовало лишь, прибыл ли я. Убедившись в этом, он сразу же ушел. На работу меня брать не хотели. В течение двух месяцев я обивал пороги учреждений, но везде под разными предлогами мне отказывали. Руководители, страхуясь, посылали меня в вышестоящие организации или в райкомы партии, чтобы я принес оттуда направление на работу.

Для нас вы не реабилитированы

Примерно через месяц после освобождения я вдруг получаю решение Коллегии Верховного Суда СССР, в котором было сказано, что мое дело пересмотрено, обвинения не доказаны,

и я реабилитирован. Я не поверил своим глазам. Дело в том, что на протяжении трех последних лет заключения я не писал ни одной жалобы — и вдруг реабилитация! Я пошел к своему адвокату, мои друзья, работавшие с ним, выяснили, в чем дело. Оказывается, после того, как сняли Хрущева, начали пересматривать дела, связанные с ним, а так как в моем деле он фигурировал довольно явно, то оно попало на пересмотр. Как известно, ни на следствии, ни на суде обвинение в покушении на Хрущева доказано не было, но, несмотря на это, оно было включено в приговор отдельным пунктом лишь на основании агентурных данных. Сейчас они могли снять это обвинение, не боясь неприятностей. Понятно, что этот пункт о покушении был самым тяжелым. По сравнению с этим остальное — разные книжонки, сионистская пропаганда, встречи с работниками израильского посольства и иностранными туристами уже казались мелочью. В конце концов я был реабилитирован. После этого руководители учреждений могли уже смело брать меня на работу, и я устроился в городскую больницу старшим методистом по лечебной физкультуре. После реабилитации я попытался вернуть себе хотя бы изъятые у меня письма, книги и фотографии.

Я пошел в Верховный Суд СССР, который меня осудил, но там мне сказали, что мое дело хранится в архивах КГБ. В КГБ мне велели написать заявление и ждать вызова. Через несколько дней я получил повестку явиться в приемную КГБ. Там мне велели подождать, и через некоторое время пришел пожилой чекист с папкой в руках. Он раскрыл ее и сказал, что мне могут вернуть лишь небольшую часть фотографий и писем. В ответ на мое возмущение, мол, как же так, если я реабилитирован, то вы обязаны вернуть мне все изъятые вещи, он мне ответил: "Реабилитация эта лишь для вас, чтобы вы могли устроиться на работу, чтобы у вас не было чисто бытовых ограничений. Для нас же вы никогда не будете реабилитированы. С вас снято обвинение в покушении, но остальные пункты ведь остались. Кроме того, по существующему положению, даже если бы вы были и полностью реабилитированы, ваше дело должно храниться у нас вечно. И вообще, что вы так возмущаетесь? Люди по 20 лет зря сидели, и ничего, а вы каких-то 6 лет, и

уже строите из себя какую-то жертву". Когда я устроился на работу, уладил дела с пропиской и военкоматом, я начал присматриваться к окружению.

Минск в национальном отношении невыгодно отличался от таких городов как Москва и Рига. В Москве находилось израильское посольство и с ним можно было поддерживать связь, была большая синагога, где можно было собираться хотя бы по праздникам. В Москве проходили международные фестивали, конгрессы, выставки. В Москву приезжали со всех концов страны в командировки знакомые ребята. Не говоря уже о том, что в Москве жило около полумиллиона евреев. Рига была национальным островком в море ассимилированного еврейства. В Минске же всякое еврейское национальное самосознание и национальное достоинство были варварски уничтожены, а то, что осталось, было загнано в дальний угол и прижато русским сапогом. Но сейчас даже в Минске атмосфера изменилась. Народ начал просыпаться от полувековой спячки. Появился интерес к еврейству, к Израилю. Люди, которые раньше избегали всего национального, начали поворачиваться к нему лицом, особенно молодежь. Это можно назвать чудом. После пятидесятилетнего существования советской власти, которая делала все возможное, чтобы выжечь национальную сущность еврейского народа, у русского еврейства, особенно у молодежи, произошло возрождение национального самосознания. В мироощущении совершенно ассимилированных молодых людей, у которых даже родители были ассимилированы, не получивших никакого национального воспитания, не знающих ни национальных традиций, ни еврейской культуры, ни языка, пробудился дух их далеких предков.

Я не могу сказать, что современная сионистская молодежь Советского Союза является прямым наследником старого сионистского поколения. Наоборот, многие из них — внуки совершивших революцию в России, дети строивших советскую власть. Чем же все это можно объяснить? Сделаем экскурс в недалекое прошлое. В послереволюционный период, когда с евреев был снят ряд ограничений — черта оседлости, процентные нормы и другие, у значительной части еврейства возникли наивные надежды, что с решением социального вопроса сам по себе решится и национальный.

Самое трагичное, что многие из них совершенно искренне верили в это. Это был период вульгарного интернационализма. Еврейство России тогда даже не подозревало, что оно является той временной силой, которая нужна революции лишь до тех пор, пока у нее не появятся свои национальные кадры, после чего оно будет выброшено за борт всякой политической, государственной и общественной жизни страны. Больше того, в последующие годы оно явится громоотводом при различных внутренних кризисах. Многие из них сейчас, на склоне своих лет, это поняли и в частных беседах плачутся: "Кому, за что мы отдали свою жизнь, свои силы, свой талант, получив взамен лишь унижения, оскорбления и бесперспективность для своих детей и внуков?" Но эти старые люди, коммунисты и беспартийные, все же корнями своими были связаны с советской Россией, ибо она была их детищем. Не у каждого хватало мужества порвать с прошлым — ведь это значило перечеркнуть всю свою жизнь. Молодежь была свободна от этого и поэтому решительно повернулась к своему народу, к своему Израилю.

Одной из самых важных причин такого поворота еврейской молодежи является комплекс гражданской неполноценности. В Советском Союзе постоянно проводится широкая пропаганда великодержавного шовинизма. Всячески превозносится русская культура, русская наука, русское искусство, русские спутники. Русский человек — воплощение всех достоинств. И еврейский юноша где-то чувствовал, что к нему это не относится, что он все-таки не русский. О евреях же он знал лишь из антисемитских рассказов и анекдотов, где еврей — всегда карикатурный тип: он и хитер, он и трус, он и слаб, он и жаден, и тому подобное. Такое представление о евреях типично для русских. Желая сделать мне комплимент, они говорили: "Какой же ты еврей? Ты же совершенно не похож на еврея!" На мой вопрос, каким же они представляют себе еврея, они рисовали портрет: "Ну, такой маленький, узкоплечий со впалой грудью" или "толстый, с длинным носом и обязательно картавый". Я приводил им примеры наших общих знакомых, перебирая десяток-другой евреев, не похожих на этот портрет. Тогда они начинали задумываться и соглашались. Но и тут они не сдавались: "Портрет этот все-таки похожий,"

но устаревший. До революции евреи были именно такими, и лишь советская действительность их изменила к лучшему". Иными словами, подняла их до уровня русских.

"Они" и "наши"

Еврейская молодежь видела, что у всех народов есть своя история, своя культура, свой язык. Даже самые маленькие народы, насчитывающие несколько десятков тысяч человек, имеют свой язык, свои школы, свою литературу. Евреи же здесь всего этого лишены. (Вся еврейская литература начиналась и кончалась Шолом Алейхемом). Им постоянно напоминали, что русский народ — старший брат малых народов. Всячески давали им почувствовать, что они здесь чужие, что здесь они на правах пасынков, что они нерусские. Даже крупные ученые, ответственные работники, вплоть до министров, у которых в подчинении было много неевреев, даже они среди людей такого же положения постоянно чувствовали этот комплекс. С другой стороны, этот комплекс гражданской неполноценности заставлял евреев быть на голову выше нееврейских коллег, чтобы дать почувствовать, что в них нуждаются. Это могло как-то компенсировать их неуверенность в завтрашнем дне. Все это убеждало еврейскую молодежь, что здесь они не у себя дома, а на правах квартирантов. Они на своей шкуре испытывали известное правило: если украдет русский, то говорят, что украд вор, а если украдет еврей, то говорят, что украд еврей.

Они начали осознавать, что и у евреев есть свое государство, государство, которое одним своим существованием разбило многовековое представление о евреях, которые не хотят работать, не могут воевать, а способны лишь жить паразитами на теле других народов. Они слышали об огромных достижениях этого государства в экономике, культуре, науке и особенно об успехах его армии. Это очень ярко проявилось во время Шестидневной войны. Она послужила катализатором в пробуждении сознания еврейства. Люди привыкли слышать, что евреев бьют, над ними издеваются,

что они трусы, не умеют воевать, и вдруг они услышали противоположное — евреи кого-то бьют, евреи над кем-то издеваются, евреи побеждают, да еще как! И у них появилось, у некоторых подсознательно, чувство национальной гордости. Оказывается, и они народ, как все народы. Они распрямили спину, подняли голову и обратили свои взоры к своей далекой и в то же время ставшей столь близкой родине — Израилю. Помню, накануне Шестидневной войны, когда вся советская пропаганда кричала о готовящейся израильской агрессии, у меня на работе многие ассимилированные евреи возмущались: "Подумай, Толя! Куда они лезут? Чего им надо там? Сидели бы спокойно, пока их не трогают. Ведь их же раздавят, как козьявку!" Но через три дня, когда стало известно о полном разгроме египетской авиации и об успехах израильской армии, те же евреи, встречая меня, радостно взволнованным голосом, правда еще с оглядкой, говорили: "Ты слышал, Толя, как там наши дали! Какие молодцы!"

Еврейская молодежь стала задумываться — кто же мы, евреи, такие? Что такое Израиль? Она начала жадно искать всякий материал, откуда можно было бы что-то узнать. Но в Советском Союзе это не так-то легко найти. Литература по еврейской истории, культуре давно уже не издается, а все, что осталось после уничтожения, хранится в центральных библиотеках нескольких городов, и достать это очень трудно. Кроме того, малейшее проявление интереса к еврейству вызывает подозрение. Все, что у русского, украинца, литовца или грузина называется чувством национальной гордости, национального самосознания, для еврея квалифицируется как буржуазный национализм. Несмотря на это, еврейская молодежь перебирала горы старой литературы. Читали и переводили статьи и заметки из левой зарубежной прессы, что удавалось достать. Регулярно слушали радиопередачи из-за рубежа — Би-Би-Си, Голос Америки и, конечно, Кол Израэль. Эти радиопередачи часто глушат и слушать их приходится рано утром или поздно ночью. Чтобы можно было слушать Голос Израэля, приходилось переделывать радиоприемник, так как начиная с 1960 года в советских радиоприемниках многих марок была пропущена волна, на которой вел передачи Кол

Израэль. Очень популярны стали среди еврейской молодежи еврейские песни и танцы. Если кто-либо доставал пластинку с еврейскими песнями, то ее сразу же переписывали на магнитофонную ленту. Эта лента передавалась другим для переписки и в короткое время распространялась в сотнях экземпляров во многих городах. Еврейская молодежь разгуливала по городу с портативными магнитофонами, из которых громко звучали еврейские мелодии. Нужно знать Советский Союз, его атмосферу в недалеком прошлом, чтобы по-настоящему оценить это. Для большинства это было не просто увлечение — это стало смыслом их жизни. Целью нашей было донести до еврейской молодежи правду о своем народе, правду об Израиле. И противопоставить эту правду грязным потокам официальной пропаганды. Мы стремились пробудить в ассимилированных евреях чувство национального достоинства, чувство национальной гордости и в конечном итоге подготовить их к возвращению на свою историческую родину — Израиль. Каждая вещь, которая попадала к нам из Израиля, какая-нибудь незначительная безделушка, приобретала символический характер, являлась чем-то священным. Однажды я достал пачку израильских сигарет, и мы в своей компании курили одну сигарету, пуская ее по кругу. Я привез с фестиваля бутылку израильского вина Кармель, и его пили чисто символическими дозами, а когда оно кончилось, наливали в эту бутылку обыкновенное вино и ставили в центре стола как украшение.

Есть авангард. Это люди, которые целиком отдали себя делу национального возрождения. Они готовы пройти тюрьмы и лагеря, лишь бы обрести свою родину. Это выкристаллизовавшееся острие пробило брешь в железном занавесе Советской России.

В значительной части евреи, которые хотят уехать, еще не рискуют потерять то, что у них есть, и ждут более подходящего момента, когда после подачи документов им будет гарантирован выезд. У многих из них семьи, дети, и они сравнительно неплохо устроены. Боязнь обречь свою семью на нужду и страдание заставляет их пока воздерживаться от активной деятельности.

Есть евреи, которые находятся лишь в стадии национального пробуждения, их позиции еще не сформировались.

Есть, как и в каждом народе, люди беспринципные, приспособленцы, для которых не существует ничего святого. Все их помыслы, вся энергия сфокусированы на своем "я" – как бы лучше пристроиться, приспособиться и обеспечить свое благополучие. Их принцип – беспринципность.

Важную роль в пробуждении национального самосознания евреев играет советский государственный антисемитизм. Он, собственно, никогда не исчезал в Советском Союзе. Он менял лишь свои формы в зависимости от исторической обстановки. Ленин и Сталин были прежде всего революционеры-практики. В послереволюционный период, когда основная масса русской интеллигенции и русского чиновничества эмигрировала или была уничтожена, евреи по сравнению с отсталым безграмотным русским крестьянством являлись образованной и прогрессивной прослойкой. Кроме того, многие евреи, находясь под двойным – социальным и национальным – гнетом в царской России, видели в революции единственный выход из своего крайне тяжелого положения. Поэтому они были столь активны в революционном движении. Но как только в них отпала необходимость, их начали вытеснять под различными предлогами. В дальнейшем антисемитизм стал проявляться в более открытой и грубой форме. Многие правила и приличия были отброшены. Антисемитская пропаганда, явная и тайная, проводится в самых широких масштабах. Для этого используются как официальные средства пропаганды, так и аппарат распускания антисемитских слухов и инсинуаций. Если в печати говорится о каком-нибудь герое, крупном ученом или известном деятеле искусства еврее, то скрывается его происхождение. Это советский герой, советский ученый, советский деятель искусства. Но зато стоит попасть еврею в печать за какие-нибудь грехи, как здесь уже советская пропаганда из кожи лезет вон, чтобы подчеркнуть его еврейское происхождение. Если его фамилия и имя не типично еврейские, то обязательно будет назван какой-нибудь его родственник, у которого характерное имя. Периодически проводятся широкие антисемитские кампании под разными девизами: борьба с космополитизмом, борьба с

валютчиками, с сионизмом, но сущность их одна: борьба с еврейством и разжигание антисемитских страстей. Понятно, если на знамени государства начертано "равенство, братство, интернационализм", то оно не может проводить открыто свою антисемитскую политику под лозунгом "Бей жидов, спасай Россию!" Поэтому они прибегают к другим девизам. Но ведь даже небезызвестный Пуришкевич проводил свою антисемитскую борьбу под лозунгом борьбы с инородцами. Планомерная работа гигантского пропагандистского аппарата дала свои результаты. Можно с уверенностью сказать, что большинство населения Советского Союза заражено антисемитской бациллой. Это проявляется по-разному в зависимости от обстоятельств и личности.

Антисемитизм можно условно разделить на три вида. Первый — это животный антисемитизм, когда уже еврейский профиль или еврейская фамилия вызывают лютую ненависть и стремление к физической расправе; второй — антисемитизм тех, кто занимают ответственные посты и являются носителями официальной политики правительства. Они противники физической расправы над евреями, они против погромов и грубой антисемитской пропаганды по гитлеровскому образцу, так как это прежде всего невыгодно для Советского Союза. Но они твердо убеждены, что евреев надо держать в ежовых рукавицах, что евреи должны работать на Россию, на русскую науку, на русскую культуру. Евреи должны быть слугами России, отдавать ей все свои силы, весь свой талант, не получая как нация взамен ничего. Они считают, что евреям доверять нельзя, и они должны быть под постоянным контролем. Еврей может быть замом, помом, но только не первым лицом. Третий вид — антисемитизм масс, которых не интересует ни политика, ни социальные вопросы. У них одна забота — как получше устроиться, как побольше заработать, получить квартиру, выпить. Но при случае, если бьют еврея, они с удовольствием приложат к этому руку. У них сразу срабатывает инстинкт извечной ненависти к жидам. Особенно ярко это проявилось на оккупированных немцами территориях. В зависимости от среды еврей сталкивается с одним из этих видов антисемитизма. Сталкивается всегда, хотя некоторые евреи пытаются этого не замечать.

Часто еврейские ученые пишут доклады для русских, которые ездят на международные конгрессы. Для получения Государственной или Ленинской премии еврейский ученый нередко привлекает в соавторы русского только потому, что легче будет "протолкнуть" свой труд.

Особенно я интересовался еврейской молодежью. У меня появился новый круг друзей и знакомых. Я знал, что за мной следят, и мне не раз давали это почувствовать. Я не имел права подвергать опасности ребят, которые еще не были запятнаны в глазах КГБ. У меня уже был некоторый опыт конспирации, я прошел хорошую школу следствия, суда и лагеря. Поэтому я намеренно не создавал большие группы, не знакомил людей друг с другом и не хотел, чтобы все, кто был связан с моими друзьями, знали меня. У меня были ребята, с которыми я общался, снабжал их литературой, информационным материалом, а они, в свою очередь, распространяли его в своем кругу. Прежде чем дать им что-либо, я всегда их инструктировал, как вести себя в случае провала, рассказывал о методах допроса. Я советовал им инструктировать своих друзей, прежде чем давать им что-нибудь "крамольное". Дальнейшее показало, что благодаря такой профилактике я и другие ребята избежали тюрьмы. Литература распространялась по "молекулярной системе". Бывало, мне под большим секретом предлагали дать почитать одну из моих книжонок. Некоторым можно было сразу давать израильскую литературу, Жаботинского — они уже были подготовлены к этому, другие же вначале боялись брать что-либо израильское — они еще не освободились от страха прикоснуться к иностранному, но уже проявляли интерес к еврейству, его истории, его культуре. К ним я приходил с магнитофоном и записями еврейских песен. Некоторые израильские песни были популярны не только среди еврейской молодежи — их исполняли даже на открытых эстрадах, например "Тум балалайка", "Хава нагила". Интерес молодежи ко всему еврейскому с каждым днем рос. Позже они сами приходили ко мне и просили дать что-либо почитать об Израиле, просили рассказать последние новости. Особенной популярностью пользовался у молодежи Жаботинский. Его фельетоны, написанные более полувека назад, были настолько актуальны, что казалось, будто они написа-

ны вчера. Их размножали разными способами и широко распространяли. Сам облик Жаботинского, политического деятеля и писателя, публициста и солдата, его мужество и прямота, его беспредельная преданность сионизму вызывали всеобщее восхищение и гордость. Мы гордились, что являемся его соплеменниками.

Для приобретения нужного материала часто приходилось ездить в другие города, где у меня были лагерные друзья. Иногда для того, чтобы поехать куда-нибудь, мне приходилось сдавать кровь в качестве донора. Это давало мне два дня отпуска в дополнение к выходному дню. Литература была разная – журнал "Шалом", календари, израильские справочники, карты, проспекты израильских выставок, кинофестивалей, самиздатовские вещи. Иногда доставали зарубежные издания с еврейской тематикой. Например, сразу же после Шестидневной войны я достал французский журнал "Экспресс", посвященный Шестидневной войне. Все статьи были переведены на русский язык, размножены и распространены, а с обложки было переснято огромное число фотографий Даяна.

Грозит третья посадка

У меня был хороший знакомый, в прошлом крупный инженер-энергетик, а сейчас пенсионер. Он жил еврейством, отдавал свое время пропаганде сионизма, хотя его семейная обстановка не благоприятствовала этому. Мы с ним часто встречались, обменивались информацией и литературой. Но его засекли, и за ним началась слежка. Однажды он дал какой-то машинистке перепечатать материалы о Шестидневной войне, которые я ему принес. Этот материал был у нее похищен, как позже оказалось, агентами КГБ. Через несколько дней я поехал в Ригу к своим друзьям. Я узнал, что некоторых из них вызывали в КГБ, допрашивали и расспрашивали о многих, в том числе и обо мне. Я решил сократить свой визит и сразу же вернуться в Минск, чтобы предупредить ребят и убрать из дома все, что могло бы служить вещественным доказательством для обвинения. Когда я

вернулся домой, я сразу же позвонил одному из ребят, чтобы предупредить о случившемся и предложить ему принять некоторые меры предосторожности. Не успел я ему изложить все это, как он меня ошарашил новостью, что арестовали моего пожилого знакомого. Я с ним тут же договорился о конспиративной встрече в тот же вечер. Звонил я, конечно, не с домашнего телефона и не ему домой. Я сразу же поехал к себе. У меня скопилось много книг, журналов, самиздата — все это надо было немедленно убрать из дому. Но как и когда-то, рука у меня не подымалась что-либо уничтожить — слишком свято это было для меня, слишком дорого мне это стоило. У меня были знакомые, общение с которыми я сводил до минимума и держал их на всякий случай, в резерве. Здесь они мне весьмагодились. Это были люди абсолютно честные, которым я полностью доверял. Я позвонил им, они пришли в больницу, где я работал, и там, соблюдая все меры предосторожности, я им передавал эту литературу. При этом я их предупредил, как вести себя, если придут. Они должны были сказать, что я передал им этот закрытый на замок чемоданчик с домашними ценностями, на временное хранение, так как боялся хранить их на квартире, которую временно снимал у частного лица. Вечером я встретился со своим другом, который первый мне сообщил об аресте моего знакомого. Сообщивший был железным парнем, абсолютно честным, стойким и беспредельно преданным сионизму. Я просил его предупредить всех своих ребят, чтобы они убрали из дому всю крамолу. Я еще раз проинструктировал его, как вести себя на допросах, так как был уверен, что рано или поздно его вызовут. С другими своими друзьями и знакомыми я тоже провел инструктаж. Одного из них, к счастью, за несколько месяцев до этого ареста взяли в армию, и он со своим кругом ребят выпал из поля зрения КГБ.

Этот арест изменил все мои планы, и я срочно поехал в Москву предупредить друзей о случившемся. Слежка за мной значительно усилилась и приходилось прибегать к различным маневрам, чтобы как-то оторваться от преследователей. В тот же день я встретился с женой арестованного, чтобы посоветовать, как лучше вести себя на следствии. До этого она препятствовала сионистской деятельности мужа.

Она работала учительницей в школе и через два года собиралась выйти на пенсию. Она очень боялась, как бы ей это не помешало доработать оставшиеся годы. Но ее, оказывается, уже допросили в день ареста мужа. Случилось то, чего я больше всего боялся. Они ее очаровали. Это случалось со многими свидетелями, которые думали, что в КГБ на допросе на них сразу же набросятся с кулаками, грубой бранью, угрозами. Но опытные чекисты были предупредительными, вежливыми, пересыпали свои вопросы шутками, создавали непринужденную, чуть ли не дружескую обстановку. Наивным свидетелям казалось, что это их искренние друзья, которые хотят помочь им и их арестованному родственнику или знакомому. Но тон был дружеским лишь до тех пор, пока свидетели не подписывали протокол допроса. После этого игра прекращалась, и свидетели с ужасом обнаруживали, что они коварно обмануты.

Восторгу ее не было предела. Какие они вежливые, галантные, обаятельные, это уже не те чекисты, которые были в сталинские времена. Они не заинтересованы в аресте ее мужа, и она убеждена, что они искренни. Поэтому лучше всего быть с ними откровенными и говорить всю правду. К счастью, она знала очень немного из этой правды. После суда она, заливаясь слезами, говорила: "Как вы были правы! Кто бы мог подумать, что они могут так жестоко меня обмануть! Как они потом на меня кричали, ругали и грозили самым грубым образом! Куда девался их прежний шарм!" Я узнавал, что вызывали на допросы моих друзей и знакомых из разных городов, но меня пока не трогали. Разумеется, не все знакомые мне признавались, что их вызывали в КГБ и подробно расспрашивали обо мне, так как после допроса их предупреждали: "не разглашать". Дважды вызывали и этого железного парня, но он держался великолепно. Все, о чем мы договорились, он выполнил блестяще. Угрозы и шантаж на него не подействовали. Кагебешники приводили конкретные факты, показывали мои фотографии, называли точное место и время наших встреч, но на все это он отвечал твердым "нет!". Вызывали и его отца, но у того уже был опыт — он отсидел много лет в тюрьмах и лагерях в сталинские времена — и от него они тоже ничего не добились. Было ясно, что сейчас они

ведут подкоп под меня, так как вызывали свидетелей, которые ничего не знали об арестованном, но были связаны со мной. Прошло 5 месяцев после этого ареста. Были вызваны десятки свидетелей, но меня пока не трогали, а лишь неотступно следили за мной. Допросили большинство тех, кто был как-то связан со мной. Я чувствовал, что круг сужается. Начали вызывать моих сотрудников, в том числе тех, с кем у меня было мало общего. Было ясно, что, зная о моем опыте, о том, что взять меня старыми методами будет трудно, они старались наскрести побольше показаний, вооружиться множеством фактов, чтобы потом прижать меня в угол и заставить признаться. Зная мужество и честность арестованного, я был уверен, что он выдержит нажим следователей и не расколется. В некоторых свидетелях я не был уверен, но меня несколько успокаивало, что они знают не так уж много. Я чувствовал, что главврач больницы уже в курсе событий. Его отношение ко мне вдруг резко изменилось. Всех свидетелей, как правило, увозили неожиданно с работы или хватали на улице, что само по себе было противозаконным, так как свидетелям полагается заранее прислать повестку. Все время я находился в нервном напряжении, наблюдая каждый день, как они дежурят возле моего отделения, слыша почти ежедневно, что кого-то еще вызвали и допрашивали обо мне. Я хорошо знал, что если еще раз попадусь, то получу срок на всю катушку, и пошлют меня в лагерь особого режима. Я с нетерпением ждал, когда уже, наконец, меня вызовут, и мое положение прояснится. Что меня вызовут, я не сомневался. Наконец, пришел мой черед. В один из дней октября, когда я пришел на работу, меня вызвал начальник отдела кадров и вручил повестку о том, что я должен явиться в тот же день в КГБ к 10 часам утра. Со мной они действовали не так, как с другими, а по закону. Я пришел в хорошо знакомый мне дом, оформил пропуск и переступил порог, не зная, выйду ли обратно. В вестибюле меня встретил старший следователь подполковник Горшков, как он мне представился. В кабинете кроме него находилось еще два человека. Он мне их представил. Один из них — его помощник, второй — зам. главного прокурора республики. Его присутствие с начала до конца на всех допросах еще раз показало, что со мной

они стараются соблюдать законность, зная, что порядок следствия мне хорошо известен. Я был внутренне подготовлен к встрече. Зная по опыту, что их цель — получить нужные показания любыми средствами, я решил категорически отрицать все факты, даже самые мелкие, даже те, которые подтверждаются свидетельскими показаниями и уликами. Известно, что любая попытка на допросе как-то объяснить свои действия, оправдать их, придать им случайный характер или сказать полуправду — всегда в протоколе следователя будет звучать как "да". Если же категорически отрицать все, даже если это выглядит наивно и неправдоподобно, даже если это воспринимается как нахальство, то "нет" всегда останется "нет". Я твердо решил придерживаться этой тактики, зная, что при нынешней ситуации лишь она даст мне шансы избежать ареста. Вначале они вели общие разговоры, расспрашивали о работе, о личной жизни. Я их сразу же прервал: "Я в этих стенах не новичок, как вам известно, и знаю, что вас меньше всего интересует моя личная судьба, работа и семейная жизнь. Поэтому я предлагаю опустить вступление и перейти к делу". Они последовали моему совету, и начали сразу допрашивать об арестованном. Я ответил, что знаю его, иногда бывал у него дома, но ничего больше. Тогда они начали сыпать такими подробностями, которых кроме него никто не знал. Вначале я думал, что это результат подслушивания. Мне не хотелось верить, что он раскололся. Я твердо придерживался своей тактики и все категорически отрицал. Мне приходилось грубо врать, изображать из себя нахала и циника, но понимание того, где я нахожусь и с кем разговариваю, нравственно меня оправдывало. Это продолжалось до 6-ти часов вечера. Старший следователь выписал мне пропуск: "Сегодня я вас отпускаю. Идите домой. Но еще раз подумайте — своим тупым упрямством вы сами роете себе могилу". Я вышел обессиленный от того огромного напряжения, которое потребовалось, чтобы выдержать их натиск. На улице меня ждали ребята. Я их ввел в курс дела и поехал домой отдыхать. Назавтра продолжалось то же самое — новые факты, новые доказательства. Мое упрямство выводило их из себя. Они запретили мне курить, а я, в свою очередь, отказался отвечать. Я требовал, чтобы они писали

протокол слово в слово, как я им говорил. Иногда следователь со злобой рвал протокол и предлагал мне самому записывать свои ответы. Он кричал, что он не мой личный секретарь. По всему видно было, что они стараются связать меня с другими городами, особенно с Ригой. Но в Риге мы договорились, что я знаю лишь двух человек, с которыми сидел вместе в лагере, а с остальными рижанами не знаком.

По всему чувствовалось, что мой следователь – специалист по еврейскому вопросу. Он прекрасно знал историю советского еврейства, знал многих еврейских деятелей. На стене в его кабинете висела огромная карта Ближнего Востока. Как-то он мне говорит: "Ну что ваша литература! Книжонки, брошюрки, какие-то рукописи. У меня вот есть книжки получше", и, открыв огромный сейф, вытащил оттуда стопку израильской литературы на иврите, идиш и русском языках. "Вот видите, при случае я бы мог вам дать почитать ее. А здесь, между прочим, есть много интересно-го". Я ему отвечаю: "Можете не сомневаться, что такого случая вам не представится".

Так продолжалось день за днем, с десяти утра до шести вечера. Я выходил из этого здания настолько измотанным, что в автобусе по дороге домой засыпал от усталости. Но вместе с тем у меня было чувство удовлетворения, что и сегодня я выстоял под их напором, что им не удалось меня сломать, поймать на слове, что мне удалось обойти все расставленные ими хитроумные ловушки, которые они заранее приготовили. Мне все не хотелось верить, что арестованный расколосился, и я требовал очной ставки. Я говорил, что хочу услышать все это от него самого. Они мне говорили, что очная ставка будет не в мою пользу. Увы, они оказались правы. На пятый день допроса, после очередной неудачной попытки прошибить меня, они устроили мне очную ставку с арестованным. На очной ставке присутствовал старший следователь Горшков, его помощник и зам. главного прокурора республики. Они меня предупредили, что я не имею права непосредственно разговаривать с подследственным. Все вопросы и ответы я должен передавать только через старшего следователя, который вел очную ставку. Говорить я могу только с его разрешения. Все это было мне известно и раньше. Ввели в кабинет арестован-

ного. Увидев меня, он растерялся, покраснел, потом побледнел. Он отек, зарос щетиной, тяжело дышал, глаза — бегающие. Вид у него был весьма жалкий. Его усадили, и очная ставка началась. Вначале его спросили, знает ли он меня. Он ответил, что знает. На тот же вопрос, заданный мне, я ответил то же самое. Спросили его, в каких мы были отношениях. Он ответил — в дружеских. Я ответил — в хороших. Затем подполковник, обращаясь к арестованному по имени-отчеству, спросил: "Скажите нам, какую идеологически вредную литературу давал вам Рубин?" Я допускал, что его обманули, что агентурные данные ему преподнесли как мои показания, а он, полагая, что я все равно рассказал им все, решил тоже ничего не скрывать и рассказать все, как было. Поэтому я решил в нарушение очной ставки и невзирая на последствия, предупредить его, что я ничего им не сказал. Я надеялся, что тогда он откажется от своих показаний. Он еще не начал отвечать, как я вместо него, изображая возмущение, быстро ответил: "Никогда ничего подобного я ему не давал". Тут все они вскопили и заорали: "Замолчать, прекратите балаган! Вы прекрасно знаете правила очной ставки!" Посыпались угрозы. Но главное было сделано — он узнал, что я им ничего не рассказал и все отрицаю. Когда они немного успокоились, Горшков, который вел очную ставку, еще раз повторил ему вопрос. Последовала довольно длинная пауза и... мой знакомый начал все рассказывать с такими подробностями, каких я сам уже не помнил. Он точно называл, когда и что я ему приносил, называл страницу, где была какая-нибудь опечатка, цитировал, что я ему при этом говорил. Я был ошеломлен. Он подробно рассказал, как мы с ним познакомились, кто нас познакомил, и тоже со всеми деталями. После того, как он окончил, Горшков обратился ко мне: "Ну, что вы можете на это сказать?" Я ответил, что это просто оговор, что я не понимаю, почему он меня оговаривает, но все, что он здесь излил, является от начала до конца выдумкой. Арестованного увели, и Горшков еще раз спросил меня, как я сейчас смотрю на все это, после того, как они удовлетворили мою просьбу и дали очную ставку. Я повторил, как и прежде, что все это клевета, а почему он клеветает, я и сам не понимаю. "Я считал его честным человеком, а что вы

здесь с ним сделали, для меня является загадкой”. Мне угрожали: пока еще разговаривают со мной как со свидетелем, а не как с подсудимым, но положение может измениться. Грозили, что им ничего не стоит отменить мою прошлую реабилитацию. Один звонок в Москву, в Верховный Суд, и реабилитация будет отменена. Вместе с тем они похвалялись своим либерализмом – мол, если бы это было 10 лет назад, когда меня в первый раз арестовали, то я давно бы уже был в камере, а не дома. Я им отвечал, что понимаю, что нахожусь в их руках, что их власть почти неограничена. “Вы можете сделать со мной все, что вам угодно, но я вам в этом помогать не намерен. Если вас не устраивают мои ответы, то не пишите их, а если пишете, то пишите только то, что я вам отвечаю”. Иногда они старались расположить меня к себе, пытались беседовать по-дружески, делали мне комплименты, но все это было дешевой игрой. Допросы превратились в своего рода соревнование – кто кого. Они прекрасно понимали, что я неискренен с ними, так же, как и они со мною. Соревновались, кто выдержаннее, хитрее, ловчее. Когда меня попросили рассказать им что-нибудь просто так, не для протокола, то я им прямо сказал, что еще в прошлый мой арест я твердо усвоил первую заповедь заключенного – не верь следователю. Он вскочил и заорал: “Это вы из Мордовии привезли!” Я говорю: “Да, из Мордовии. Я должен быть вам благодарен, что так хорошо усвоил мордовскую науку”. И еще я его поблагодарил, когда он меня упрекнул за визиты к своим друзьям-единомышленникам в других городах: “Это тоже благодаря вам, благодаря Мордовии у меня появились друзья в разных городах Союза. И сейчас у меня есть куда и к кому поехать”.

По городу распускали самые невероятные слухи. Говорили, что готовится процесс над евреями, что евреи собирали деньги и золото и переправляли его в Израиль, что корабль “Эйлат” был куплен на собранные евреями деньги, и еще всякое.

На шестой день, в конце допроса Горшков, уже окончательно выйдя из себя, заявил: “Все, я отказываюсь иметь с вами дело. Пусть теперь вами занимается прокуратура и руководство комитета”. Я ушел. Ушел, но мое состояние было по-прежнему напряженным. Дело мое еще не было закончено, и они вполне могли вызвать меня на суд и там –

прецеденты были — взять под стражу. Но во всяком случае я убедился, что моя тактика подпольной работы и поведения на следствии полностью себя оправдала. Многие ребята, которые не были связаны со мной прямо, остались вне поля зрения КГБ. Их не допрашивали, и у чекистов было меньше возможностей получить на меня дополнительный материал. Инструктаж, как вести себя на допросах, тоже существенно помог. Если у ребят хватало воли и мужества выдержать нажим следователя, то они ошибок не делали. Многие вели себя исключительно мужественно. Мое поведение объясняется моим опытом. Но другие встречались лицом к лицу с КГБ впервые, были среди них и студенты, которые знали, что даже в лучшем случае их выгонят из института. Несмотря на это, они держались прекрасно. Я убежден, что спасло меня на следствии мое упрямое "нет" — не был, не говорил, не знал. Это надежнее, да и легче. Если будешь умничать, лавировать, говорить полуправду, то в итоге в протоколе окажется "да". Я усвоил простую истину: если дашь дьяволу палец, то он всю руку отхватит. После окончания следствия прошло почти два месяца. Все время мое положение было неясным. Все, что мне удалось узнать через знакомых адвокатов — это то, что на меня было частное определение. От неопределенности, постоянной слезки и напряжения я ужасно устал и ждал хоть какого-нибудь конца. Суд назначили на декабрь. Многие свидетели получили повестку явиться на суд, но не я. Тогда я понял, что дело мое закрыли. Вызывали свидетелей, которые дали показания, но так как я показаний никаких не давал, то смысла вызывать меня на суд не было. Но я, конечно, все равно пришел на суд, хотя в зал судебного заседания меня не пустили. Стоя за дверью, я слышал, как адвокат подсудимого старался всю вину свалить на меня. Вызывали много свидетелей с прежней работы подсудимого, его знакомых, которых я даже не знал. Многие из них вели себя не лучшим образом. Некоторых из них выгнали с работы, были среди них и коммунисты, которых исключили из партии. Защита собрала все прошлые заслуги подсудимого, все награды. В свое время он создал в Белоруссии всю энергосеть, у него было много трудовых орденов и грамот. Суд учел это, а также его пожилой возраст, и ограничился полутора годами лагерей строгого режима.

Убирайся в свой Израиль

После вынесения приговора я побежал к телефону звонить в Ригу о результатах суда. В ответ мне сообщили приятную новость — начали давать разрешения на выезд в Израиль. Я бросил все и поехал в Ригу. Вся еврейская Рига была возбуждена, многие затребовали вызовы. Организовывались шумные проводы, все разговоры были только об Израиле, об алие. Я проводил кое-кого из своих друзей и просил, чтобы мне срочно выслали вызов. Через три недели я его уже получил и сразу же пошел в минский ОВИР: "Вы принимаете документы на выезд в Израиль?" Мне отвечают: "Да, принимаем". Я спрашиваю: "Но ведь еще недавно не принимали?" — "Да, — говорят они, — раньше не принимали, а теперь есть указание принимать". Я тут же взял все анкеты, которые нужно было заполнить, узнал, какие еще требуются документы, и запустил колесо оформления. Я забегал по разным организациям для получения всяких справок. От меня потребовали, чтобы я уладил свои дела с пропиской, потому что был прописан по одному адресу, а жил по другому. Сделал нужные фотографии, уплатил необходимую сумму денег — благо тогда евреев продавали еще по дешевке — всего по сорок рублей за голову. Необходима была характеристика с места работы — как будто это имело для ОВИРа значение: если хорошо работал, то выпустят, если плохо, то нет. Или наоборот. Руководство больницы было уже в курсе дела, и на мою просьбу о характеристике дало положительный ответ. Было устроено совещание — главврач, парторг, председатель месткома и заведующий отделением. Характеристику написали, но на руки мне ее не дали, а сказали, что отвезут в ОВИР. Из суеверия я не стал готовиться к отъезду раньше времени, а решил, что начну собираться тогда, когда получу официальное разрешение. Через две недели после подачи документов я уже узнал, что мне разрешат выехать. У меня был приятель, который работал на секретном заводе. Через две недели после подачи мною документов его вдруг вызвали в первый отдел завода, то есть в местный отдел КГБ. "Вы знаете Рубина?" — "Да, знаю". — "Что он из себя представляет?" Мой приятель охарактеризовал меня положительно,

обойдя, конечно, мои убеждения. Тогда кагебешник ему говорит: "Да, нам известны все эти его достоинства. А знаете ли вы, что он человек нехороший и опасный? Знаете ли вы, что он уже отсидел шесть лет за государственные преступления? В этом году он опять напрашивался получить срок. Но мы, собственно, вызвали вас, чтобы сообщить вам следующее. Скоро он уезжает в Израиль, и уедет навсегда. Вы, конечно, понимаете, где вы работаете, что представляет собой наш завод. Если будет малейшая утечка информации, то, понятно, вся ответственность ляжет на вас". Через день я узнал об этом разговоре, но все же готовиться к отъезду не стал. Мои вещи были разбросаны по разным квартирам. Их надо было рассортировать, отобрать нужное. Хотя принципиально вопрос о моем выезде был решен уже через две недели, но все оформление было затянуто, и лишь через два с половиной месяца мне сообщили, что вопрос мой решен положительно, и я могу завтра прийти за визой. Я сразу же побежал на работу увольняться. Позвонил друзьям, что получил разрешение, и считал, что одной ногой я уже в Израиле. Но когда на завтра я пришел за визой, начальник ОВИРа вдруг говорит: "Знаете, вопрос о вас, оказывается, окончательно еще не решен. Завтра должна быть еще одна комиссия, и она решит вашу судьбу". Можно представить мое состояние. Я никогда не чувствовал, где у меня сердце, но здесь оно у меня так сжалось, что я едва удержался на ногах, схватившись за край стола. Кое-как пережил ночь, а на следующее утро побежал снова в ОВИР. Там часа два мне пришлось ждать приема и, наконец, начальник ОВИРа вызвал меня к себе в кабинет. Когда я вошел, он сказал: "Ну вот, все". У меня сердце снова екнуло: что все? "Вам разрешили уехать". И со злобой: "Лучше убирайся в свой Израиль, чем отравлять здесь сознание советской молодежи".

Мы уже знали, что активистов отпускали легче. Власти хотели избавиться от активистов еврейского национального движения, обезглавить его, но было уже поздно. Национальное возрождение началось, и ничто уже не могло остановить его. На месте уехавших активистов появились новые, которые намного превзошли своих предшественников.

Обычно уезжающим давали по 2 месяца на сборы. Мне же почему-то дали всего 12 дней, но визу я получил на день позже, выехал на день раньше, а из оставшихся 10 дней 3 дня ушли на передачу кабинета на работе, 3 дня на поездку в Москву для оформления визы и других документов, и на сборы у меня осталось всего 4 дня, 4 дня — а я еще не начинал собираться. После подачи документов я строил планы из расчета, что у меня будет 2 месяца на сборы. Я хотел съездить во многие города попрощаться с друзьями, все обговорить и обсудить. Но КГБ именно этого не хотел. Как только я сдал свой кабинет и уволился с работы, я поехал в Москву, оформил визу в голландском и австрийском посольствах, обменял 90 рублей на доллары и отправился за билетом. Я не хотел брать билет на последний день, так как если по какой-либо причине самолет не сможет вылететь, виза будет просрочена. Поэтому я взял билет на предпоследний день. В Минске я колесил на такси по городу, собирая свои вещи. Сидел ночами, сортировал бумаги, распределил, что кому отдать. Вещей у меня набралось два чемодана, с ними я и приехал в Израиль.

Я на такси разъезжал по городу, чтобы попрощаться с друзьями. Забегу минут на 20, запишу все, что надо, расцелуюсь и на той же машине еду к следующему.

Несмотря на то, что я почти со всеми друзьями распрощался, многие из них пришли на вокзал проводить меня. После Шестидневной войны я был первым, кому посчастливилось получить разрешение на выезд. Люди тогда еще не привыкли к проводам, не знали, как будут реагировать власти. И они знали, что провожают меня не только друзья, но и кагебешники. Но это их уже не пугало. Некоторые на завтра прилетели еще и в Москву на проводы. В Москве меня встретили московские друзья. Приехали проводить меня друзья и из других городов. У многих из них было смешанное чувство радости за меня и белой зависти. Проводы в Москве устроили большие, шумные. Были речи, пели израильские песни, танцевали — все это продолжалось до поздней ночи. Возвращались мы домой последним поездом метро и в нем продолжали петь израильские песни и танцевать. У нас был портативный магнитофон с израильской музыкой, который звучал на полную мощность — и все

это мы делали открыто, не скрывая своих чувств. Провожали меня не только евреи, но и русские друзья.

Я родился евреем и хочу остаться им. Все, что связано с еврейством, мне дорого и близко, ибо это мое, как и я частица его. Я хотел бы видеть свой народ могучим, единым, лишенным каких бы то ни было пороков, но я люблю его таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. Я никогда не считал и не считаю, что евреи лучше других, я никогда не умалял достоинств других народов, я просто лютей враг антисемитизма. А то, что некоторые народы в своей массе являются антисемитскими, так это уж не моя вина. Вместе с тем мне чуждо и противно, когда некоторые еврей-обыватели прикрывают свою посредственность именами великих соплеменников.

Назавтра утром еще раз проверяю все записи и бумажки. Приходят все новые и новые люди, дают свои адреса для вызова. Все просят не молчать там, сделать все возможное, чтобы помочь им уехать. Они хотят услышать голос солидарности своих братьев, голос этот должен не умолкать и быть принципиальным. Я прекрасно понимал их. Не раз я испытывал чувство одиночества и заброшенности, а это — самое тяжелое чувство. Только тогда, когда евреи в России будут знать, что они не одни, что у них есть братья, которые думают о них, которые делают все возможное для их спасения, — только тогда у них будут силы, стойкость и надежда. Помню, после выхода книги Симонова "Живые и мертвые" в военной академии им. Фрунзе проходила читательская конференция. Автор тогда между прочим сказал (цитирую по памяти): "Остается психологической загадкой, как крупные военачальники, прошедшие подпольную борьбу в царской России, участники гражданской войны, люди, которые, окажись они в немецком плену, могли бы выдержать самые нечеловеческие пытки, как эти люди, которым никак нельзя отказать в мужестве, оказавшись в советской тюрьме, были совершенно морально разбиты. Они оговаривали себя, друг друга, своих близких друзей, дети — своих отцов и жены — своих мужей". И он добавил: "Чувство одиночества и покинутости, отсутствие моральной поддержки парализовало их волю, силы, самообладание".

Прощай, родина-мачеха!

После того, как я все записал, мы поехали в Шереметьево. Там уже ждала меня большая группа друзей и знакомых. Прощаюсь с друзьями. Последние объятия, поцелуи и наставления. На просмотре багажа я раскрыл свои чемоданы, сумки, и как будто все прошло нормально. Вдруг кто-то подошел к проверяющей мои вещи таможеннице и что-то шепнул ей на ухо. Она спрашивает: "Вы будете Рубин?" — Я говорю: "Да, я". — "Тогда пройдите еще в ту комнату". Но вещи, поставленные на конвейер, уже уплыли за ограду. Я вошел в указанную комнату лишь со своей папкой, в которой были билеты и документы. Мне велели раздеться почти догола и устроили шмон не хуже тюремного. Но при мне уже ничего не было такого, что бы могло их заинтересовать. Единственное, что они у меня изъяли — протокол обыска во время моего ареста. Но это было уже не столь важно для меня. Объявили посадку на мой самолет. Мне велели быстро одеваться и идти на посадку. Когда я вышел из комнаты, меня ждал один из моих друзей, которому удалось проникнуть за ограду, где находились пассажиры после таможенного досмотра. Он мне предложил взять с собой сверток с проявленными фотопленками. Я знал об этих пленках, знал, что на них имеется гриф "секретно" и шапка Комитета госбезопасности. Этот сверток мог мне стоить 10 лет, но в тот момент я совершенно не думал о тюрьме, а лишь о том, что одной ногой я уже в Израиле, и вот могу лишиться этого, быть может единственного шанса в жизни попасть на родину. Но все прошло благополучно, сверток был привезен мною без каких-либо осложнений.

Я прошел последнюю пограничную проверку и вышел на летное поле. В аэропорту есть специальный грибок, на котором стоят провожающие, там были мои друзья. Они пели песни и махали мне на прощанье — но уже как израильтянину. Автобус отвез меня к самолету австрийской авиакомпании. Я поднялся по лестнице, посмотрел в последний раз на "родину"-мачеху и вошел в самолет. Я сел на свое место, и все еще не верилось, что я уже на свободе. Вскоре взревели моторы, самолет взял старт, набрал скорость, и я оторвался от "родной" земли.

Август 1972 года, Иерусалим

ЦВИ РАМ



Автор (род. в 1911 г.) вырос в традиционной еврейской семье, в атмосфере еврейской культуры. В молодости жил в Одессе, подростком встретился с Бяликом, Черниковским и испытал на себе влияние творчества на иврите. Связь с Эрец-Исраэль была очень сильна. Он состоял в сионистских молодежных организациях. Далее рассказывается об усилиях в получении разрешения на выезд в Государство Израиль и трудностях, связанных с этим.

Суть работы — рассказ о деятельности и борьбе сионистов в условиях подполья и преследования. Повесть написана с большой силой и искренностью, она свидетельствует о национальном самосознании молодежи в Советском Союзе и ее готовности к самопожертвованию.

Разрыв между двумя частями повести нарушает цельность работы, но несмотря на это рассказ читается с волнением. Это повесть сиониста, которому удалось осуществить мечту юности и приехать в Государство Израиль. (Выписка из протокола заседания жюри.)

Девиз: *Цофе**

Можете отчаливать!

Всю жизнь я чувствовал себя в пути. Ощущение временности не покидало меня никогда. Если случалось прожить в одном месте несколько лет, все равно я был скитальцем, не достигшим цели, символом которой была шестиугольная

* См. также Примечания, стр. 389.

звезда. И когда само государство было еще в пути, я всегда был на пути к нему. Надежда вспыхивала вновь и тихо тлела, когда судьба готовила новые петли и зигзаги, унося меня в совершенно противоположном направлении — поездом или пароходом, автомашиной или пешком, на оленях или на собаках. Даже в самом безнадежном положении всегда с мыслью: "Только бы выжить, — и доживешь! Од ло авда тиква-тейну! Хазак ве-эмац!"

Я стою перед пышной блондинкой с многообещающей фамилией Надеждина, на которую с надеждой взирали десятки еврейских семейств, ожидавших от ОВИРа решения своей судьбы.

— Получен ответ на Ваше заявление!

"Каков будет ответ?" — застучало в висках: ведь в том, семидесятом, когда не более тысячи счастливых просочились из Союза на Родину, обычно выслушивали отказ с правом возобновления ходатайства через год. Голова моя кружилась, и как во сне я услышал резкий скандирующий голос:

— Вашей семье разрешен выезд на постоянное жительство в государство Израиль. Вы лишаетесь советского гражданства. Через десять дней я вызываю Вас с квитанцией о взносе пошлины для получения выездных виз. Сдавайте квартиру, и... можете отчаливать!

— Спасибо за радостное сообщение, — вежливо поблагодарил я за долгожданный ответ, изложенный в такой категорической форме.

"Можете отчаливать" — мысленно повторил я и вспомнил, как еще подростком не раз провожал пароход, отправляющийся в Палестину. Пока судно медленно отчаливало, на корме, обращенной к собравшимся на пристани, группа халушим поднимала бело-голубое знамя, наскоро изготовленное после тщательного обыска, и запевала "Ха-Тиква". А провожающие подхватывали гимн. И кого-то поднимали крепкие молодые руки, и звонкий голос провозглашал над толпой:

— Да здравствует еврейская трудовая Палестина!

И смельчака быстро опускали, чтобы он поскорее смешался с провожающими, среди которых шныряли агенты ГПУ.

"Когда отчалит мой пароход?" — думал я тогда.

”Неужели мы, действительно, отчаливаем?” – стучало теперь в моей голове. Позади ожидание вызова, сбор документов, осложнения с получением характеристик, разговоры с начальством на разном уровне с попытками уговорить, передумать, полгода томительного ожидания, полного сомнений, какой будет ответ...

Но ведь это было лишь началом конца. А началось все значительно раньше. Даже и не установишь, когда началось.

Мосты в прошлое

Выходя из ОВИРа и ощупывая себя (“не во сне ли?”), я вспоминал, как лет двадцать назад меня вывезли на “черном вороне” из этого же здания, где тогда помещалось Управление Госбезопасности с примыкающей к нему внутренней тюрьмой. Тогда этот эпизод закончился для меня “вечной ссылкой” в Заполярье, куда я был отправлен этапным порядком без единого свидания с родными. Это было уже пятое постановление Особого совещания, которое на протяжении многих лет неизменно дарило меня своим вниманием.

По прибытии на место я встретил старого товарища по тюрьме и ссылке, Кунцю Цап. Мы не видались 15 лет. Ее привезли прямиком из лагеря после двенадцатилетнего заключения. В этой ссылке мы пробыли 5 лет, и с тех пор не теряли друг друга из виду. Приехав в Израиль годом раньше, она позаботилась о моем вызове.

Впервые мы встретились с ней в политизоляторе, куда я прибыл с трехлетним сроком, совсем еще юношей, но это уже было вторым для меня подарком Особого совещания.

В Израиле меня ждал ряд приятных сюрпризов – встреча с товарищами по заключению и подполью, о судьбе которых мне ничего не было известно. Да и меня считали погибшим, пропавшим без вести, как и многих других, чей путь прервался трагически. Они так и не достигли Родины.

Здесь я встретил Иехуду Нур (инженера Хайфского муниципалитета) и Соню Нэта (из кибуца Гиват-Хаим), товарищей по первой ссылке, куда я попал в восемнадцать лет. Вскоре они выехали в порядке “замены” в Эрец-Ис-

разель, а мне по заданию организации удалось бежать и вернуться к подпольной работе. "Вернуться", — ибо этой первой ссылке предшествовало участие в детской, а потом молодежной сионистской организации в течение пяти лет.

В Лоде меня встречала Люба Кантор из кибуца Мааган-Михазель, старый товарищ по движению. Вскоре я нашел Леночку Выходец, Соню Вайсберг, Эфраима Пустыльника, воспитанников Одесского Гашомера (Хашомера) и нашего руководителя Тову Ногину-Саарони. А вот и семья Жерненских, выехавшая в Палестину с родителями еще в двадцатые годы: Жанна — в Тель-Авиве, Лиля — в Хайфе, их брат Хаим — в Хадере. Развернутый фронт! С Хаимом мы учились в одном классе в школе "Тарбут".

Все новые встречи уводили меня в глубины детства. В школу я пошел семи лет, сразу во второй класс. А еще раньше был детский сад...

Через несколько дней после моего прибытия в страну нашу группу в ульпане посетил новый министр абсорбции. Оказалось, что мы уроженцы одного города.

— Но откуда такой иврит у оле со стажем в несколько дней?

— Еще из детского сада Гальперина, — ответил я.

— Так ведь и я воспитанник того же детского сада, — воскликнул Натан Пелед.

А до детского сада? Еврейские буквы я знал раньше русских, и с трех лет начал понемногу разбирать слова, напечатанные под картинками.

Итак, пустив фильм собственной жизни в обратном направлении, я дошел до такого нежного возраста, что вряд ли можно искать тот час или год, когда я "прозрел", когда во мне проснулось национальное самосознание, когда я понял, насколько важно для народа его объединение на исторической родине, когда я осознал себя евреем и сионистом. Закрепленное потом в движении, в котором я участвовал с двенадцати лет, это чувство и сознание уходят своими корнями в семейные традиции, впитано "с молоком матери", возвращено теми, кто учил меня ивриту, кто послал именно в такую школу и в такой детский сад, унаследовано от отцов и дедов.

Так с них и начать!

Апельсины из Палестины

Дед мой по отцу был суховатый и строгий старик, малообщительный, постоянно занятый в своем кабинете, где за стеклянными дверцами больших шкафов стояло много еврейских книг. Он принадлежал к митнагдим и маскилим. Когда после его смерти библиотека перекочевала в нашу квартиру, в ней, помимо фолиантов Талмуда, Мишны и других религиозных книг, оказалось немало светской литературы, оригинальной и переводной на иврит и идиш, а также много периодических изданий последних десятилетий прошлого века, укомплектованных по годам и аккуратно переплетенных. И отец мой до своей женитьбы успел сделать свой вклад в эту ценную библиотеку. Мне помнится, как, желая приобщить меня к чтению на иврите, он достал из шкафа увлекательный роман Эжена Сю "Тайны Парижа" в переводе на иврит.

Дед был купцом второй гильдии, а отец считался его компаньоном. Это было довольно крупное оптовое дело по экспорту в Палестину овощей, в основном, картофеля, а обратно отгружали цитрусовые, главным образом знаменитые яффские апельсины, которые поступали целыми пароходами, сортировались на складе и отправлялись дальше по всей стране.

Дедушка даже совершил поездку в Палестину, как паломничество к святым местам, а также и по своим коммерческим делам. В дороге он вел дневник, и эта маленькая клеенчатая книжечка, исписанная мелким бисером на иврите, после смерти деда всегда лежала на ночном столике отца рядом с еврейским календарем. С трудом справляясь даже с печатным еврейским текстом без некудот, я и не пытался одолеть мелкую вязь дедовского почерка, но иногда я листал эту тетрадку и с благоговением проводил пальцами по гладкому блестящему переплету.

При сортировке апельсинов отбирались подозрительные, не подлежащие дальнейшей транспортировке, которые продавались на месте по низкой цене. Их целыми мешками приносили к нам в дом, и мы едва успевали с ними справляться. Угощали соседей, знакомых и, наконец, нашли более легкий способ их поглощения — начали давить сок. С

тех пор всегда в моем представлении ассоциируется слово "апельсин" со словом "Палестина", как по созвучию, так и по взаимной связи.

А соки Родины я впитал в себя с самого детства, в буквальном смысле этого слова.

Отец

Светлой памяти этого дорогого для меня человека хотелось бы уделить больше, но в плане этого повествования скажу лишь о тех национальных, культурных и общественных началах, которыми я ему обязан.

Он не кончал ни гимназии, ни иешивы, а получил "домашнее образование", но был довольно эрудирован, как в вопросах чисто еврейских, так и в общекультурных. Он постоянно пополнял свои знания. Страдая бессонницей, много читал по-русски, на идиш и на иврите. В домашней библиотеке были классики и современная литература, энциклопедии и книги по искусству, мирозданию, истории, географии и другим областям знаний, сочинения Дарвина и даже "Капитал" Маркса в дореволюционном издании. Большое место занимала литература по еврейскому вопросу на русском языке – книги Греца, Дубнова, книги Пасманика, стенографический отчет "Дела Бейлиса", переводы поэтов и писателей. Для нас выписывали "Колосья" – журнал на русском языке для еврейских детей.

Детям он старался дать по мере возможности еврейское воспитание. Сестры учились в лучшей еврейской гимназии. Жаботинской-Копп.

Встречи в Израиле с сыном Жаботинской Джонни Копп (Иона Тамир) и с соученицами сестер были для меня тоже мостом в прошлое.

В три года я получил красочный еврейский букварь, и первым моим учителем был отец. До сих пор у меня ассоциируются слова "ракевет" и "арневет", как по звучанию, так и по расположенным рядом картинкам, причем мне казалось, что бегущий заяц мчится на всех парах, а поезд, ну просто ползет. До меня уже доходило, что окончание этих

слов "ет" — женского рода, ибо на соседней странице была "гарнеголет" в отличие от красноголового "тарнегол".

• В шесть лет я пошел в детский сад, где воспитательницы разговаривали с детьми только на иврите, а на следующий год — в школу, где преподавание всех предметов велось на этом языке. Когда ее закрыли, я посещал русскую школу, продолжал заниматься ивритом с учителями на дому, лет до пятнадцати. Это был полный комплекс — грамматика, литература, история, Танах, "Сейфер Агада". Полученные тогда основы очень помогли моей интеграции в Израиле, за что чувство благодарности к отцу не покидает меня никогда.

На бар-мицва меня призвали к Торе, и я был достаточно подготовлен, чтобы не ударить лицом в грязь. Второй раз в жизни это произошло со мной недавно, когда перед свадьбой дочери к Торе призвали моего будущего зятя, а за компанию и меня.

С детства отец увлекался музыкой, но никогда ею специально не занимался и не пел в синагогальном хоре. Обладая абсолютным слухом, он подбирал на пианино еврейские и молдавские мелодии "одним пальчиком", в аккомпанименте звучали мощные гармоничные аккорды. Он очень любил оперу, которую посещал "запоем", знал всех итальянских "соловьев", и многие партии мог исполнять наизусть. В молодости он участвовал в любительском кружке, где пытались ставить целые оперы. В доме был граммофон с обилием пластинок классической и еврейской музыки и записями знаменитых канторов. Другой страстью отца была духовная музыка. Он имел постоянное место в Бродской синагоге. Там был женский хор и орган, к великому ужасу ортодоксальных евреев, считавших такую вольность кощунством.

Женившись на провинциальной девушке из богатой хасидской семьи, он старался приобщить ее к городской жизни и кругу своих интересов. Он не вторгался в ее сферу, предоставив ей полную свободу в ведении кошерной кухни и соблюдении святости субботы. Но для него самого важнее всего был не чисто религиозный, а именно национальный характер еврейских традиций.

Мама зажигала свечи в пятницу, в канун праздников, а

отец на Ханука. Мы понимали значение каждого праздника. Справляли сейдер, который превращался в настоящий концерт в исполнении родителей и четырех детей. Особенно мы любили те песни, которые поют после ужина. До сих пор эти напевы звучат в моей памяти, так же, как и богатые мелодии и гармония богослужений Бродской синагоги, которую я посещал с родителями.

Отец мой никогда не состоял в сионистской организации, но, наверное, приобретал "шекель" и всегда был активным участником многочисленных благотворительных и культурно-просветительных обществ. В нашем доме неизменно висели кружки "Эзрат-холим", "Эзрат-аниим". Он участвовал в комитетах помощи беженцам, был активным членом музыкально-просветительного общества "Хазомир". Когда все эти виды деятельности были запрещены, он еще оставался членом правления синагоги и городской религиозной общины.

В первые годы после революции выезжало в Палестину много видных еврейских деятелей.

— Мы поедem следующим пароходом, — говаривал обычно отец. Но двинуться такой семьей без всяких средств было непросто. Однако он продолжал интересоваться всем, что происходит в Палестине.

— Я видел дирижера Мариинского театра Голинкина, который едет в Палестину организовывать оперу.

— Оперу называли "Хизаен". Черниховский пишет либретто на иврите.

— Говорят, что еврейский пригород Яффа—Тель-Авив — это маленький Париж!

— Бялик написал новую поэму, в которой превзошел самого себя.

Мой отец был отличным чтецом, и с особым колоритом читал Шолом-Алейхема. Соберутся, бывало, в пятницу или субботу гости, соседи. Отец достает толстые комплекты журнала "Дер Юд" или изданные отдельными брошюрами рассказы великого юмориста. Когда я был совсем мал, я засыпал на этих чтениях, и меня уносили в постель. Потом мне было досадно, что все смеются, а я не понимаю (в доме говорили с детьми по-русски). Но когда я стал старше и начал понимать идиш, я полюбил эти отцовские чтения и до

сих пор помню отдельные рассказы и фельетоны, в которых так отчетливо звучал смех сквозь слезы, в его исполнении. Однажды он начал читать нам роман "Блуждающие звезды". Если я бывал занят и пропускал отдельные главы, то, с трудом осваивая чтение на идиш, старался сам наверстать упущенное. Так понемногу я начал читать на идиш, а со временем понимать игру Михоэлса и Зускина.

Но советских газет на идиш не бывало в нашем доме. Отец с возмущением отбрасывал и русскую газету, которую все же выписывал.

— Это не пресса, а пресс. Нит кайн блат, нор а блотэ (не газета, а грязь.)

Честный и принципиальный, он вообще не мог приспособиться ко лжи советской действительности и закончил свою жизнь трагически. "Человек без определенных занятий", "нетрудовой элемент", "лишенец", которого преследует фининспектор, и выгоняют из квартиры, он казался себе лишним и ненужным, пятном и помехой для детей, которые выходят на самостоятельную дорогу.

В пуриимский вечер, отослав маму в синагогу послушать "Мегилат Эстер", он закрыл дверь на ключ и принял большую дозу снотворного, чтобы уснуть навсегда.

Эта смерть всколыхнула весь город. Многие находились в аналогичном положении и были близки к принятию такого же решения. Волна самоубийств прокатилась тогда по еврейским местечкам и среди жителей еврейских окраин больших городов. Общественность хотела отложить похороны с пятницы на воскресенье, чтобы превратить их в мощную демонстрацию. И хотя хоронили отца в день его кончины и многие не успели узнать о происшествии, процессия растянулась на два квартала. На следующий день местная газета была полна объявлений с выражением соболезнования.

Меня не вызвали на похороны. Я скрывался тогда после побега из ссылки, семья была центром внимания, и я немедленно стал бы добычей тех органов, которые за мной охотились.

Проведать могилу отца я получил возможность только через 16 лет, после отбытия четвертого срока заключения. Еврейская религия считает самоубийц отверженными. Их обычно хоронят отдельно, у кладбищенской стены. Мой отец

похоронен в общем ряду, на довольно почетном месте — против могил писателей Менделе и Фруга. Незадолго до выезда в Израиль я посетил в последний раз эти могилы.

Тогда весть о трагической гибели моего отца, о которой я узнал вдали от дома и близких, глубоко потрясла меня. Я долго не мог привыкнуть к мысли о необратимости свершившегося. Мне было едва 18 лет, жизнь только начиналась. Много трудностей ждало меня впереди. И всегда, вспоминая отчаянный и непоправимый шаг отца, я твердил себе:

— Нет, это не мой путь! Хазак ве-эмац!

Еврейский центр

В городе, где я родился и провел детство и ранние годы юности, жили и работали такие выдающиеся евреи, как Лиlienблум и Ахад-Гаам, Усышкин и Жаботинский, Бялик и Черниховский, Фруг и Менделе. Организатор еврейского спортивного общества "Маккаби" Я. М. Грановский жил в Одессе, где умер молодым, скошенный тифом. Говоря об Одессе, как о еврейском центре, нельзя не упомянуть существовавшие там издательство "Мория" Бялика и Равницкого, Бродскую синагогу и общество "Хазомир", гимназию Жаботинской-Копп, детский сад и курсы для еврейских фребеличек Иехизля Гальперина, школу "Тарбут" Ноаха Пинеса, задуманную по образцу гимназии "Гершлия". Многие из упомянутых деятелей выехали в Палестину и успешно продолжали свою плодотворную работу, некоторые похоронены в Одессе. Но не все их могилы целы. Об Одессе, как о крупном еврейском культурном, общественном и политическом центре и славной плеяде его деятелей, написано немало. Здесь я сосредоточиваюсь только на том, что осталось в моем сознании, содействовало оформлению моей личности и оставило неизгладимый след на всю жизнь, предопределило мой жизненный путь и привело на Родину.

Дома у нас висел отрывной еврейский календарь, и каждый год сменялись на нем знакомые лица видных людей. Я знал их по книгам, по другим портретам, но я мог их встретить и на улице и в общественном месте, услышать, что кто-то из них сделал вчера или сказал сегодня.

Мне запомнились похороны Фруга, за гробом которого в огромном людском потоке вела меня за руку мать совсем еще маленьким мальчиком. Студенты, взявшись за руки, образовали цепь, которая отделяла процессию от толп на тротуарах. Я знал, кого хоронят, и потом еще долго сопровождали меня стихи этого большого национального поэта, десятки раз читанные, и песни на его слова, сотни раз петье, легко доступные и понятные, потому что написаны по-русски, и такие близкие сердцу именно потому, что они насквозь еврейские.

Еще лучше я запомнил мощную демонстрацию в честь Бальфурской декларации. Хотя мы жили не на центральной улице, но с балкона своей квартиры наблюдали за процессией, которая в течение нескольких часов проходила мимо нашего дома и проследовала до английского консульства, где выступал консул и, кажется, Усышкин. Особое впечатление произвела колонна еврейских спортсменов "Маккаби" в бело-голубых костюмах. Впереди был всадник на белом коне в голубом трико и с бело-голубым вымпелом на тонком длинном копье. В демонстрации участвовали ученики еврейских гимназий и, конечно, гимназия Жаботинской-Копп. Впереди с большим знаменем в руках шествовала соученица моей сестры Батя Шустерман, которую я недавно встретил в Израиле и напомнил этот эпизод пятидесятилетней давности.

Часто взрослые думают, что дети, которые болтаются у них под ногами, не понимают смысла происходящего. Насколько мне помнится, я уже тогда из разговоров взрослых понял, что Декларация Бальфура открывает перед еврейским народом осуществление плана Герцля, имя которого, его смолистая борода и глубокий взгляд были мне уже тогда хорошо знакомы.

Вскоре после этого, когда проходили выборы в Учредительное собрание, мы с товарищем Марой Кацнельсоном, тоже воспитанником детского сада Гальперина, решили устроить свою "демонстрацию". Голубая обложка тетради и белый листок из середины, надетые на палочку, оставшуюся от флажка, подаренного на Симхат-Тора, два треугольника, наложенные друг на друга вершинами в разные стороны — вот вам и национальное знамя со щитом Давида. Маршрут

нашего следования был довольно большим, если учесть, что сами мы были еще совсем малы — анфилада комнат нашей и соседских квартир со всеми коридорами, через обе кухни и площадку черного хода. Мы пели "Хатикву" с тогдашним припевом "Лошув лэ-эрец" и провозглашали — "Голосуйте за тринадцатый блок!" Это был номер блока еврейских партий, возможно, умышленно присвоенный им как несчастная "чертова дюжина". Но евреи голосовали за него, как за счастливое "бар-мицва". Нам было тогда по шесть лет. Вот и пойми, когда и с чего начался мой сионизм!

Говоря о крупнейшем некогда национальном центре, следует сказать не только о выдающихся идеологах и мыслителях, о которых упомянуто выше; Одесса вообще отличалась большой активностью еврейской интеллигенции, которая создала ряд национальных институций, игравших большую роль в жизни ее стотысячного основного еврейского населения, многих приезжих и тяготевших к городу районов и местечек.

Одна из лучших в городе больниц до сих пор по старой памяти называется "Еврейской". Она находится на улице Шолом-Алейхема (название присвоено после революции). С других улиц давно убраны еврейские имена, такие, как Менделе Мойхер Сфорим или Гирш Лекерт.

Еще при царе одна из центральных улиц называлась Еврейской. Теперь она носит имя Бебеля. Там находится ОВИР, и евреи идут на Еврейскую улицу добиваться выезда на еврейскую Родину и вспоминают мудрое изречение Бебеля — "Антисемитизм — это социализм дураков".

О некоторых из многочисленных источников, соками которых питалось мое детское сознание, следует сказать особо.

Гимназия Жаботинской

Полное название этого учебного заведения было "Первая Одесская Еврейская женская гимназия Жаботинской-Копп". Три моих сестры были ученицами этой гимназии, а так как младшая из них старше меня на пять лет, то с тех пор, как я себя помню, они уже были гимназистками. В нашей детской

комнате, когда тушили свет, долго не утихал приглушенный шепот сестер, пока отец не приходил из родительской спальни и стучал в дверь, напоминая, что пора спать. А девочкам, учившимся в разных классах, хотелось рассказать друг другу обо всех подробностях богатого событиями учебного дня, обо всех секретах, и не только о том, что происходило на уроках, но и на переменах, в просторных коридорах здания гимназии. Часто я засыпал под этот шепот, когда сон оказывался сильнее любопытства. Но я уже знал заочно и строгую учительницу Терезу Евгеньевну, и всех учителей, и многих учениц, не говоря уже о тех, кто дружил с сестрами и бывал в нашем доме.

Возглавляла гимназию родная сестра Владимира Жаботинского, которой удалось превратить свое учебное заведение не просто в школу для еврейских девочек, которые получали общее образование в полном объеме казенных гимназий до сдачи экзамена на аттестат зрелости, но и дать своим ученицам еврейское национальное воспитание. Все преподаватели были евреи и, хотя преподавание велось на русском языке, но были уроки иврита, еврейской истории и литературы, разучивали еврейские песни на трех языках, которые исполнялись на утренниках, посвященных еврейским национальным праздникам, помимо инсценировок, стихов, среди которых особое место занимали Фруг и Бялик.

Находясь постоянно в таком окружении и имея не менее пяти добровольных учителей в лице родителей и сестер, я знал наизусть все стихи, которые они разучивали, и все песни, которые они пели, аккомпанируя себе на пианино. Читая потом стихи Фруга, я скорее воспроизводил их по памяти, а не по печатному тексту.

В первые годы после революции гимназию закрыли, начальница и некоторые учителя уехали в Палестину. Многие бывшие гимназистки сейчас проживают в Израиле.

Детский сад Гальперина

К шести годам я был уже достаточно подготовлен к посещению детского сада, где дети, играя между собой, болтали по-русски, но воспитательницы говорили с нами

только на иврите и пользовались этим языком, затеяв с детьми коллективные игры. Гимнастику мы делали под команду на иврите, песни пели на иврите и даже, построившись парами и отправляясь к умывальнику перед завтраком, пели "ирхац иодаим" на мотив "эрец моледет".

Детский сад был базовым для фребелевских курсов, готовивших воспитательниц для сети еврейских детских садов. Организатором этих семинаров в Одессе и Варшаве был Иехизель Гальперин, который затем перенес свою деятельность в Палестину. Одной из его учениц была Хана Ровина, ставшая потом артисткой "Габимы".

Мне особенно запомнился сейдер, устроенный для воспитанников всех групп детского сада, которых усадили за один длинный стол, собрав в самом большом зале. Четыре традиционных вопроса задавали по одному из представителей разных групп. Ответ давал "отец", которого изображал один из мальчиков. "Эхад ми иойдея?" и "Хад Гадья" запевали по очереди каждый раз другой мальчик или девочка, а подпевали все хором. Мы были очень горды тем, что, помимо семейного, у нас состоялся свой детский самодеятельный сейдер. Если не считать Пасху, отмеченную в израильском кибуце, то мне, пожалуй, не пришлось больше бывать на столь многолюдном сейдере. Возможно, что в нем принимал участие и будущий министр интеграции Израиля.

Школа "Тарбут"

Основы, полученные дома и в детском саду, дали мне возможность начать посещение школы со второго класса. Этот класс был старшим и состоял, в основном, из поступивших в школу в прошлом году, переведенных из первого класса. Возглавлявший школу Ноах Пинес намерен был открывать каждый год новый класс и довести программу до объема палестинской гимназии "Герцлия". Сеть таких школ была развернута повсеместно обществом "Тарбут", однако это не входило в планы Евсекции, при активном содействии которой они скоро были закрыты.

Такие гимназии успешно развивались в государствах, которые, отделившись от Советского Союза, стали самостоятельными, и в них не свирепствовала Евсекция. Мне пришлось быть при зарождении и агонии этого благородного начинания.

В отличие от других еврейских гимназий, где преподавание велось на русском, здесь все предметы изучали на иврите. Обучение было совместным для мальчиков и девочек. Материал преподносился комплексно: если приближалась Пасха, то предстоящий праздник был темой всех уроков — истории, литературы, пения, лепки, рисования. Заканчивался этот период устройством тематического утренника-инсценировки, песни, декламация, выставка детских работ. Приглашали родителей, братьев, сестер. Ученики получали подарки и расходились на каникулы.

Школа жила отраженным светом того большого очага еврейской культуры, который к тому времени еще не успели разрушить. Часть его деятелей уже выехала в Палестину, другие сидели "на чемоданах". Эти настроения ощущались в среде учителей и учеников, тесно связанных с этим кругом. Танах у нас преподавал родной брат доктора Клаузнера, а его племянник, наш одноклассник, объяснял как-то, что не был вчера в школе, потому что провожал дядю Иосифа в Палестину. С нами училась Ада, дочь поэта Якова Фихмана. На первой парте сидел Хаимчик Жерненский, отец которого заведовал издательством Бялика и Равницкого "Мория". Сестер Хаима звали Шошана и Хавацелет, и отец говорил с детьми только на иврите. Издательство находилось против нашей школы. В том же дворе жил наш соученик, Янкеле Бекер, брат которого тоже работал в издательстве. После занятий мы перебегали дорогу и заглядывали в маленькую типографию, где у раскрытой двери лежали аккуратные стопки книг, еще пахнувших клеем и краской. Здесь печатались и наши учебники — "Праким Ришоним", "Сипурей-Хамикра", "Сейфер Агада".

Состав учителей пополнялся из расформированной гимназии Жаботинской. К нам пришли преподаватели института супруги Коган, сменившие чету Пинесов, уехавших в Палестину. Учительница русского языка Рубинчик, учитель пения Бяльский. С открытием новых классов понадобились учите-

ля арифметики, географии, естествознания. Особо преподавалась география Эрец-Исраэль, и уже тогда мы услышали очень странно звучащие для нас имена Бен-Гурион и Бен-Цви, по книге которых мы ее учили.

Уроки гигиены вел Саул Черниховский. Хорошо помню его ладную фигуру в костюме военного врача. Он приходил прямо из госпиталя, стремительно врвался в класс и, потряхивая буйной шевелюрой, хитро улыбался сквозь пышные усы и спрашивал:

– О чем сегодня будем говорить?

Его предмет не имел строгой программы и был скорее циклом популярных бесед.

– Про тиф! – просили мы.

И пальцами, пропитанными йодом, он рисовал мелом на доске огромную платяную вошь.

– Берегитесь ее, дети!

Неужели эти же пальцы написали столько звонких мелодичных стихов?

И совсем другим он был в строгом черном костюме с накрахмаленным воротничком и галстуком в вечер Симхат-Тора в Бродской синагоге.

Это относительное благополучие продолжалось недолго, пока часто сменявшимся властям было не до нас. Правда, не было помещения. Третий класс начал заниматься в бывшей учительской. Вскоре школу выселили совсем, и мы ютились отдельными классами на квартирах учителей и учеников. Потом удалось вселиться как-то в пустующую иешиву, но здание не отапливалось, что было особенно чувствительно для нас, "старшекласников", которых поместили в огромный зал. Мы тщательно пытались согреться не переменках, сжигая старые тетради и книги в огромной железной печи. В ту зиму я обморозил руки и ноги и надолго слег в постель. Возле кровати поставили стол, и Клаузнер обучал меня еврейским предметам, а другой приглашенный учитель – всему остальному. Каждый урок тогда стоил фунт хлеба. Так к 1921 году "растаяла" школа "Тарбут". С пятого класса в 1922 году я уже посещал советскую русскую школу, продолжая дома занятия на иврите. Такое образование отец мой предпочитал школе на идиш.

Бялик

Конечно, не о поэзии пойдет речь. И не думаю, что те небольшие штрихи, которые я вспомню, намного дополнят портрет великого человека. Они имеют больше значения лично для меня, как и все остальные факторы, повлиявшие на мое детское сознание и оставившие надолго неизгладимый след. Ведь именно в этом плане идет повествование.

В ожидании его предстоящих выступлений с амвона Бродской синагоги евреи уже с утра перешептывались, и отец говорил мне:

– Сегодня после чтения Торы Бялик будет выступать.

Видимо, были важные поводы выступать в других синагогах. Постоянно Бялик посещал "Явне", которую называли "сионистской синагогой".

Я не понимал его выступлений на идиш, но следил за интонацией голоса, пафосом и иронией, выразительными жестами его крепкой коренастой фигуры. И я знал, что этот большой человек очень любит маленьких, о чем мог повести мой соученик Хаимчик Жерненский, не раз сидевший у него на коленях.

Однажды, услышав, как отец открывает своим ключом входную дверь, я решил "напугать" его и спрятался под стол. Я ждал только отца, но увидел, что в комнату вступило две пары ног. Это нарушило мои планы, но долго я не мог оставаться в таком положении и, так как я не удержался от смеха, то был извлечен из своего убежища. Крайне сконфуженный, я уткнулся в отцовское колено и, украдкой взглянув на посетителя, застыл от неожиданности.

"Бялик!" – я посмотрел на висевший на стенке календарь с его портретом. Там он был моложе, одет по-летнему, а этот – в тяжелой шубе, и меховой шапке, но я его узнал. Он потрогал меня по покрасневшей щеке. Не помню, что сказал и зачем приходил. Вскоре он ушел, но я еще долго поглаживал то место, к которому он прикоснулся.

Однажды, когда я был немного постарше, я шел по улице с одним малышом и встретил Бялика, увлеченного беседой с каким-то человеком.

– Смотри, Бялик, – шепнул я своему попутчику, указав

на приближавшихся. Мне и в голову не пришло, что мальчик может на знать, о ком идет речь.

А карапуз, поравнявшись с ними, задрал головку и, нисколько не смущаясь, крикнул во всю мощь своей трехлетней глотки:

— Бялик!

Я хотел в эту минуту провалиться сквозь землю, а они остановились, подошли к нам и на этот раз пострадала щечка маленького крикуна. Бялик сказал что-то своему попутчику и, вероятно, был весьма польщен своей популярностью у столь юных читателей.

Помимо этих двух случайных встреч, мне, конечно, больше запомнилось то, что рассказывали о нем старшие.

В Одессе была большая пекарня Бялика. Один человек, проезжая мимо нее вместе с поэтом, спросил его, не родственники ли они.

— Что Вы, — ответил Бялик, — в нашем доме никогда не было столько хлеба!

Тонкий и возвышенный в поэзии на иврите, в жизни он был простым и земным. Некоторые даже считали его остроумный идиш грубоватым и циничным.

В обществе "Хазомир" накануне праздника готовили постановку "Пуримшпилер". Участники закрылись в одной из комнат, а другая группа хотела посмотреть репетицию и начала стучать в дверь. Среди стучавших был и Бялик. Им упорно не открывали.

— Ладно, — сказал он, — мы уходим. Только смотрите, чтобы все было точно по Шолом-Алейхему: чтоб у Вашти салоги были хорошенько смазаны дегтем!

Собираясь покинуть Россию и прощаясь с людьми, он воздавал каждому по заслугам.

Был в Одессе один учитель иврита и немного литератор по фамилии Окунь, выступал под псевдонимом Шнеур (не смешивать с поэтом Залманом Шнеуром!). Бялик не мог простить ему, что он пошел на службу Евсекции и переключился с иврита на идиш, и сказал ему на прощание:

— Шнеур! Говорят, что Вы уже не окунь, а тюлька.

Своему шурина, Яну Гамарнику, известному советскому командарму, который кончил тем, что пустил себе пулю в лоб накануне процесса Тухачевского, он сказал тогда:

— Вы, большевики, словно вши, которые залезли в голову и вообразили, что они полные хозяева. Но приходит час, берут миску горячей воды и густой гребешок, голову промывают и тщательно расчесывают.

Мне вспомнилась вошь, нарисованная на доске Черниковским, и его предупреждение — "Бойтесь ее, дети!"

Но острее всего запомнился мне рассказ о речи Бялика, произнесенной над свежей могилой Менделе. Он говорил на иврите:

— Сегодня, когда мы прощаемся с нашим дедушкой и на земле большое горе, в небесах, наоборот, праздник и ликование.

И перефразируя слова известной молитвы, он продолжал:

— У малахим иехофейзун, хил у-раада йохейзун в йомру зе ла-зе: Менделе ба! (И ангелы торопятся, и дрожь их охватывает, и говорят друг другу: Менделе прибыл!).

Капля за каплей оседало это в сознании, и потом, когда я слышал о Бялике в Палестине, о его поездках по странам изгнания, всплывали в памяти детские впечатления, и думалось: — Ведь это он! Тот самый!

Кинофабрика "Мизрах"

По соседству с нами жила семья Литвак, у них были две девочки, с которыми мы часто играли, а родители наши поддерживали дружеские отношения. Из пяти комнат их большой квартиры две были выделены под контору акционерного общества по производству кинофильмов на еврейскую тематику. Эмблемой общества "Мизрах" был полукруг восходящего солнца на фоне восточного пейзажа, обрамленный концентрическим полукругом извиляющейся киноленты. Возможно, что это был филиал американской кинокомпании. У соседа нашего там были братья и родители, и он как-то ездил туда. Вообще кино еще было делом молодым, и в России на этом поприще начинали подвизаться Вера Холодная, Мозжухин и Лысенко, но тон задавали американские боевики и комедии Чаплина, и очень знаменательно, что уже на заре киноискусства появилось еврейское

общество с такими специальными задачами. Они снимали хроникально-документальные фильмы под названиями "Жизнь евреев в Америке", "Жизнь евреев в Палестине", "Жизнь евреев в Румынии", картины "Кантонисты", "Дело Бейлиса", "Кровавая шутка" (по Шолом-Алейхему). Помимо натуральных съемок и хроникальных лент использовались павильоны на Французском бульваре, где потом расположилась киностудия Всеукраинского фотокиноуправления (ВУФКУ). Мне запомнилось бандитское лицо Веры Чибиряк и ее жертва мальчик Володя Ющинский, которого мне было от души жаль. Бейлис в старомодном котелке, который встает из-за праздничного стола, и усатые жандармы, здание Киевского окружного суда, и наряды конной полиции возле него.

Не было недостатка в добровольных статистах, желающих увидеть себя на экране. Мы были приятно удивлены, когда перед зрительным залом крупным планом появилась семья наших соседей с детьми и старым дедушкой, поднимающаяся по трапу парохода, отправляющегося в Палестину. Когда мы с товарищем демонстрировали по коридорам нашей квартиры в защиту блока № 13, хозяин нашего дома, член "Союза русского народа", призывал:

— Русские люди! Голосуйте за "христианский блок"!

Тем не менее этот махровый антисемит, расстрелянный впоследствии ЧК, поддерживал неплохие отношения с жильцами, в основном евреями, платившими аккуратно квартирную плату, и не побрезговал заснять в "Кровавой шутке" в роли дворника в белом переднике, с медной бляхой и метлой, который выходит из ворот на звонок какого-то человека. Само собой разумеется, что в кадр попал и фасад нашего дома по Мало-Арнаутской улице, который хозяин содержал в идеальном порядке, и узорчатые решетки железных ворот.

Все мальчишки-подростки нашего дома с охотой снимались в качестве "кантонистов". Это не мешало им, когда они подросли и стали комсомольцами, упрекать "господина Литвака", что он "буржуй" и "эксплуатировал" их, когда они были детьми. Я еще был мал для такой роли, но хорошо запомнил эпизод из фильма, когда юные солдаты собрались на свой тайный сейдер, расположившись на камнях разва-

ленного дома, и лица знакомых мальчиков, удостоившихся этой чести, которым я, разумеется, очень завидовал.

Не помню, как среди прочих очагов еврейской культуры был уничтожен и этот. Но ничто не исчезает бесследно, а дети, которые привыкли подбирать всякие мелочи, становятся обычно наследниками остатков разоренных гнезд. На вместительных антресолях соседней квартиры оказалось немало обрывков кинолент, которые мы просматривали на свет, и многочисленные увеличенные фотографии кадров из кинофильмов, служившие нам материалом для создания фотомонтажей, а также воспоминаний о просмотренных картинах, в создании которых некоторые принимали участие.

Общество "Хазомир"

На углу Базарной и Канатной издавна помещалось еврейское ремесленное училище "Труд", организованное, видимо, ОРТом. В его помещении в свободное от занятий время в переходные годы мировой и гражданской войны нашло себе приют еврейское добровольное музыкальное общество "Хазомир". Когда после очередной смены властей утихали канонады, вечерами в пустующих классах возобновлялись репетиции, в зале давались концерты и спектакли, устраивались благотворительные вечера и литературные чтения. Поэтому мало было назвать его только музыкальным, ибо деятельность его была значительно шире.

Председателем общества был главный кантор Бродской синагоги известный Пинхас Миньковский, хорами руководили наш учитель пения Бяльский, дирижер синагоги Новаковский, органист Рабинков. Пели хористы из синагог, театра и многие примкнувшие любители. В концертах "Хазомира" участвовал П. С. Столярский с оркестром своих учеников, многие солисты.

Помимо музыкальных деятелей в обществе участвовали поэты и писатели — Бялик, Черниховский, зятя Шолом-Алейхема и переводчики его на русский и иврит Спектор и Беркович, артисты-профессионалы и любители, чтецы и декламаторы, меценаты и общественные деятели. Само

собой разумеется, что репертуар был исключительно еврейским — на трех языках — русском, идиш и иврите. Исполняли псалмы и синагогальные песнопения, народные песни, стихи Бялика и Фруга, переложенные на музыку Миньковским и другими композиторами. Сборы шли в комитет помощи беженцам, в пользу нуждающихся и на другие благотворительные цели. Устраивали аукционы, и предметом продажи мог быть отрывок из "Песни песней", написанный Новаковским в исполнении новой восходящей звезды из многочисленных учеников Столярского. Аукцион — американский; каждый набавляющий доплачивал лишь разницу и клал ее на тарелку, с которой ходили по рядам милостивые девушки. Таким образом, платили все желающие, а "покупателем" был весь зал, ибо "купленная" вещь тут же исполнялась вундеркиндом в коротких штанишках. В антрактах работал буфет, и сборы его быстро возрастали, ибо нельзя было отделаться какой-либо мелочью, если стакан чаю, надев белый передник, подносил молодой органист Бродской синагоги Рабинков или выступавшая в первом отделении певица. Все друг друга хорошо знали и были "своими".

Вечера и концерты приурочивались к еврейским праздникам, устраивались в связи с чьим-то отъездом, к какому-то юбилею или важному событию в еврейской общественной жизни. Парадной и веселой обстановке вечеров предшествовала упорная и кропотливая работа, в чем я мог убедиться, когда отец брал меня с собой на репетицию. Помню, как дирижер по несколько раз заставлял сотню хористов начинать одну и ту же песню и под конец объявил, что не может считать репетицию генеральной, ибо есть еще много недоделок, и он просит хормейстеров снова разучить с каждым голосом его партию.

Отец рассказывал, как Миньковский, сидевший между Бяликом и Черниховским, обнял обоих поэтов и сказал на идиш:

— Вос зогт ир аф майне мешорерим? — имея в виду двойное значение этого слова — поэт и певец — и намекая на свою профессию кантора, выступающего в сопровождении мешорерим.

Я вспомнил об этом много лет спустя, уже в Израиле, когда встретил в книге Л. Ценципера "Бемаавак легеула" фотографию комитета издательства "Двир", относящуюся к Одессе 1921 года, где в центре группы сидит Миньковский, а справа и слева от него оба поэта. В этой же книге, в разделе "Еврейская культура в России" я нашел фотографии своих учителей Пинеса, Клаузнера, Вацлавского, а также Гальперина в окружении его учениц-фребеличек.

Опять мосты в прошлое! К книге Л. Ценципера я возвращался не раз, ибо встретил в ней и себя, и многих товарищей по ссылке, заключению и подполью.

К 1922 году основные деятели "Хазомира" разъехались, и вообще подобного рода деятельность стала невозможной. Так "растаял" еще один очаг еврейского национального искусства.

Бродская синагога

В конце прошлого века из города Броды переехала в Одессу большая группа зажиточных евреев. С ними приехал казенный раввин Швабахер и кантор Блюменталь. Они построили в центре города, на углу улиц Пушкинской и Жуковского свою синагогу на европейский манер. Над широким амвоном, на уровне галереи для женщин, с восточной стороны здания, были устроены просторные хоры, на которых впоследствии был смонтирован мощный орган. Органист — немец Гефельфингер по воскресеньям играл в лютеранской кирхе, а по пятницам, субботам и праздникам занимал место за органом синагоги, заслоненным от публики скрижалями Десяти заповедей над "арон-койдеш". Позже его сменил талантливый мальчик из хора Рабинков, который стал затем преподавателем класса игры на органе в консерватории. В хоре появились девушки.

Эти эпикурейские новшества были встречены враждебно ортодоксами, но местная интеллигенция примкнула к новой общине. Она пополнилась новыми деятелями: в помощь постаревшему Блюменталю — молодой кантор Миньковский, дирижер Новаковский. Канторы, дирижеры, органист

были не просто исполнителями, а создавали новые композиции, используя богатство еврейских национальных мелодий, духовную музыку других народов – Баха, Генделя, Глюка, обрабатывали отрывки из произведений евреев-композиторов Мейербергера, Мендельсона, Галеви, писали свои оригинальные произведения, выдержанные в духе старинных вариантов еврейских религиозных мелодий, новаторски обработанных для исполнения многоголосового хора, органа, соло – не только для кантора, но и для отдельных хористов, сочиняли дуэты и квартеты. На текст многих молитв было по несколько композиций разных авторов. Это позволяло построить музыкальную программу богослужений настолько разнообразно, что, посещая синагогу еженедельно, можно было каждую пятницу слышать все новые и новые произведения. Я отлично понимал текст молитв, и меня поражало, насколько музыкальное оформление соответствует их содержанию и духу. "Как хороши шатры твои, Яаков, жилища твои, Израиль" – мерным повествованием начиналась утренняя молитва. И воображение рисовало величественный лагерь детей Израиля, привольно раскинувшийся в долине, которая внезапно возникала перед взором поднявшегося на гору путника, невольно залюбовавшегося открывшейся перед ним красотой.

Чутко отзывалась в сердце еврея мелодекламация кантора на слова псалма: "Все народы окружили меня. От имени Бога. Теснят меня со всех сторон. Совсем затолкали, повергли во прах". Хор подхватывает слова "совсем затолкали", повторяя их многократно на все голоса, как бы отталкивая их от басов к сопрано и от сопрано к альтам, звуки усиливаются и, достигнув апогея, резко обрываются – словами "повергли во прах". Пауза. И при полной тишине, снизу, на одном дыхании, как стон распростертого, едва слышен речитатив кантора – "совсем затолкали, повергли во прах". Опять пауза. И звонкий девичий голос сверху под аккомпанемент органа прорезает тишину: "Но я не умру, а буду жить и рассказывать про дела господние. Покарал меня Бог, но смерти не предал. Откройте мне врата справедливости!" – настойчиво требует молодой голос и заканчивает: "Я войду в них с благодарностью к Богу. В эти господние врата праведники вступят!" Вдох облегчения вырывается у тех,

кто, затаив дыхание, вслушивался в эту музыкальную картину. В ней и отчаяние и надежда народа, его покорность и активность, его надежда на возрождение и вера в жизненную силу и бессмертие.

Органная прелюдия, исполняемая перед трубными звуками шофара, была настоящим симфоническим произведением с использованием многообразных регистров и богатых возможностей этого универсального музыкального сооружения (ибо мало сказать — инструмента!)! Прелюдия на тему старинной мелодии "Кол нидрей" звучала так набожно, что слушатели забывали о том, что исполнитель совершает большой грех, играя в Судный день. Хотя всех исполнителей считали "эпикорсим", они с большим уважением относились к богослужению, не позволяли многократных повторений слов молитвы, музыкальных трюков и отсебятины, применяемых некоторыми канторами-гастролерами для эффектного воздействия на публику. Слаженный коллектив руководствовался записанной на ноты музыкальной программой, от кантора на хоры был проведен звонок, и зажигалась лампочка. Это были строгие речитативы, многоголосые фуги для хора, точные мелодии для солистов.

Особенно богатый вклад в это музыкальное наследство был сделан талантливым композитором и музыкальным эрудитом Новаковским. Когда кто-либо осмеливался сказать про него, что он не закончил консерваторию, ему отвечали:

— У Новаковского в голове консерватория!

Послушать богослужения в Бродскую синагогу приходили и неевреи, зачастую можно было увидеть и православного священника, и католического ксендза, и лютеранского пастора. Помимо молитвы по субботам и праздникам устраивались панихиды и платные концерты духовной музыки на Пурим и Ханука.

К участию в таких концертах привлекались и исполнители со стороны, которые со временем приобрели мировое имя: скрипач Мильштейн, виолончелист Задри. Хору приходилось немного потесниться, чтобы уступить место скрипичному оркестру учеников школы Столярского.

Посетители получали печатные программы на русском языке с указанием исполняемых произведений, авторов и

исполнителей. В них можно было встретить и такие сочетания: "Бах – Новаковский", "Мендельсон – Миньковский". При обычных богослужениях программ не получали, но передавалось из авторитетных источников, из уст в уста:

– Как Вам понравилась новая "Кедуша" Новаковского? Как вдохновенно звучит.

– Вчера исполняли новый дуэт Рабинкова "Маген авот" для баса и сопрано. Этот дерзкий мальчишка далеко пойдет – из молодых, да ранних!

А старики вспоминали, облизывая пальчики, покойного Ниселе Блюменталья, и сокрушались, что за этими новинками забывается старое.

Строгость и уважение к богослужению были не только в исполнении, но и во внешней манере и облике исполнителей. Кантор появлялся на амвоне через дверь в восточной стене и проходил к своему месту чинно и торжественно, как первосвященник из "Святая святых". Тишина была такая, что слышно было, как муха летит. Весь штат (хор, шамисы) носил форму – рясы и головные уборы с кисточкой, маленькие талесы, девушки – черные пелеринки и береты.

Люди служили годами и десятилетиями и старость их была обеспечена. Состав был постоянным, круглогодичным и не набирался к очередным праздникам. Если хорист терял голос, он становился шамисом или заведующим хозяйством, вторым кантором, который молился в будние дни. Если сотрудник умирал, община брала на себя заботу о его семье. Считали своим долгом позаботиться и о тех, кто покидал синагогу в связи с выездом за границу, что было тогда довольно частым явлением.

Однажды после вечерней молитвы было созвано экстренное заседание правления. Я был еще мал, и отец, не решаясь отпустить меня домой одного, взял с собой в "Святая святых", комнату, расположенную позади амвона. Я рассматривал висевшие на стенах большие портреты в масле покойных деятелей синагоги – раввина Швабахера, кантора Блюменталья и слушал, о чем идет речь. В комнате находилось человек 15, и присутствовали молодая солистка хора с мужем. Один из членов правления доложил собравшимся сущность вопроса очень образно:

— Нам в голову забили зерно, из которого должно вырасти нечто полезное для мадам Файтлехер.

Видимо, зерно дало благоприятные всходы, ибо любимица Миньковского, специально для которой он написал ряд композиций, обладательница незаурядного колоратурного сопрано вскоре оказалась за границей и стала солисткой Парижской Гранд-Опера.

Почти все солисты синагоги пели одновременно и в опере, а по окончании консерватории некоторые становились солистками. Они долго не порывали с синагогой, пока власти не ставили перед ними альтернативу — "либо-либо". Солисткой Одесской оперы стала хористка синагоги Спивак, две другие — Меламед и Рафалович были популярными камерными исполнительницами еврейских песен, а находясь в ссылке, я узнал в солистке Алма-Атинской оперы Кригмонт бывшую хористку Бродской синагоги Кригман.

Помещение было сравнительно небольшое и по праздникам не могло вместить всех желающих. Прихожане проходили по своим билетам и занимали постоянные места. А остальные, особенно молодежь, заполняли проходы, и иной раз — шамес, стоявший для порядка впереди них, вынужден был продвигаться к самому амвону. Входные билеты передавали друг другу через решетку ограды. Иногда у ворот собиралась большая толпа, и милиция не могла навести порядок, вызывали конных. Собравшаяся молодежь после молитвы запевала "Хатикву", и публика подпевала.

Само собой разумеется, что такой центр немало мозолил глаза властям, и было принято решение: — Закрывать!

Среди ночи были вызваны ответственные члены правления, и им было предложено немедленно организовать эвакуацию. Все имущество было конфисковано, кроме предметов культа, и то лишь тех, которые не содержали ценных металлов. Сюда относилась серебряная ханукальная лампада и кубок для вина. Он был мне очень хорошо знаком, этот кубок: после кидуша шамес принимал его от кантора и давал пригубить мальчикам, находившимся поближе к амвону. Что касается свитков Торы, то с них были сняты все короны и украшения и даже бархатные накидки, если они были вышиты серебром.

На расстоянии нескольких кварталов, в помещении бывшего свадебного зала нашла себе приют община сгоревший недавно "Шалашной" синагоги. Туда и направилась скорбная процессия с оскверненными свитками, и была гостеприимно принята бывшими погорельцами. Орган, вмонтированный в здание, конечно, оставался на старом месте и был заменен фисгармонией, но органист, кантор и хор возобновили свою работу, и вскоре это новое помещение, вместившее две слившиеся пострадавшие общины, стали именовать "Бродской синагогой".

Разумеется, городской совет вынес решение о закрытии синагоги, "идя навстречу пожеланию еврейских рабочих", которые "настаивали на открытии в этом здании еврейского клуба". Помещение не было для этого приспособлено и нуждалось в коренной реконструкции. Прежде всего нужно было убрать Десять заповедей, которые никак не подходили для коммунистического клуба, хотя бы и еврейского. Русские рабочие не решались ударить по этим белоснежным каменным скрижалям с золотыми буквами, опасаясь, как бы еврейский Бог не покарал их за осквернение его святыни. Но на помощь пришла смелая женщина из Евсекции, которая, схватив молот, нанесла первый удар по священному мрамору, сделав большую трещину, и цинично заявила:

— Вот видите, ничего не случилось! Гром не грянул! Можете продолжать!

Начался сбор подписей под петицией об отмене решения горсовета и возврате помещения общине. Подписи собирали в новой Бродской синагоге и в других синагогах города. Мы, подростки, принимали активное участие в этой кампании, стоя со списками у входа. Особенно важно было привлечь подписи членов профсоюзов, как представителей еврейских трудящихся. Помню, мне удалось получить подпись у органиста Рабинкова, который размашисто написал: "член профсоюза работников искусств, билет номер такой-то".

Собрали средства для поездки делегации в Харьков, столицу Украины. Выезжали несколько раз, рассмотрение вопроса откладывали, и дело закончилось ничем. Было это примерно в 1925 году.

К этому времени уже не было в живых ни дирижера Новаковского, ни кантора Миньковского, который скоропостижно скончался в Америке, где он находился на съезде канторов и был выбран его председателем. Был объявлен конкурс на замещение его должности, и предпочтение было отдано молодому красивому кантору Рабиновичу. У него был приятный тенор, но музыку он не сочинял и не обладал музыкальной эрудицией своих предшественников. Единственным музыкальным мозгом оказался Рабинков, который никого не допускал к музыкальному дирижерскому пульту и, играя руками и ногами, дирижировал головой и вводил в курс нового молодого кантора, который очень нуждался в его руководстве. Время от времени появлялись новые композиции Рабинкова, в распоряжении которого оказался богатый архив музыкальных записей Новаковского.

И здесь милиция должна была наводить порядок, регулируя огромный поток желающих пробиться в середину. Но это уже было совершенно не то. Помещение было еще меньше старого и очень плохо приспособлено. Крошечный амвон, бывший раньше местом для хупы, маленький аронкойдеш, устроенный в оконной нише восточной стены, места для габаим выдвинуты в общий зал. И не мог уже кантор появиться перед народом из "Святая святых", а вынужден был протискиваться к своему месту через весь зал и уходить самым последним, когда публика разоидется. Тесный уголок для хора и фисгармонии был урезан от галереи для женщин, и хористы (мужчины и женщины) должны были проходить через все женское отделение. И публика из "Шалашной" синагоги была не та, и габэ приходилось иной раз успокаивать ее ударом колотушки, что показалось бы совершенно диким в старой Бродской синагоге, где все было так торжественно и чинно.

Лучшие певцы хора стали профессиональными солистами, и им запретили петь по совместительству в синагоге. Рабинков и Рабинович не могли отказаться от лестного предложения еврейской общины Антверпена и выехали в Бельгию. Я помню, как они уезжали: девочки Рабиновича были цофим моего патруля в подпольной детской сионистской организации. Место Рабинкова занял его ученик из хора мальчиков,

Натан Факторович, который впоследствии стал дирижером Новосибирской оперы.

После войны в этом помещении еще была синагога, но вскоре оно было признано более подходящим для спортивного зала. Вообще, в городе, где некогда было более ста синагог, теперь осталась лишь одна, на окраине, в нееврейском районе, и ту недавно подожгли. Но первой из всех была закрыта именно Бродская синагога — культурный и музыкальный центр, имевший большую притягательную силу, синагога, которую посещала еврейская молодежь.

В царстве ГПУ и Евсекции

Так на моих глазах душились и уничтожались малейшие проявления самостоятельной еврейской национальной жизни. Не одна какая-либо политическая партия или организация, а все многообразное движение национального возрождения со всеми его институтами уничтожалось, загонялось в подполье, даже такие аполитичные, как культурно-просветительное общество "Тарбут" или спортивная организация "Маккаби".

Бывшие бундовцы, переметнувшиеся к большевикам в Евсекции, евреи в ГПУ, в отделе по борьбе с сионизмом, еврейские клубы в бывших синагогах, в которых устраивались "беспартийные конференции", предшественницы пресловутого "блока коммунистов и беспартийных" — все стремились подавить еврейскую национальную культуру. И то, чего не всегда добивались евсеки методом убеждения, доделывали, приходя им на помощь, чекисты методом принуждения. Всесоюзные аресты 2 сентября 1924 года, когда в одну ночь в сотнях городов и местечек были арестованы тысячи молодых сионистов, были первым сигналом наших грядущих бедствий.

Язык, звучавший в этих клубах, как и язык еврейских советских газет, не был понятен рядовому еврею, ибо был далек от его "маме лошн" и от языка любимых классиков Менделе, Переца, Шолом-Алейхема, обильно пересыпанного гебраизмами. Ивритские корни, как некая крамола, изгоня-

лись из языка и заменялись германизмами. Содержание газет мало чем отличалось от газет на других языках: это была та же советская пропаганда, но специально для евреев. В ней было немного больше про "агентов империализма".

Специальные термины иной раз и не переводят. Во французском и английском языках привилось советское слово "ударник". И еврей говорил про своего соседа: "Эр из айн ударник". И ему непонятен был газетный заголовок "Ди шлоглер фун дурхойс-бригаде". Оказывается, речь шла об ударниках из сквозной бригады. Еврейский колонист с удивлением разгадывал значение слова "штерншвицер", не ведая, что именно так изобретатели новейшего языка перевели название хорошо ему знакомой сельскохозяйственной машины — "лобогрейка". Язык действительно искусственно изобретали, наподобие эсперанто. Товарищи, учившиеся в еврейских школах, ошарашивали меня абракадабрами:

— А знаешь ли ты, как по-еврейски прямоугольный треугольник? Никогда не догадаешься! Повторяй, но осторожно — "гродвинкельдикер драйэк".

Действительно обломаешь зубы об эти острые углы.

Новое правописание, введенное для облегчения изучения языка, который старались втиснуть в узкие рамки искусственных правил, совершенно исказило облик сохранившихся в нем ивритских слов. Некоторые специфические выражения потеряли свой смысл.

Однажды в театре Михозлса допустили вольность, угостив публику дополнительно смелой для того времени юмореской. В небесах поспорили, как правильно пишется "лой мит ан алеф". Решили обратиться к авторитетному источнику, для чего попросили небесный коммутатор связаться с земным шаром, затем с Москвой, с редакцией газеты "Дер Эмес", с главным редактором Литваковым.

— Будьте любезны — как пишется "лой мит ан алеф"?

— Во-первых, такого слова нет в еврейском языке.

Во-вторых, оно пишется — передаю по буквам — ламед, вав, йод...

— Простите, мы спрашиваем лой мит ан алеф...

— По-моему, ответ был дан ясный. Зачем вы задаете каверзные вопросы?

Возможно, что со временем кто-то поплатился за такую смелость. Куда потом подевался сам Литваков и иже с ним?

Какое-то время еврейских детей независимо от воли родителей записывали в еврейские школы. Потом это было объявлено националистическим перегибом, и, конечно, нашлись виновные. В конечном итоге советские еврейские деятели оказались перегибщиками, шовинистами, и за все старания и "верность вождю" их отблагодарили тюрьмой, ссылкой и физическим уничтожением.

Позже мне случилось встретиться в ссылке с Чемерисским, генеральным секретарем Центрального бюро Евсекции при ЦК ВКП(б), которого в свое время называли "еврейским Сталиным". Некогда "грозный генсек" оказался глухим стариком, который работал рядовым экономистом, и для него все было странным и чуждым, когда он познал будни советской действительности, спустившись со своего Олимпа на бrenную землю.

Так капля за каплей зрел протест против демагогии насилия, и сознание искало альтернативу мрачной действительности.

Все, что из Эрца...

Я уже упоминал, с каким уважением поглаживал переплет дедовского палестинского дневника. Какое-то благоговение вызывало во мне все, что "оттуда". Этрог и лулав, сладости, полученные на "хамиша асар би-шват", не только сладкие, но и согретые солнцем Палестины. Я любил мастерить из бумаги "палестинские домики" с плоской крышей и представлял эти кубики рядами, воображая, что это улица далекой еврейской колонии. Трубки, свернутые из бумаги, с кисточкой наверху, должны были изображать пальмы, а некий зверь на четырех ногах с двумя большими горбами дополнял палестинский пейзаж. "Скажи мне, ветка, Палестины", "Еврейская мелодия", "Три пальмы" – все эти стихи вызывали во мне знакомые ассоциации.

В нашей парадной комнате, именуемой "гостиная", на плюшевой скатерти рядом с пухлыми альбомами семейных

фотографий лежал небольшой альбомчик работы художественной школы "Бецалел". Переплет из полированного дерева. Внутри на каждом развороте виды Палестины и засушенные цветы. Я старался "принюхаться" к ним, не ощущал ничего, кроме запаха бумаги и клея, но представлял себе, как они должны были пахнуть, когда росли на горе Кармел или в долине Шарон. Я внимательно вглядывался в виды далекой, но родной страны и с раннего детства запомнил величественные плиты Стены Плача, круглый купол гробницы Рахели, виды Иерусалима на фоне Иудейской пустыни, рейд Яффы и живописно расположенный в горах город Цфат.

И вдруг в нашем доме появились люди из Цфата. Это были молодые хасидим, беженцы из Палестины, высланные турецкими властями во время войны. Только с одним из них была жена и маленький ребенок, а всего их было около десяти человек, и все они ютились в пустующем подвале с дверью прямо на улицу. Говорили они только на идиш, одеты были в длинные шелковые халаты, высокие чулки и меховые шапки; бороды, пейсы, излишняя жестикуляция, весь облик резко отличал их от окружающих (даже евреев) и с трудом вписывался в обстановку большого портового города. Мое представление о жителях Палестины было связано с ивритом, с работой в пардесах — загорелые в белых рубашках с короткими рукавами, какими я видел их в фильме "Жизнь евреев в Палестине". А эти скорее походили на выходцев из самого отсталого местечка, из глубокого галута. Видимо, совершенно неприспособленные ни к какому труду и не имея никаких средств, они очень бедствовали. Рано утром все мужчины отправлялись куда-то на весь день. Единственная в этой компании женщина вела их несложное коллективное хозяйство, а трехлетний Ичикель, босоногий, с маленькими пейсиками, с большим пузиком в потертых плюшевых штанишках пониже колен, бегал по двору и успевал за день обойти все квартиры большого дома и в каждой его чем-нибудь угощали. Время было голодное, но кое-где его приглашали к обеду, и он готов был съесть несколько обедов подряд, неизменно отвечая, что он сегодня еще ничего не ел. Я был старше Ичика и охотно давал ему поиграть своими игрушками, а он

разрешал мне на несколько минут надеть свою ермолку, накрыв голову ладонками. На ней были вышиты какие-то каббалистические знаки, мне непонятные, но отчетливо сохранялись посередине три еврейские буквы — цф т. С тех пор мое представление об этом городе навсегда было связано с его видом в альбоме "Бецалел" и с бархатной ермолкой маленького Ищика.

Малыш кое-как перебивался, но взрослым было очень тяжело. Заглядывая в раскрытые двери подвала, я видел, как мать моего маленького друга готовила на деревянной колодке, видимо, служившей ей кухонным столом, несложную трапезу для своих голодных питомцев — кабачки, фаршированные внутренностью самих же кабачков, тушеные в собственном соку. Мне было искренне жаль этих людей за их неприспособленность, а к жалости примешивалось чувство уважения за то, что заброшенные на чужбину, они остались верны себе и сохранили свой облик.

Особенно запомнилось мне, как они отмечали самый веселый праздник Симхат-Тора. Конечно, о вине и мечтать нечего было. Достав на всю компанию большой арбуз, они разрезали его на ломти без кожуры и поднимая эти продолговатые куски, словно стаканы, выкрикивали "ле хаим", и не обращая внимания на заглядывавших в окна и двери любопытных, запели веселые хасидские песни и пустились в пляс. И откуда только появилась сила и энергия у этих голодных, нашедших жалкий приют в этом заброшенном подвале, людей?

Они исчезли так же внезапно, как и появились, а в подвале начали продавать арбузы, а потом топливо, но проходя мимо, я еще долго вспоминал эту веселую голодную компанию и маленького Ищика, а позже начал понимать, что так же, как в галуте есть "Маккаби" и Касриловка, так и в Палестине — еврейские колонии и "халука".

Но интерес ко всему тому, что "оттуда", никогда во мне не угасал. Один наш родственник думал обосноваться в Палестине, но вернулся; проездом останавливался у нас. В страну я провожал его с завистью и надеждой, а по возвращении встретил с разочарованием и сожалением, но с интересом прислушивался к его рассказам про узкие улочки Старого города в Иерусалиме, про магистраль Яффо—Тель

-Авив, про пуримский карнавал и долго хранил оставленную им коробку из-под папирос и обертку от шоколада фабрики "Раанан".

Потом предметами интереса были почтовые марки, открытки, письма, газетные вырезки из Палестины или из Америки про Палестину.

А когда появился в эфире "Голос Израиля", то ведь и он говорил "оттуда" и звал "туда". Но это много лет спустя. А пока, когда книга жизни еще не написана, я задаю себе вопрос — почему в ней столько о детстве? Видимо потому, что именно тогда была дана зарядка для всей последующей жизни, оттуда начинался путь. Так долго обрабатывают почву, высаживая рассаду, поливают и ухаживают за молодым растением, пока оно приживется, окрепнет, и тогда уже растет под дождем и солнцем.

Детское подполье

Я как будто пишу не о себе, а о том, что окружало. Но именно окружение формировало сперва чувство, потом сознание и, наконец, цельное мировоззрение, закаляло волю к борьбе за национальное возрождение и достижение конечной цели. Все мое существо возмущалось против тех, кто душит, всем сердцем я был с теми, кого душат. Сознание звало быть с теми, кто против произвола, не боится идти против течения, желая сохранить в себе еврея, кто любит свой народ и желает ему свободного развития национальной жизни на своей родине, в своем государстве, кто видит идеалы народа и человечества в подлинно демократическом социализме. С теми, кто посвятил свою жизнь борьбе, готов на жертвы, непрерывно совершенствует себя для дела и призывает к этому других.

Безусловно, это уже конечный этап формирования созревшей личности и ее идеологии. И если сознание закаляется и крепнет в процессе активного участия в движении, то для прихода в него необходимы предпосылки, создающие потребность примкнуть. Из рассказанного здесь можно понять, что эти предпосылки во мне созрели, и я к

двенадцати годам стал участником детского сионистского движения, которое со временем выросло и оформилось как национально-трудовой Хашомер хацаир. Подробная история этой организации, знавшей периоды расцвета и спада, еще станет предметом специального исследования, которое, надеюсь, осуществится коллективным трудом ее уцелевших участников. Сейчас ограничусь лишь кратким рассказом о ее возникновении, содержании ее деятельности и местом в сионистском движении.

При спортивной организации "Маккаби" были национальные скаутские дружины, которые сперва существовали легально, а затем ушли в подполье, приняв название "Хашомер хацаир". Организация состояла из трех возрастных ступеней – зеевоним (волчата), цофим (разведчики) и шомрим (стражи). Третья ступень охватывала молодежь, которая не пожелала ограничить свои задачи общесионистскими устремлениями и приняла ориентацию на лево-социалистическое крыло сионистского движения. Примерно к этому времени ряд молодежных организаций объединился, создав Единую Всероссийскую организацию сионистской молодежи (ЕВОСМ), которая, в отличие от левого Хашомера, ориентировалась на все партии сионистского конгресса, заявляя, что она объединяет национально мыслящую молодежь, которая, ознакомившись ближе с историей сионизма и его течениями, даст возможность каждому в ходе свободных дискуссий оформить свою идеологию и выбрать ориентацию внутри сионистского движения. И если это считали желательным для молодежи, то тем более для детворы. Кроме того, ЕВОСМ полагал, что скаутская структура хороша для детворы, но не имеет смысла для молодежи.

Выделив способных руководителей, ЕВОСМ занялся созданием детского движения – Беспартийный Хашомер хацаир, который состоял из двух ступеней – зеевоним (8-11 лет) и цофим (12-15 лет). Структура была скаутская – мишмар, плуга, гдуд и соответственно рош мишмар, рош ха-гдуд, сган ха-рош. Во главе отряда и дружины был штаб, а выше районные, областные и Главный штаб всесоюзной организации. При гдудах были комиссии: редакционная, библиотечная, Страж чести (нечто вроде товарищеского суда), патруль патрульных, где проводились занятия на

более высоком уровне для руководящего состава и намечалась программа занятий в мишмарах.

Задачей движения было восполнить то, чего не давала советская школа — национальное воспитание. История народа и сионистского движения, национальные праздники, биография видных деятелей, заселение и строительство Палестины, сведения о мировом еврействе, критика антисионистской политики Евсекции, национальная литература и так далее, открывали широкие возможности для инициативы, самодеятельности и дискуссий.

Вот примерная программа сбора: гимн Хашомера, маршировка или вольные движения в зависимости от условий (вся команда на иврите), беседа патрульного, чтение своего журнала, реферат кого-то из ребят, а иногда доклад старшего товарища. Устраивали игры на развитие памяти, смекалки, наблюдательности, находчивости, умения найти вещь, разгадать шараду, загадку ориентации на местности. Любилась игра, которая могла заменить серьезную беседу, и называлась "полит-фанды". Участники писали по одному вопросу. Их перемещивали и вытягивали по очереди. Каждый должен был ответить на вопрос, который ему достался. Если не мог, ему помогали другие, а если общими усилиями не удавалось ответить, руководитель обещал подобрать материалы к следующему разу. Иногда заданный вопрос становился темой особой беседы и поводом для прихода специального докладчика. Заканчивали сбор нашими песнями и пели их по дороге, если шли издалека.

Собирались на квартирах, в парке, у моря. Бывали совместные сборы двух патрулей и обмен посещениями отдельных цофим, которые рассказывали о работе другого мишмара. Отряды собирались по праздникам и знаменательным датам. Устраивали вечеринки под видом именин с приветствиями, декламациями, инсценировками, песнями.

Члены организации начинали заниматься ивритом в нелегальных группах "Тарбута" под руководством учителей-энтузиастов. В этой связи следует упомянуть массовую кампанию по сбору подписей среди еврейских детей под петицией правительству с просьбой разрешить изучение иврита. Кампания проводилась в основном на Подолии и всего было собрано 10 тысяч подписей. Подписи пытались

объявить фиктивными, и кое-где Евсекция пробовала собрать подписавшихся, которые явились и подтвердили подлинность своих подписей и свою добрую волю. Среди подписавшихся были не только члены организации, а даже пионеры (коммунизм — коммунизмом, а еврейство — еврейством).

Мы тщательно подбирали, стараясь спасти от гибели и уничтожения, остатки еврейской художественной, исторической и сионистской литературы, где бы ее ни находили: рылись в лавках букинистов, выпрашивали у родственников, соседей, пресекали попытки сжечь или порвать то ли из-за страха, то ли за ненужностью, искали на чердаках, куда сваливали связки старых книг и брошюр, выуживали все нужное и иногда натыкались при этом на настоящие клады. Помню, как среди наследия издательства "Мория", которым заведовал отец нашего товарища, мы нашли целую пачку нот совершенно новых, отлично сохранившихся и, видимо, просто не успевших поступить в продажу в связи с ликвидацией. Это была "Песнь узника" — на иврите, на слова Бялика, музыка Миньковского. Конечно, мы позаботились, чтобы песня разошлась по рукам, а так как ноты сопровождали текст, то не стоило труда выучить и слова и мелодию.

Все эти сокровища, часто довольно потрепанные, общими усилиями приводили в порядок — подклеивали, переплетали, вставляли нехватяющие страницы, переписанные от руки из других экземпляров, и понемногу создали свою библиотеку. Она помещалась в нескольких местах для удобства пользования, хранения и на случай провала.

Была и своя литература, но с весьма примитивной техникой. Журнал гдуда был рукописным, в одном экземпляре, с любовью художественно оформленный рисунками, виньетками, вырезками, фотографиями. Назывался он "Хадегел", и слово это было написано большими еврейскими буквами на фоне бело-голубого знамени, нарисованного на плотной обложке. Журнал был ежемесячным и успевал по очереди обойти все мишмары, где его читали вслух, и вернуться в редколлегию. Новичкам давали для ознакомления все ранее вышедшие журналы. Они были посвящены праздникам и знаменательным датам, выпадавшим на дан-

ный месяц. В них были передовые, рассказы, стихи, фельетоны, раздумья — все творчество самих ребят.

Областные штабы должны были рассылать отделениям свои беседы, обращения, воззвания, информационные листки, брошюры в десятках экземпляров. Для размножения пользовались самодельными гектографами и шапирографами. Это было и дешевле и конспиративнее. Магазины, где продавались множительные аппараты, были под наблюдением, и в них интересовались, кто покупает, для кого, для какой цели. Проще было, зная рецепт и купив материал в любой аптеке, самим сварить и отлить массу. Писали от руки каллиграфическим почерком специальными чернилами. Пишущая машинка казалась мечтой. Печатный материал прибывал лишь из Главного штаба, до очередного провала.

Такова была техника давних предтеч нынешнего "самиздата".

Дружины и отряды носили имена видных сионистских деятелей, с биографиями которых мы знакомились, патрули — названия еврейских поселений в Палестине, и, конечно, первый патруль первого отряда был имени Ришон ле-Цион, а для волчат мы подбирали такие названия, как Эйн-Геди или Бат-Галим. Одно время я был начальником "волчьей стаи", и мне теперь особенно приятно посещать места эти, уносящие меня в годы подпольного детства. Каждый патруль изучал историю своей колонии, старался собрать о ней побольше сведений, книжки, фотографии, а, может быть, и завязать переписку. Мой патруль носил имя Тель-Авива, и нам как-то предложили написать письмо цофим тогдашнего пригорода Яффы. Писать надо было на иврите, и мы сочиняли его всем коллективом. Уж не знаю, дошло ли оно, но мы не получили ответа, которого ждали с большой надеждой.

Приветствием при встрече было "Хазак!" и ответ "Хазак ве-эмац!" или "Хейей нахон!" — "Тамид нахон!" и жест — поднятие вверх трех пальцев левой руки с большим пальцем, наложенным на загнутый мизинец, как символ связанных пояском трех заветов верности — нашему Союзу, Народу и Стране. И свой моральный кодекс — "цофе не сквернословит, не курит и не пьет". Закалка от дурных привычек с детства.

Участники организации видели свою задачу в расширении своего влияния среди еврейской детворы и привлечении новых членов, которых следовало предварительно "прошупать" — чего они стоят и можно ли им доверять. Ведь движение было нелегальным! Как бы случайно устраивалась встреча с кем-нибудь из старших, после чего решали, в какой мицмар определить новичка. В зависимости от его возраста, развития, места жительства, дружеских связей и возможности пополнить тот или иной патруль. Иногда создавали мицмар из одних новичков и начинали с ними "с начала", направив к ним подготовленного руководителя. Так, по мере расширения организации росли и крепились молодые кадры. Сган ха-рош становился патрульным, а потом и заместителем начальника отряда и рош плуга.

Вначале это было движение "младших братьев и сестер", которых халуцим и евоэсэмовцы старались определить в Хашомер. Сюда попадали, конечно, и племянники, и их товарищи, и соседи, и соученики. А затем старшие братья и сестры этих новичков заинтересовывались развернувшимся движением и вступали в Хехалуц (Гехалуц) или союз молодежи. Вообще контакты и обмен кадрами были весьма активными. Подростки цофим вступали в молодежные организации, а те направляли своих лучших товарищей в детское движение в качестве руководителей, особенно туда, где требовалось разъезжать, в районные и областные штабы и в Главный штаб.

Забегая несколько вперед, уместно будет здесь сказать о дальнейшей идеологической эволюции этого крыла движения сионистской молодежи. Со временем в ЕВОСМе начались идеологические брожения и веяния против беспартийности за выбор более определенной ориентации. Не без влияния таких партий, как "Хитахадут" и "Дрор", возникли проекты и попытки создания на базе старой организации Евтрудмола и Соцмола. Подростки цофим при таком неопределенном положении в организации молодежи не желали покинуть Хашомер. Таким образом, возникла третья, молодежная ступень, но уже без скаутской структуры, которая наладила контакты с национально-трудовым Хехалуцем и приняла ориентацию на движение трудового сионизма — всемирного объединения "Хитахадут", партию "Хапо-

эль хацаир” в Палестине, всемирное объединение ”Брит ханоар”, куда входили такие зарубежные организации, как ”Нецах” и ”Гордония”.

Хашомер лучше сохранил свои кадры, защищенный от репрессий более юным составом своих членов, основные удары пришлось на старших. В Ленинграде в 1926 году была в полном составе арестована всесоюзная конференция ЕВОСМа, сеть провалов оголила центр и ряд областных и местных организаций. К тому времени, как Хашомер стал молодежной организацией, большинство членов ЕВОСМа было в ссылке или в Палестине. Многие отошли от движения или примкнули к Хашомер и Хехалуц.

В некоторых многодетных семьях, где родители благосклонно относились к нашим собраниям, приходилось согласовывать график, чтобы в разные дни использовать квартиру для собраний молодежи — цофим и волчат. Бывало и так, что кто-то из детей уже в Палестине, кое-кто в халуцианском хозяйстве, в ссылке или разъезжает по районам с поручениями от организации, а младшим не препятствуют следовать по тому же пути. Такие родители с охотой принимали у себя приезжающих районных работников, а если их арестовывали, то на правах ”тети” носили им передачи и, получая свидания, служили связью, оказывали гостеприимство родителям арестованных, приехавших из других мест, и товарищам, приехавшим в порядке ”замены” из ссылки в Палестину.

Но были и другие, которые, хотя и сочувствовали движению, не давали разрешения на устройство сборов в своих квартирах, боялись репрессий и запрещали своим детям приносить домой нелегальную литературу и даже посещать собрания. Некоторые делали это тайком от родителей. Особенно острым становился вопрос, когда приближался критический возраст, в котором была вполне реальна угроза ареста. То и дело кто-либо из ребят сообщал:

— Ночью был обыск. Увели брата (или сестру).

Дети знакомятся с ГПУ

Когда я вступил в организацию, то понимал, что пока мне еще рано, но вообще тюрьма меня ждет, коль скоро я стал на этот трудный путь, чреватый серьезными последствиями.

Знакомство с пресловутыми органами не заставило себя долго ждать.

На каф тамуз 1925 года, в двадцать первую годовщину смерти Гершля, было решено собрать за городом всю детскую и молодежную организацию. Рискованно, но сочли очень важным.

Наша дружина к тому времени состояла из двух отрядов цофим и стаи волчат. Молодежи в кружках было не меньше, и таким образом должно было одновременно собраться около трехсот человек. Место для сбора было выбрано очень удачно. Между Хаджибеевским и Куяльницким лиманами до самой Лузановки тянется возвышенность, известная под названием Жевахова гора. На длинном ее плато было просторное углубление с плоским дном и мелкими холмиками, между которыми было удобно и маршировать, и митинговать. Не только снизу, но даже поднимаясь на гору, если не подойти к самому краю выбранного убежища, нельзя было обнаружить несколько сот собравшихся там людей.

Мы заранее готовились к этому дню. Шили галстуки, патрульные флажки, отрядные вымпела и бело-голубое знамя. Рано утром, вооруженные походным снаряжением — чайниками и котелками, флягами, едой на весь день, ребята, ведомые осведомленными о месте сбора проводниками, продвигались через всю Пересыпь к Жеваховой горе. Ничего подозрительного не было в том, что дети в погожий летний день идут в направлении Лузановского пляжа, на несколько километров раскинувшегося у ее подножия.

На вершине горы, надежно укрытые от любопытных взглядов, развели костры, кипятили чай, закусывали с дороги, а некоторые поставили небольшие палатки.

Потом построились по патрулям и отрядам и торжественным маршем во главе с начальниками и знаменосцами прошагали мимо выстроившихся шеренгой старших товарищей и стали напротив. На мою долю выпала честь нести

вымпел отряда, а по обе стороны от меня шагали две самые красивые девочки.

Команда:

— Хакшев! Яшер ал ха-дегел! — из-за пригорка торжественно вынесли знамя дружины. Другое знамя нам преподнесла организация молодежи, и секретарь городского комитета Давид Равский (Решеф) произнес прекрасную речь в память о Герцле, имя которого носил наш гдуд, и призывал нас быть достойной сменой старшему поколению сионистского движения. Как бы в подтверждение этого группа старших цофим-переростков была переведена в организацию молодежи и, отделившись от колонны Хашомера, встала в шеренгу напротив. Их места заняли старшие зевоним, переведенные в цофим. Весь гдуд попатрульно подходил к знамени дружины для дачи торжественного обещания. И сейчас помню его короткий текст:

”Бен цофе — ани мафтях лихийот несман ла-бритену, ле-амену у ле-арцену!”

Одним словом, все было парадно-торжественно и вполне отвечало цели — устроить смотр и показать самим себе, что мы действительно представляем организованную силу, способную выполнить серьезные задачи. Многие участники этой встречи сейчас в Израиле и помнят о ней, как о первом боевом крещении.

Вокруг нашего убежища были расставлены дозоры, которые с высоты своих наблюдательных пунктов одним глазом наблюдали за нашим парадом, другим зорко следили за подступами к горе, готовые сообщить о возможной опасности.

И вот поступил тревожный сигнал — ”чужой приближается”.

По команде мы свернули наши флаги и легли, закрыв их собой. Остальные, нарушив строй, сидели, лежали, бегали, гоня футбольный мяч, некоторые направились к палаткам. Какой-то человек в штатском с собакой прошел по краю нашего котлована. Возможно, что это была разведка неприятеля, но, когда неизвестный удалился, даже не оглянувшись, мы продолжили и благополучно закончили наш торжественный сбор.

Казалось, главная опасность миновала. Дозорные, считая свою функцию выполненной, отправились по воду и никто не предупредил о приближении противника, который молниеносно окружили нас. Мы услышали выстрелы и увидели бегущих на нас со всех сторон по откосу. Было 5-6 милиционеров и столько же сотрудников в штатском. Кое-кому удалось убежать, в том числе начальнику нашей дружины, из старых скаутов. Остальных потеснили к центру площадки и начали обыскивать. Одни рвали бумаги, другие закапывали флажки, снятые с древка, но некоторые все же попали в руки чекистов. Ребята, чувствуя, что нас много и им с нами не совладать, начали над ними издеваться: запускали мяч как бы нечаянно кому-то из них в лицо, пока мяч не отобрали. Кто-то разыгрывал сценку, делая вид, что плачет:

— Верните мяч, это мой мяч, меня мама будет бить.

Наконец, отпустив детей и большинство взрослых, отобрали человек тридцать и препроводили в ближайшее отделение милиции. Задержанные в окружении конвоя шли по мостовой, а мы сопровождали их по тротуару до ворот милиции, куда нас уже не пустили. После нового отсева оставлено было четверо, которые получили ссылку, затем замену и все находятся сейчас в Израиле. Это Давид Равский (Решеф), Исаак Уздин, Абрам Бердичевский (в кибуце Афиким). Фамилию четвертого товарища забыл. Кто-то залег в парке напротив ГПУ, чтобы видеть, как проведут туда товарищей, а через несколько месяцев, когда их отправляли в ссылку, мы собрались на мосту станции Одесса-Малая, чтобы увидеть, как их проведут под мостом из тюрьмы на вокзал. "Черные вороны" были тогда лишь в столицах. Наши товарищи шли пешком в большой партии арестованных, окруженных конвоем, а вещи везли сзади. Хорошо помню стройную фигуру Давида Равского, он шел, высоко подняв голову, не столько из гордости, сколько для того, чтобы кивнуть собравшимся на мосту, а те, провожая взглядом товарищей, видели и свой путь.

Через несколько дней после событий на Жеваховой горе наш счастливо избежавший ареста начальник собрал срочно актив глуда. Мы встретились за городом, у моря, и стоя выслушали приказ Штаба. Вот примерно его содержание:

”На репрессии ГПУ ответим еще большим сплочением. Их физической силе противопоставим нашу моральную силу. Не ослабим нашу работу. Расширим ряды, привлекая новых товарищей. В память о дне, когда нас пытались запугать, организуется третий отряд имени 26-го июля. К борьбе за наше великое дело будьте готовы! Хазак ве-эмац!”

Ребята старались скрыть от родителей события на горе, опасаясь родительских репрессий, которые были для нас тогда опаснее чекистских. Реакция была разная. Некоторые осторожно отошли, другие еще более усилили свою активность.

”Назло врагам” гдуд продолжал жить.

Очень важным делом было распространение листовок. Их выпускали время от времени по тому или иному поводу, чтобы в народе знали о нашем существовании. В них писали о национальной политике советской власти по отношению к евреям; о невозможности развития еврейской культуры: изучения иврита, истории народа и его литературы; соблюдения традиций и праздников; о предательской роли Евсекции, обманывающей еврейские массы, скрывающей от них, как развивается строительство еврейского национального очага в Палестине. Дети участвовали в этом довольно активно. Если поймают, то с ребенка взятки гладки, да и убежать проще: стрелять не будут. Конечно, поручения эти давали проверенным, ловким, и они были очень горды оказанным доверием. Удачно это было сделано в городском театре во время гастролей ГОСЕТа (театра Михозлса). Парень и девушка купили два билета на галерею и два в боковую ложу в том же ярусе. Перед самым антрактом они осторожно опустили по пачке листовок через барьер и тихонько вышли, не вызвав никакого подозрения у обитателей галерки. Опустился занавес, зажегся свет, и листовки с пятиэтажной высоты разлетелись по всему залу прямо в руки еврейской аудитории, а виновники спокойно наблюдали эту картину из верхней ложи.

В тот же вечер такие листовки были расклеены в еврейских районах города. В целях ускорения операции и большей безопасности исполнители ее не брали с собой ни кисти, ни ведра. Дома смазывали каждую листовку клейстером с добавлением столярного клея перегибали ее по-

полам клеем внутрь. В таком состоянии он сохранял свою свежесть, а, будучи наклеен на двери, ворота, углы домов, доску для объявлений, прихватывался крепко, что доставляло немало хлопот милиционерам и дворникам, которых заставляли отдирать наше творчество на следующее утро. Выходили парами с "материалом" за пазухой, и один шел сзади как посторонний, страхуя товарища, который действовал по тихому сигналу "можно", означавшему, что вокруг все спокойно. Был и другой способ — вручать небольшие листки прямо в руки прохожим, как это делали для рекламы кинофильмов. Достав такую пачку и перемешав ее со своей продукцией, поручали раздать самым маленьким.

Как раз в это время большая группа гейрим (иноверцев, принявших иудейство) проезжала с Урала в Палестину. Они довольно долго ожидали отправления парохода и возможности выехать, ходили в синагогу и знакомились с местными евреями. Возникла мысль, что совсем неплохо, если их дети, раньше чем попасть на Святую землю, пройдут школу Хашомера. Ребята, по внешнему облику ничем не похожие на евреев, которых звали Хаим, Исаак или Хана, начали посещать наши сборы и вечера, становиться по команде "Хакшев", поворачиваться "иемина", "смола", отдавать салют, провозглашая "Хазак!", декламировать Фруга и Бялика, петь наши песни.

— Вы знаете лошон-койдеш! — говорили их родители. — Весьма похвально!

Вот и попробуй такого десятилетнего "шейгеца" заподозрить в распространении сионистских листовок, когда он звонко выкрикивает:

— Интересная картина! Американский боевик! Двадцать два убийства!

На крайний случай скажет с уральским акцентом:

— Посулил мне дядька гривенник: раздай, мол! Оно не шибко хитрое дело.

Впрочем, такая операция на людском перекрестке длилась не более пяти минут, после чего малыш присоединился к товарищам, наблюдавшим со стороны.

Листовки, адресованные евреям, старались раздать в еврейском районе, у еврейского театра, клуба, предприятия, где работали евреи. А синагогу щадили, пока она бы-

ла синагогой. Однако, когда в бывшей Бродской синагоге, где теперь вместо низвергнутых заповедей красовалась советская звезда, евсеки устроили очередную "беспартийную конференцию", как не нарушить это казенное благополучие неожиданным сюрпризом и показать, что помимо кажущейся монополии Евсекции на еврейской улице есть другая сила, хотя и загнанная в подполье, которая живет и борется.

Вход был по билетам, розданным на предприятиях, но и нашим товарищам удалось проникнуть. Сбросить с балкона листовки поручили Иосифу и Моше, которым было тогда по 14 лет. В Израиле я встретил сестру одного из них, а фотография другого сохранилась у товарища тех лет. То ли они мало походили на беспартийных еврейских рабочих, то ли показались слишком толстыми в наглухо застегнутых куртках, под которыми на груди была "антисоветская крамола", но их вскоре засекли многочисленные агенты ГПУ, зорко следившие за проходившими, еще раньше, чем им удалось добраться до заветной галереи некогда женского отделения синагоги. Их поодиночке завели в отдельную комнату (бывшую Святая святых), велели расстегнуться и спросили, откуда эти листочки. В ход была пущена заранее заготовленная версия: друг друга они не знают.

Иосиф с невинным видом спросил, откуда узнали, что именно ему поручил сдать пакет в контору клуба тот человек, который встретил его у входа и предложил за эту услугу входной билет. Как хорошо, что ему не нужно искать контору и пакет попал по назначению. Каков собой этот человек? Ну, среднего роста, не худой и не толстый, бритый, в темном пальто и серой кепке, в брюках, конечно, нос нормальный. Описание было таким точным, а признаки настолько отличительными, что по ним сразу можно было узнать незнакомца в этой многолюдной толпе, что и предложили сделать моему другу Иосифу. Его переоденут и будут за ним следить.

С Иосифом мы учились в школе "Тарбут", потом, вспоминая соучеников, привлекали их в организацию. Он был одним из дозорных на Жеваховой горе, которые так некстати ушли по воду, и слыл у нас фантазером и немножко авантюристом. Поэтому, встретив его во дворе

бывшей синагоги переодетым, я решил, что этот маскарад — его очередная фантазия в связи с данным ему поручением. Но дело оказалось значительно серьезнее. Стремительно пройдя мимо меня, он бросил на ходу:

— Я влопался. За мной шпик следит.

Да, трудную задачу возложили на моего товарища. Вокруг было много серых кепок и темных пальто и, конечно, все мужчины были в брюках. Но главная опасность состояла в том, что на каждом шагу попадались свои ребята, от которых нужно было отворачиваться, чтоб его не узнали. Переодевание, совсем не по его инициативе, в данном случае только помогло.

Утомленные этой игрой в кошки-мышки, чекисты проводили обоих мальчиков в ГПУ и продержали 4 дня, что для столь юного возраста было настоящим боевым крещением. Держали их в разных камерах и допрашивали врозь. Каждый плел что-нибудь свое и от них ничего не добились. Когда у Моше спросили: ты — трумпельдоровец?, он, заикаясь, переспросил:

— А что это значит... пумпель...дор...овец?

После освобождения мы встретили их как настоящих героев, а они с чувством превосходства не переставали рассказывать о нравах внутренней тюрьмы, об арестантах и их обычаях, о затеваемых в камерах играх. Между прочим, Иосиф сообщил, что на столе у следователя под чернильным прибором расстелен наш отрядный вымпел, трофей с Жеваховой горы. Он все еще чувствовал свою долю вины в том, что эта ценная реликвия стала достоянием врага.

Но листовки в тот вечер были разбросаны. Один из старших товарищей попросил слова. Когда уже в самом начале его выступления стало ясно, что говорит сионист, евсеки из президиума и передних рядов стали мешать ему выкриками и улюлюканием.

— Не даете говорить! — громко крикнул он. — Тогда читайте! — и, выхватив из-за пазухи пачку листовок, веером метнул ее с трибуны в зал. Обычно группа товарищей поджидала оратора в зале, умышленно затевая драку и свалку вокруг него и у дверей, и набросив на него другой головной убор и верхнюю одежду, давала ему возможность смешаться с толпой. Не всегда это удавалось, и тогда дело

заканчивалось арестом на месте, ссылкой, замененной потом выездом в Палестину. Недавно в Герцлии скончался бывший евозсэмовец Иехуда Барер, выступавший на той памятной конференции в бывшей Бродской синагоге.

Близость ГПУ почувствовал и я, когда меня стали навещать с обысками. Для проформы ордер выписывали на сестру, но усиленно рылись в моих книгах и тетрадах. Я был к этому заранее подготовлен, вся "крамола" была надежно упрятана не только от ГПУ, но и от родителей. Однако мне было очень досадно, когда у меня изъяли дневник, который я вел в 14 лет. Правда, он был написан эзоповским языком и вместо полных имен в нем были лишь буквы и звездочки, но жаль было расстаться с этим молчаливым другом, которому я доверял свои детские секреты и интимные тайны, какие могут появиться в эту пору, предшествующую юности. Это послужило мне серьезным предупреждением, я начал прятать такие свои записи, как нелегальные материалы и, наконец, отказался от ведения дневника, прочитал его "на прощание" и уничтожил. Я смотрел на горевшие листы из школьных тетрадей и думал о том, как сгорают и мысли, и люди, гонимые "красной охранкой".

Несмотря на серьезность этих посещений, в которых следовало усмотреть предупреждение о еще большей грядущей опасности, не обходилось иногда и без курьезов. Дело было летом, когда у нас гостила многочисленная родня, которая тянулась к морю и солнцу. Среди них была двухлетняя кузина, которую я шутя научил нашему шомерскому салюту и приветствию – "Хазак ве-эмац!" У нее это получалось не совсем точно, но весьма забавно. Когда же во время обыска девочка проснулась и увидела чужих людей, которые расхаживали по квартире и заглядывали во все углы, возбужденная этой необычной обстановкой, она начала поднимать три пальца и неоднократно выкрикивать:

– Зяк мац! Зяк мац!

Все родные были немного взволнованы внезапным ночным визитом незваных гостей, но заулыбались и стали переглядываться, услышав призыв крепиться и бодриться из уст маленькой Зюзьки, которая устроила настоящую демонстрацию протеста против представителей власти.

Так постепенно вокруг меня сужалось кольцо. Организация нуждалась в замене молодыми силами тех старших товарищей, отдавших себя целиком движению, которые оказались упрятыми за решетку. С другой стороны, для меня оставаться на месте означало добровольно отдаться в руки ГПУ. К тому времени я закончил среднюю школу и еще никак не устроился, ни на работу, ни на учебу. Было принято решение использовать этот момент и перебросить меня в другое место, где я мог бы свободно разъезжать, а вместо меня перевести другого товарища, еще не скомпрометированного перед местными органами.

Разумеется, я не получил на это согласие родных, и было решено, что я покину дом самовольно, прихватив с собой лишь самые необходимые вещи. Это был мой первый в жизни побег, совершенный в семнадцать лет, еще раньше побега из ссылки.

Наши песни

Говорят, из песни слова не выкинешь. Но и песню грешно выбросить из слова о нашем движении. Без нее повествование было бы неполным и бледным, ибо она отражала наши праздники и будни, борьбу и вызов врагу. Речь идет не просто о песнях, которые пели (народных, сионистских, на слова поэтов), а о собственном творчестве. Недавно Лея Ценципер сделала попытку выпустить небольшую тетрадку песен подполья тех лет. Мне думается, что если уцелевшие товарищи извлекут их из тайников своей памяти детства и юности, получится солидный сборник. Это был и гимн организации, и строевые песни, и задорные частушки, и призывы устоять перед трудностями. Иные были наивны и примитивны, но шли от самого сердца. Поэтов, как говорится, хватало, а композиторов своих не было, так что сочиняли песни на знакомые мотивы, что было неплохо и из конспиративных соображений, ибо общеизвестные мелодии не привлекали внимания окружающих, которые к словам не очень прислушивались.

Приведу некоторые из них.

ГИМН ХАШОМЕРА

(на мотив старой революционной песни "Мы – кузнецы")

Ты бодрый духом, душой и телом
 Ты гордый шомер, народа сын,
 Всегда на страже, всегда за делом,
 Всегда, всегда лишь ты один, один, один.

Припев:

Наш гимн – "Ха-Тиква", пароль наш – "Цион",
 "Хазак" – девиз, а символ – щит.

Мы смело жизни бросаем вызов,
 Не сомневаясь, кто победит.

С горячей верой, с могучей волей
 Будь сильным, стойким в тяжелый час!
 Нет места трусам среди героев,
 Нет места слабым среди нас, среди нас!

Припев:

ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ

(на мелодию популярной тогда песенки "Вера чудная моя")

От зари до зари
 Лишь зажгут фонари,
 А шпики ГПУ уж шатаются.

Припев:

Вот так штука а-ха-ха – да шатаются (3 раза)

Всюду рыщут они,
 Всюду ищут они,
 Где тайком шомеры собираются.

Вот так штука а-ха-ха – собираются

Ведь хотят они поймать
 Всех цофим зевонят
 И всю жизнь лишь об этом стараются.

Вот так штука а-ха-ха – да стараются

А цофим наплевать,
 На шпики всех начхать.
 Гашомер наш растет, развивается.

Вот так штука а-ха-ха – развивается.

Песни на легких крыльях летели от одного отделения к другому. У меня на новоселье в Израиле вспоминали и спели "От зари до зари" бывшие шомеры из Одессы и Бердичева, Проскурова и маленького местечка Купель на Подолии.

МЫ – ЮНЫЕ ЦОФИМ

(пародия на мотив "Марша Буденного")

Мы – юные цофим и про нас
 Донесения сексотов ведут рассказ
 О том, как в ночи ясные
 Листовочки прекрасные
 Бросаем и клеим и тут и там.
 Веди, веди Главштаб смелее в бой,
 В борьбу со гнетом, ложью и нуждой!
 И пусть из кожи лезет вон
 Предателей весь легион,
 В ответ мы бросим им – "Даешь Сион!"

СТРОЕВАЯ

(на мотив солдатской песни под барабанный бой)

Шомер верный друг народа,
 Он всегда без лишних слов
 За родную Палестину
 Жизнь свою отдать готов.
 Припев:
 Хад – тре – шалош!
 Выше знамя, тверже шаг!
 Нам не страшен грозный враг.
 Пусть в ответ на все гоненья
 Грянет дружное – Хазак!

Припев:

Мы из маленькой ячейки
 Разрослись в солидный гдуд.
 Коль в борьбе мы утомимся,
 Цофим новые придут.

Припев

Мы работаем в подполье,
Галут и мрачен и жесток,
Но не страшна нам неволя —
Путь к победе недалек!

Припев.

ТЮРЕМНАЯ

(на мелодию старинной каторжной песни
"Как только в Сибири зажжется заря")

Сидим за решеткой уж месяц седьмой,
Нас группа совсем небольшая.
Приговором ЧК не вернемся домой,
Видно, в ссылку дорога прямая.

2 раза

Не нашим ребятам в тюрьме унывать,
Про эту дорогу мы знали.
Но вдали от родных и союзных ребят
Наши песни не раз запевали.

2 раза

Приведу еще одну песню, которая начинается как бы шуточно, постепенно становится серьезнее и переходит в подлинный пафос, а веселая танцевальная мелодия, исполняемая в замедленном темпе, звучит гордо и торжественно.

КОЛЬ С ПУСТЫМ ТЫ ХОДИШЬ БРЮХОМ

(на мотив "Ребе Элимелех", замедленным речитативом)

Коль с пустым ты ходишь брюхом,
Друг цофе, не падай духом!
Не смущайся, не тужи, не унывай!
Затяни кушак покрепче,
Улыбнись и станет легче,
Все пойдет, как по маслу, так и знай.

2 раза

Коль в кармане очень скудно,
А на сердце очень нудно,
Червячок в груди и точит и грызет.
Вспомни нашу Палестину,
Вспомни наш народ единый,
Улыбнись, и тоска твоя пройдет.

2 раза

Если после дня хождения,
 Небольшое добавленье
 Нужно сделать пустячок — две—три версты.
 Позабудь свою усталость
 И прибавь ты шагу малость
 С песней будет веселей тебе идти.

Коль советские сексоты
 Поразнюхали уж, кто ты,
 Конспирации ты правил не забудь.
 Не поддайся на обманку
 Красной доблестной охранки.

Помни, труден и тернист наш добрый путь.

Слышишь? В трудное мгновенье
 На пороге возрождения,
 Раздается наш девиз — "Хейей нахон!"
 И ответом многократным
 К нам прокатится обратно —
 Мощный зов, победный клич — "Тамид нахон!" 2 раза

Эта песня написана в Елисаветграде одним из участников проведенного там межрайонного слета-школы, где пришлось испытать то, что в ней отражено. Я хорошо знал автора, который написал также и приведенную выше Строевую и ряд других бодрящих песен, но впоследствии отошел от движения. Однако, песни переживают своих авторов. Когда после первой ссылки я попал в наш московский гдуд, там распевали "Коль с пустым ты ходишь брюхом".

— Откуда?

— Ветром занесло, через горы, через расстоянья...

Московский гдуд

Коль скоро зашла о нем речь, следует сказать о значении этого важного подразделения в тот период существования организации. Это не был гдуд, подобный скаутской дружине, а группа коммун по образцу халуцианского "Гдуд Авода".

К этому времени (1928—1929) движение приобрело совершенно другой облик, и методы работы приняли другой характер. Не было больше прежних дружин и отрядов, походов, массовок, листовок и смелых выступлений. На местах были немногочисленные снифы, ушедшие в глубокое подполье и тщательно законспирированные. Основная задача в этот период спада — не расширение рядов, а сохранение кадров до лучших времен, совершенствование их, повышение культурного, идейного и политического уровня. Даже если где-то находился отдельный товарищ, его считали "снифом", поддерживали связь, снабжали литературой. Завтра, возможно, он будет не один, или переедет в другое место и вольется в какой-то сниф. Возобновляли связи со старыми товарищами, которые в свое время отошли под влиянием родительских репрессий или по другим причинам, вышли из сферы слежки органов безопасности, уцелели и сохранились внутренне, совершенствовались самостоятельно и еще живут прежним духом. Таких старались вновь привлечь к участию в движении. Ряды действующей организации пополнялись и за счет бежавших из ссылки или из "минуса", то есть ссылки по выбору за минусом ряда запрещенных городов. Большинство из членов организации, несмотря на свою молодость, состояли в ней по нескольку лет и прошли закалку и подготовку с детства.

Наши ребята в местечках, по окончании семилетки, не могли, оставаясь дома, продолжать образование или устроиться на работу и переезжали из города в город, пополняя городские снифы. Дома оставалась смена — младшие братья и сестры, будущие кадры движения. В городских снифах, помимо кадровых активистов, образовалась довольно расплывчатая периферия из числа тех, кто посещал собрания нерегулярно и постепенно отходили совсем. Эти отходящие могли легко стать добычей следивших за ними органов и, под действием угроз, превратиться во внутренних информаторов, для чего могли возобновить свою активность уже по специальному заданию. При таких условиях трудно было знать — кого считать своим и кого нет.

Мы приняли смелое решение, которое можно назвать хирургическим — отрубить! Изолировать колеблющихся! Тщательно обсудив в узком кругу каждую кандидатуру, мы

наметили, кого мы оставляем. При этом предпочтение было отдано приезжим, которые еще не были скомпрометированы перед органами безопасности. На очередных собраниях было заявлено, что в связи с репрессиями, дабы не ставить себя напрасно под удар, организация распускается до лучших времен, о чем просят передать всем, кого увидят из отсутствующих. Мы не сомневались, что это дойдет и до тех органов, которые следили за нами.

Вслед за этим были собраны все заранее намеченные, которым откровенно заявили, что сделанное объявление было лишь маневром. Оставлены были также и цофим (наша смена). Отсев прекратился. Теперь мы знали, с кем мы идем.

К этому времени были ликвидированы все халуцианские хозяйства, куда для получения хахшары начали посылать и шомеров. Не было уже таких коммун, как крымский "Мишмар" и минская "Билу". Халуцим направились организовано в Москву, пошли работать на производство и строительство и поселились мелкими коммунами, объединенными в гдуд. Шомерский гдуд был организован по такой же структуре, но его коммуны имели общую кассу, и он представлял собой единую большую коммуну, хотя и расположившуюся на разных квартирах.

Таким образом, помимо местного снифа, в который входили товарищи, проживавшие в семье или приехавшие "самотеком", в Москве, где находился Главный штаб, возникла параллельно еще одна организация союзного значения, куда попадали по направлению из снифов лучшие из лучших. Гдуд с его коммунальной финансовой базой мог служить убежищем для тех, кому пришлось покинуть родной город, спасаясь от репрессий, временным пребыванием для всех перемещенных по заданию организации, прибывшим в центр для получения указаний и материалов, для новых членов коммуны до их устройства на работу.

Квартиры снимали у частных хозяев на подмосковных дачных станциях и поселялись по 4-5 человек девушки и парни вместе, как братья и сестры, как семья, что способствовало нормализации быта и отношений. Не было надобности специально устраивать собрания, ибо по возвращении с работы все были в сборе. В определенные дни приезжал

руководитель, который читал доклад, проводил беседу, отвечал на вопросы, оставлял материал для чтения. Одна из девушек, которая не работала, вела хозяйство. Стирку устраивали совместно: хлопцы носили воду, кололи дрова, топили. Пока все были заняты стиркой, глажкой, починкой, кто-то один читал для всех вслух, и время не пропадало зря. Посещали кино, иногда театр, в зависимости от материальных возможностей, которые временами были очень ограничены. Посещали другие коммуны. Программа была настолько уплотнена, что приходилось выделять специальный вечер для писем домой. Штаб гдуда собирался в одной из коммун, куда приезжали прямо с работы с ночевкой, обсуждал организационные и хозяйственные дела, утверждал бюджет, план культурной работы, в нужных случаях рассматривал поведение отдельных товарищей, их взаимоотношения.

Это были внутренние кадры организации, не связанные родительской опекой, которые можно было свободно передвигать, перебрасывать с места на место, в случае необходимости укрепить тот или иной сниф или создать где-то параллельную организацию из новых людей, изолированную от тех, за кем могла быть слежка. Они чувствовали себя целиком отданными движению и с юношеской горячностью спорили о том, имеют ли право профессиональные революционеры иметь также и личную жизнь. Примером служили народники. Популярными книгами были "Овод" Войнич, "Андрей Кожухов" Степняка-Кравчинского, "В погоне за провокаторами" Бурцева и другая литература из жизни революционеров.

Помимо Главного штаба, гдуда и снифа, была еще четвертая единица, которую можно было бы назвать улыпаном или высшей политшколой. Туда отбирали особенно одаренных и многообещающих, нуждавшихся в повышении культурного уровня и специальных знаниях, необходимых в будущем областным работникам, которые не дала бы ни одна советская школа или институт. Они временно оставляли работу, им была выделена стипендия, чтобы они могли только учиться, их изолировали от остальных товарищей, для которых они считались выехавшими, а этого можно было добиться в условиях огромной столицы с ее пригородами и дачными поселками, к которым неслись поезда от

десяти вокзалов. Они поселялись группами, и к ним приезжали учителя и лекторы, которые преподавали им иврит и литературу, историю еврейства и сионистского движения, структуру сионистской организации и ее течения, географию и экономику Эрец-Исраэль, основы психологии, педагогики и философии, но не в духе догм марксизма-ленинизма.

Этот период почти нигде не освещен и еще ждет своего историка. Назовем несколько имен выходцев из московского гдуда, которым посчастливилось в разное время добраться до Израиля. Это Дора Гройс-Фишер, Туба Рубман-Перельштейн, Гриша Высокий, Фаня Иоффе-Эстерлис, Яша Пичкарь. Поощадим пока имена тех, кто скоро, возможно, будет с нами или судьба их пока неизвестна и совсем особо вспомним со скорбью, склонив головы, бывших гдудовцев вместе с именами других товарищей, которые не дошли до Родины.

В этой связи позволю себе полностью привести следующую главу.

”Помните их имена”

(непроизнесенное слово на седере Асирей-Цион из газеты ”Наша страна” № 585, 8 мая 1973)

В хол ха-моэд Песах на площади Малхей-Исраэль в Тель-Авиве, возле здания муниципалитета состоялся особый Седер Песах, на котором Асирей-Цион, достигшие после долгих мытарств родных берегов, рассказывали личную повесть рабства и исхода, новую Агаду.

40 лет бродили наши предки в пустыне, оставив в ней целое поколение, пока пришли сильными и свободными в Землю Обетованную.

Более 40 лет скитались многие товарищи по огромной пустыне от Уральских гор до Тихого океана, от Заполярья до Средней Азии. Репрессии не были для них случайным эпизодом, а превратили всю их жизнь в непрерывную цепь преследований.

Эту новую Агаду можно рассказывать всю ночь до наступления времени утренней молитвы. И ночи мало: если

записать, будет книга; и одной мало: получится многотомный труд истории борьбы и героизма, побед и поражений.

Из-за неблагоприятной погоды и по другим причинам многие не получили слова, в том числе и те, кому достаточно было лишь нескольких минут, чтобы акцентировать внимание собравшихся, зачитав от лица уцелевших имена погибших товарищей, не достигших родины, боровшихся за нее далеко за ее пределами.

Могилы этих замученных, уничтоженных и погибших безвестны и не найти их следов в тундре Заполярья и в песках Казахстана, в снегах Сибири и под сопками Колымы.

Наш долг даже в самый веселый праздник минутой траурного молчания почтить память людей этого поколения пустыни, вспомнить их жертву для счастья народа, для возрождения Родины.

Вспомним Асирей-Сион, участников сионистского подполья в СССР, и пусть услышат и прочтут имена их братья и сестры, вдовы и дети, друзья и товарищи по борьбе, которые уцелели, достигли Родины и донесли их до нового поколения, чтоб не померкли:

Шмуэль Шнеерсон
Зрубавель Евзерихин
Миша Вайсберг ("Даниэль")
Акива Эстерлис ("Иосиф")
Шуля Школьник
Абрам Краковский
Юзик Познанский
Яков Вигдорзон
Моше Вайсбейн ("Микита")
Миша Лойтерштейн
Эстер Красногорская
Фаня Зверина
Аня Кимельфельд
Маня Штерншис ("Бася")
Яша Деревницкий
Абрам Кукуй
Абрам Гальперин ("Арон")
Гриша Лойтерштейн ("Володя")
Боря Гинзбург ("Иосиф")
Лазарь Эткин

Мося Тевировский
Шломо Гурович ("Израиль")
Брана Верник и многие, многие другие...

Пусть каждый прибавит дорогое ему имя и да будет благословенна память о них и о их делах! Амен!

Цофе

Из названных имен — 8 выходцев московского глуда Хашомера: Гальперин, Лойтерштейн, Кимельфельд, Штерншис, Красногорская, Гинзбург, Деревицкий, Гурович.

Четверть века на двух листах

Заканчивая главу о знакомстве детей с ГПУ, я остановился на том, как оставил родной дом без родительского благословения. С этого начинается период скитаний, самый длинный по числу лет и количеству проделанных километров всеми видами транспорта, в том числе и самым древним способом передвижения — пешком, по скользкому зеркалу льда или по колено в воде. Это были годы самого близкого знакомства с органами ВЧК-ОГПУ, со всеми метаморфозами их названий (НКВД, НКГБ, МВД, МГБ, КГБ), при той же их роли и сущности, со всем разнообразием названий подведомственных им учреждений — следственная тюрьма, городская тюрьма, пересыльная тюрьма, ДОПР, Исправдом, Политизолятор, ТОН (тюрьма особого назначения), пересыльный лагерь, исправтрудлагерь, спецлагерь, штрафная командировка, штрафной изолятор и так далее...

Вот неполный перечень тех мест, через которые прошел мой маршрут в течение 25 лет: Казатин, Бердичев, Киев, Москва, Свердловск, Ирбит, Москва, Свердловск, Челябинск, Алма-Ата, Петропавловск, Алма-Ата, Новосибирск, Челябинск, Златоуст, Владивосток, Колыма (не менее десятка мест на протяжении сотен километров), Одесса, Москва, Красноярск, Игарка, Одесса.

Легко сказать — лишь несколько строк. А ведь каждый эпизод и каждая встреча — это рассказ, каждый человек — это новелла, а пройденный путь — большая книга. И пока

она не написана, в рамках этого повествования я ограничусь лишь одним документом, текст которого я приведу полностью по сохранившейся фотокопии:

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР

З А Я В Л Е Н И Е

С 1929 года по 1954 год я почти непрерывно подвергался всевозможным репрессиям — заключению в тюрьмах и лагерях, ссылкам и ограничениям в выборе местожительства.

Я никогда не совершал никаких преступлений и ни разу не предстал перед судом, все время подвергаясь репрессиям по заочным решениям Особого Совещания. Вся моя "вина" заключалась в том, что еще будучи подростком я имел желание выехать в Палестину и интересовался жизнью этой страны.

В 1929 году я был осужден Харьковским Особым Совещанием к ссылке, в 1931 году Московским Особым Совещанием к отбыванию срока в политизоляторе, в 1933 году освобожден досрочно, но направлен в ссылку еще на три года, в 1936 году снова осужден к тюремному заключению, но направлен в лагеря на Колыму и даже после отбытия наказания был задержан еще на год в заключении и еще на 4 года в тех же местах для работы по найму.

Я потерял здоровье, стал инвалидом второй группы и лишь благодаря этому мне удалось вырваться на Родину в 1946 году.

Я поступил в Одесский университет, но не мог продолжать учебу, так как мне отказали в прописке в Одессе. Я жил в районе и в 1949 году меня снова арестовали и послали на бессрочное поселение в Игарку.

За мной добровольно последовала моя жена, вследствие чего потеряла квартиру в Одессе, и даже вернувшись на Родину в 1954 году мы оказались выбитыми из нормальной жизни.

Пять раз выносило обо мне заочное постановление Особое Совещание, а я ни разу не видел своих "судей" и не имел возможности защищаться, да и доказательства какой-либо вины в делах моих не могло быть.

Впервые я был арестован в марте 1929 года семнадцатилетним юношей и, таким образом, все мои "проступки" (если даже и считать их такими) относятся к несовершеннолетнему возрасту. В дальнейшем меня снова и снова привлекали "за прошлую деятельность" или "за мечты о возобновлении деятельности".

Это не укладывается ни в какие правовые нормы, так же как и практика, имевшая место во время следствия и практика заочного осуждения невинных людей Особым Совещанием.

Я прошу пересмотреть все мои дела, установить мою невиновность и вынести решение о моей реабилитации.

26 октября 1956 года

Подпись

Родина отдаляется

Все эти годы я чувствовал себя на пути к цели. И здесь уместно объяснить, почему лишь недавно удалось осуществить мечту, взлелеянную с детства.

В отличие от Хехалуца, целями которого были — хахшара, а затем алия, то есть личный переезд в Израиль его членов, Хашомер, помимо этого, считал своей задачей проведение сионистской работы среди еврейской молодежи. Если все уедут, то кто же будет продолжать? Значит, до личного выезда нужно проделать немало и оставить себе смену. И особенно это касалось самых способных и активных, ибо кому больше дано, с того и спрос больше.

Вот почему наши товарищи получали задание — оказавшись в ссылке, не подавать на замену, а при реальной возможности бежать и возвращаться на подпольную работу. ГПУ почувствовало эту разницу, и это отражалось в выборе для нас наказаний. В Москве в январе 1931 года одновременно арестовали 24 человека, из них 16 халуцим и 8 шомеров. Приговоры распределили так: 20 — в ссылку, 4 — в политизолятор, в их числе был один член из Мерказ Хехалуц (бежавший из ссылки) и 3 шомера 18-19 лет (из них один член Главного штаба, бежавший из ссылки).

Тех, кто побывал в политизоляторе, считали самыми активными и самыми опасными и "замены" не давали. Лишь двое прорвались как исключение и их имена передавались из уст в уста — это Хаим Козеровский (которого уже нет в живых) и Абрам Сахнин (заместитель мэра Хайфы). Последнему удалось вырваться лишь потому, что до этого успела выехать его жена с ребенком. Я понял, что с получением трехлетнего срока в политизоляторе мне отрезан путь на Родину не только на эти три года. Будучи во второй ссылке, я получил письмо, в котором знакомый почерк только нам понятным намеком выражал надежду на скорое свидание. Это был товарищ, бежавший из ссылки, который приглашал последовать его примеру. Я дал согласие и ждал второго сигнала, но связь прервалась, видимо, вследствие очередного провала. В 1934 году группа товарищей получила разрешение на выезд в Палестину по окон-

чании ссылки. Я решил попытать счастье, подал на "замену" и получил отказ.

Об этом я сообщил в страну одной из тех заочных знакомых, которая поддерживала со мной связь, в письме, датированном маем 1936 года. За неимением русского оригинала, перевожу его на русский язык с иврита, из недавно вышедшей книги Б. Веста "Письма узников Сиона из Советской России".

(письмо адресовано Рахель Кошер, и я должен признаться, что до сих пор не знаю, кто она).

Дорогой друг!

Алма-Ата, 30.5.1936

Получил твое взволнованное письмо, и нужно признаться, что и у меня были основания беспокоиться. По-видимому, твое письмо ко мне не попало, и я тревожился по поводу твоего молчания, особенно в связи с последними событиями в стране. Хотел бы знать больше, чем я могу узнать из нашей прессы. По-видимому, не придется нам увидеться в скором времени. Мою просьбу о "замене" не удовлетворили, как и следовало ожидать. Время моей ссылки заканчивается через месяц или два. Теперь коротко о себе: я служу бухгалтером и много работаю, немного читаю и из "культурных наслаждений" получаю удовольствие только от кино и театра.

Я хочу знать про тебя и твоих друзей во всех подробностях, а не в общих фразах. Если тебе трудно сразу, пиши каждый раз о чем-нибудь — где и кем ты работаешь, каковы условия труда, какие отношения между работниками, что ты читаешь, какие книги выходят, что смотришь в кино и театре? Каковы перспективы, о чем говорили на профсоюзном собрании, какие интересные сообщения были сегодня в утренних газетах? Короче, мне хочется почувствовать воздух, которым ты дышишь, интересы, которыми ты живешь, во всех деталях. Разве ты не понимаешь, что общие фразы не могут меня удовлетворить? Если ты напишешь мне, я обещаю тебе не оставаться в долгу и написать тебе также со всеми подробностями. Но, к сожалению, сложилась очень плохая традиция: на мое письмо ты, вероятно, ответишь примерно через год, пошлешь короткую записку, вроде этой последней, хотя я хотел бы надеяться, что этого больше не случится...

Не помню, когда ответила на мое письмо неизвестный товарищ по письмам и ответила ли вообще, выполнила ли мою просьбу дать мне почувствовать воздух, которым она дышит. Через два месяца я действительно закончил ссылку, откуда не успел выехать, ибо меня снова арестовали.

Сотрудник, который пришел меня арестовать, бросил взгляд на стол, где лежал прибывший накануне конверт со штампом "Помощь политзаключенным" (Е. П. Пешкова). В нем был сертификат на мое имя на право въезда в Палестину, выданный мандатными властями. В сопроводительном письме сообщалось, что если я получу разрешение на выезд, сертификат обменяют на визу и деньги на дорогу будут мне обеспечены.

Друзья действовали. Но враги были сильнее. Я получил четвертый срок — пять лет тюремного заключения. Сион отодвинулся надолго. Меня вывезли в совершенно противоположную сторону.

Чудом уцелевшие

Повезло, однако, не сразу. Из девяти товарищей, одновременно получивших пятилетние сроки (тогда это был "потолок" для Особого совещания), семерых вскоре отправили, а меня и еще одного товарища, имя которого пока называть не буду, на протяжении нескольких месяцев продолжали держать в пересыльной камере для осужденных. За это время через камеру прошли тысячи людей, которых помещали в нее немедленно после получения срока наказания и отправляли очередным этапом. Люди поступали из разных камер из других тюрем. Мы выслушивали сотни личных трагедий и получили богатую информацию о массовой расправе, которая происходила тогда по всей стране. Нас смущала необычность нашего временного положения и не переставала волновать наша дальнейшая судьба на фоне того, что мы наблюдали. Под конец нас начали вызывать на этап, и мы были свидетелями обыска, который производил конвой. Затем нам велели становиться в сторону и возвра-

щали в опустевшую камеру, население которой вскоре достигало прежней плотности. Среди выведенных на этап мы встречали и женщин. Особенно запомнилась еще молодая жена командира корпуса, которая успела сказать, что ее муж был изъят одновременно с сорока другими командирами такого ранга, о судьбе восьмилетней дочки ей ничего не известно; сама же она, будучи на последнем месяце беременности, получила 8 лет как "член семьи врага народа". В этап она вышла в летнем платье, без всяких вещей. Ей при аресте сказали: "Они вам не понадобятся".

Участь постоянных обитателей пересыльной камеры на протяжении нескольких месяцев делил с нами еще один человек. Его судьба могла бы стать темой отдельного повествования. Но здесь упомяну о нем лишь вскользь. Это был зять Троцкого — Ман Невельсон. Его пытались сделать семнадцатым участником процесса Зиновьева, но, не добившись нужных показаний, "пустили" по Особому совещанию, дали "пятерку" и отправили этапом на Колыму, однако, уже из Владивостока спецконвоем вернули обратно, и в качестве осужденного он оказался в нашей камере. Вскоре с Колымы привезли его тещу, первую жену Троцкого, доктора философии Ленинградского Университета Соколовскую, у которой до ареста воспитывались трое детей Мана, рано осиротевших после смерти их матери.

В тот период, когда мы находились вместе, проходили один за другим следующие процессы — Пятакова, Бухарина, Тухачевского. Ман не раз говаривал нам:

— Я хорошо знаю "наших". Вы еще не то увидите, если уцелеете.

Себя он считал заранее обреченным, но его тревожила судьба детей, которые теперь находились у сестры его тещи, в Кировограде, и от которых он получал весточки, поскольку для осужденных в этой тюрьме переписка почти не лимитировалась. Старшему сыну было уже шестнадцать.

— Как бы им не припомнили когда-нибудь, что они внуки такого деда...

Из ссылки он переписывался с бывшим тогда уже за границей старшим сыном "старика" от второго брака, Седовым, которому удалось бежать из Германии, но ребен-

нок его был схвачен фашистами и, видимо, фюрер посчитал, что неплохо иметь заложником внука Троцкого.

Кстати, мы сидели в городе Алма-Ата, недавно бывшем местом ссылки Троцкого и его семьи, откуда перед этим были тщательно удалены все остальные ссыльные. Через нашу камеру прошел не один человек, привлеченный "за связь с врагом народа Троцким". У одного была собака, и он имел неосторожность кому-то сказать, что этот щенок был внуком породистой собаки Троцкого, другой случайно сыграл партию в шахматы в городском саду и его партнером, к несчастью, оказался... Седов, третий встретил Троцкого на охоте, и так далее... Все эти "опасные" троцкисты получили по 8—10 лет.

Желая покончить с неопределенностью своего положения, Невельсон написал заявление с требованием отправить его к месту отбытия наказания и объявил "сухую голодовку". На шестой день у него пошла кровавая моча, но из общей камеры его не изолировали, никто к нему не пришел и никакого ответа на заявление он не получил. Убедившись, что лбом стену не перешибешь, он прекратил голодовку и покорился произволу.

Вскоре, поздно вечером, его вызвали "с вещами", мы услышали гудение мотора и из крошечной щели в козырьке, одетом на окно нашей камеры, находившейся у входа в корпус, мы увидели, как чрево "черного ворона", поданного вплотную к дверям, поглотило нашего сокамерника.

После этого его никто не видел.

Покинув алма-атинскую тюрьму, мы встретили в челябинской пересылке большую группу, прошедшую через "чистилище" выездной сессии Военной Коллегии Верховного Суда СССР, которая совершала перед этим свое кровавое дело в столице Казахстана. Это были "счастливыцы", получившие по "десятке" и направлявшиеся в новую срочную тюрьму в Кустанай. Их "судили" в здании НКВД по одному, одновременно в двух залах при том же составе суда. Инсценировка продолжалась для каждого считанные минуты, и у них сложилось впечатление, что, когда "суд удалялся на совещание", он фактически переходил в другой зал, где его ждала очередная жертва, а затем возвращался в первый зал для зачитания заранее приготовленного "приго-

вора”, который уже на пороге двери начинали словами – “Именем Союза Советских Социалистических Республик...” и заканчивали – “Приговор окончательный и обжалованию не подлежит”.

В камеру, где встретились после “суда” получившие только что по 10 лет, вследствие спешки, втолкнули бледного, растерянного человека, который не успел произнести ни слова, но тут же кто-то из надзора прошипел “Не сюда!”, и беднягу немедленно схватили за руки и увели. Больше ошибок не повторялось.

А немного спустя по азбуке, известной еще со времен декабристов, тюремные стены донесли мелкую дробь, содержанием которой были последние слова:

– Прощайте, товарищи...

В процессах, о которых сообщалось в печати, участвовало несколько десятков очень известных имен. Но за каждым из них тянулся длинный “хвост”, привлеченных за “связи”, и в результате “чистки” коснулись десятков и сотен тысяч людей. По процессу Зиновьева проходил Мрачковский, бывший начальник “Казжелдорстроя”, крупнейшей стройки, проводившейся в основном силами заключенных. Тюрмы Казахстана заполнили тысячи людей с “ярлыком” – “охвосте Мрачковского”.

В Казахстане в ссылке находились многие политические, которые обязаны были явиться в Управление НКВД. Среди них встречались видные представители старых партий – лидер меньшевиков Либер, члены ЦК партии эсеров Рафаил Гоц, Гендельман, Веденяпин, ЦК партии левых эсеров – Комков, Самохвалов, Трутовский, видные анархисты, грузинские меньшевики, армяне-дашнаки. С началом массовых репрессий все оказались за решеткой, на допросах искали между ними “преступные связи”, и чувствовалось, что подготавливается новый процесс “блока контрреволюционных партий”. Возможно, что для “комплекта” не хватало парочки видных сионистов-мерказистов, “рецидивистов”, т. е. сидевших уже не впервые, за которыми в прошлом числились побеги из ссылки. Не исключено, что именно поэтому нас так долго не отправляли из Алма-Аты, а когда “контрреволюционный блок” сколотить не удалось, то нас за ненадобностью отправили отбывать срок.

Задумываясь о судьбе товарищей, список которых приведен выше в разделе "Помните их имена!" (список далеко не полный, ибо судьба многих неизвестна и поныне), чувствуешь, что и мы могли разделить их трагическую участь, и тогда я не сидел бы сейчас за своим письменным столом и не писал это повествование. В связи с этим хочется сказать хотя бы несколько слов о людях той же судьбы, которые шли той же дорогой и которым удалось разными путями, в разное время, а особенно в последние годы, завершить свое стремление и достигнуть Родины. Имена этих людей кровно связаны со списком погибших.

Это – сестра Миши Вайсберг – Соня Гольденберг, вдова Шули Школьника – Вера и ее сестра Кунця Цап, вдова Абрама Краковского – Гинда Желиховская с сыном Натаном, вдова Юзика Познанского – Броня Кантор, брат Якова Вигдорзона – Абрам, вдова "Микиты" (Вайсбейн) Соня Рольник, брат Абрама Гальперина – Иехизель, вдова Бори Гинзбурга – Дора Гройс-Фишер, муж Мани Штерншис – Яша Пичкар, сестра Яши Деревницкого – Мася Сахнин и ее муж Абрам, вдова Моси Тевировского – Сара Декел и ее сестра Рахел Блехман и ряд других.

Многие могут считать себя чудом уцелевшими...

Недавно прибыла в страну вдова Акивы Эстерлис, выходец московского гдуа, Фаня Иофе с семьями своих двоих детей и тремя внуками, младшего из которых зовут Акива, по погибшему деду, фотографии которого они впервые увидели в Израиле, где они только и сохранились.

Ходя

Именно здесь необходимо вспомнить о человеке, который оказал огромное влияние лично на меня и на всю группу названных мною товарищей, воспитанников национально-трудового Хашомер хацаир и особенно выходцев из московского гдуа, ибо он был фактическим организатором и руководителем его деятельности, вдохновителем его боевого духа.

Когда писался первоначальный вариант настоящего повествования, его имя, как и ряда других товарищей, еще не достигших Израиля, я не решался назвать. Теперь это можно себе позволить без опасений, ибо ему уже ничего не угрожает. Осуществилась пятидесятилетняя мечта. Здесь находится его жена, двое детей со своими семьями, трое внуков. Но помимо семьи он привез на Родину тяжелую неизлечимую болезнь, от которой сгорел в течение двух месяцев. В похоронах, а затем в поминках участвовали десятки товарищей и выступили со своими воспоминаниями о разных периодах его жизни, в основном о его бурной молодости и активной работе в движении.

В упомянутой выше книге Б. Веста "Письма из ссылки" он фигурирует как Авнер Абарбанел (Ходя), но этим не исчерпывается список имен и кличек, под которыми его знали в разное время и в разных местах. Теперь можно назвать его настоящие имя и фамилию.

Израиль Шрифтейлиг родился в 1906 году в Староконстантинове на Подолии в семье раввина. С ранних лет он — участник подпольного сионистского движения, сперва в своем городе, затем по всей Подолии, потом в Одессе в областных комитетах молодежной организации ЕВОСМ и детского движения цофим — Хашомер хацаир.

Горячий спорщик, участник идеологических дискуссий, он зарекомендовал себя как незаурядный оратор и полемист. Эрудированный не по годам, он не переставал заниматься самообразованием и помогал в этом молодым товарищам, распознавая самых способных, содействовал их росту, готовил смену тем руководителям, которых беспощадные репрессии и аресты вырывали из рядов движения.

Отвечая на выступления оппонентов железной логикой доказательств, он настойчиво обращался к ним:

— Я требую ясного ответа! Я требую!

Он требовал от других, он требовал от себя. Он вдохновлял личным примером преданности движению, смелости и бескомпромиссности.

В родном городе, на предприятии, где он работал, обратили внимание на способного юношу и послали учиться на Рабфак. Когда же после смерти Ленина был объявлен "ленинский призыв" к массовому вступлению в коммуни-

стическую партию и комсомол, от чего он категорически отказался, его исключили из рабфака и сообщили домой в ГПУ. После этого небезопасно было возвращаться в Старо-константинов или оставаться в Киеве, и он, разъезжая, объезжая местные организации сионистской молодежи в городах и местечках, стал по существу профессиональным сионистским работником.

Ему не было еще и двадцати лет, когда его арестовали в Одессе в начале 1926 года. Он выделялся необычным обликом, за что и получил кличку "Ходя". Где жил, под каким именем, не было известно. Схватили его на улице. Он сопротивлялся, обратив внимание прохожих, среди которых оказались и знакомые, и был взят силой.

В ссылку он попал в Казахстан, в Аулиэ-Ата (ныне Джамбул), откуда при первой возможности совершил побег, чтобы вернуться к подпольной работе.

Годы 1927–1929 являются периодом его самой активной деятельности в Главном штабе Хашомер хацаир в Москве: тогда его кличка была "Фима". Вся свою энергию и недюжинные способности он посвятил воспитанию молодого поколения, которое пришло в движение детьми и подростками, выросло, окрепло и закалилось в его рядах, прошло отбор и испытание на подпольной работе. В них он видел будущих профессиональных деятелей движения, оторвавшихся от семьи и от личной жизни, посвятивших себя целиком организации, будущих руководителей, смену себе и своим товарищам.

Помимо сохранения кадров разбитого репрессиями движения, поднятия культурного и морального уровня молодых ребят, он выискивал товарищей, уцелевших и оставшихся в тени, призывая их вернуться к активной работе. Он налаживал связи с ссылкой и "минусом", и, по согласованию кандидатур с палестинским центром, снимал оттуда товарищей, лично приезжая к ним, после чего они возвращались к активной подпольной работе.

Его советы были точными, ясными и конкретными:

– Попадешься – отрицай все. Выкручивайся как можешь, прикидывайся дурачком. Если налицо явные улики, при тебе нашли материал, нет смысла отрицать свою принадлежность к организации и нет смысла также вести разговоры со

следователем. В этом случае, признайся и заяви, что от дальнейших показаний отказываешься. В дискуссии с ними не вступай. Бесполезно. Сохранишь нервы и силы. Вообще силы береги. Они понадобятся. Помни, что голодовка в тюрьме — это лишь крайняя мера. Поэтому не поддавайся на провокации, на которые рады будут тебя вызвать. В ссылке, при нынешнем положении и организации, нам, конечно, оставаться нельзя. Но не лезь на рожон, не рискуй зря собой и не ставь под удар других товарищей. Жди связи. Однако, если представится случай благополучно уйти, на всякий случай запомни адрес явочной квартиры. Нигде его не записывай, а твердо выучи наизусть. Явившись туда, попроси связать тебя со мной, но не говори, кто ты и откуда явился. Лучше всего объяснить, что удалось, избежав ареста, улизнуть "из дому".

Точно следуя этим указаниям, я, будучи впервые арестован семнадцатилетним юношей на станции Казатин, откуда меня выслали на Урал, не имея никаких связей, снова оказался на подпольной работе, явившись по адресу, данному мне Фимой. На этот раз я появился в гдуде как "Леня из Слушка".

Трудно преуменьшить личное влияние Фимы на меня и моих товарищей, на оформление нашего сознания и избранный жизненный путь. Еще будучи подростком, я знал его в Одессе, когда он работал в Областном штабе Хашомера, но особенно запомнились его посещения Одессы уже из Главного штаба, когда, помимо общих докладов и информации, он находил время побеседовать с каждым товарищем в отдельности, ответить на его вопросы и порекомендовать литературу для дальнейшего чтения по тем темам, над которыми мы работали. И все это по памяти, не прибегая к каким-либо записям.

От него мы узнали имя Хаима Арлозорова, о партии Хапоэль хацаир в Палестине и всемирном движении Хитахадут, а также о мировом движении молодежи "Брит ханоар", куда входим и мы, как национально-трудовой Хашомер хацаир.

Под его личным влиянием я покинул родительский дом, чтобы стать профессиональным подпольным работником, когда из соображений безопасности и для укрепления орга-

низации он "снял" из Одессы Гришу Лойтерштейна и Шлему Гуровича, чтобы направить туда Абрама Гальперина и Дору Гройс.

Фима жил и горел в работе, беспощадно растрачивая свои силы, и заболел острым нервным расстройством. Здоровье его не позволяло продолжать такой образ жизни. Приняли решение дать ему длительный отпуск, предложили перейти на легальное положение, устроиться на работу и приобрести оседлость.

Он "похитил" из гдуа одну из лучших девушек, женился, и Таня, его верная подруга, теперь в Израиле с детьми и внуками.

Я покинул ссылку и прибыл в Москву по адресу, данному мне Фимой, когда сам он уже был "не у дел" и даже не знал о моем возвращении. Но он не терял связей, и мы встретились с ним случайно у одного товарища. Он смотрел на меня, возмужавшего за истекший год, с теплотой воспитателя, который любит успехами выращенного им ученика. Он увез меня в свою маленькую комнатку под Москвой, познакомил с женой, расспрашивал обо мне, поведал о судьбе многих товарищей, которые еще держатся или арестованы. Мы говорили ночь напролет.

Через 44 года, когда мы встретились у постели безнадежно больного Ходи, Таня вспомнила эту ночь, когда мы улеглись втроем на одной раскладушке и не сомкнули глаз до утра.

О дальнейшей судьбе его я узнал лишь теперь. В 1932 году, после произведенного у него обыска, он, нарушив подписку о невыезде, под чужим именем уехал с семьей в Курск к родителям жены, где завел знакомство с местной еврейской интеллигенцией и вел переписку с Палестиной.

В 1938 году его арестовали, разоблачив его прошлое, и он попал на 8 лет в Ухт-Печерские лагеря без права переписки. В течение этого времени семья не имела о нем никаких сведений и только после освобождения в 1946 году ему удалось найти жену и дочь. Они переезжали с места на место, избегая повторных арестов, которые проводились повсеместно в 1949–1950 годах, и вечной ссылки.

С 1951 года семья обосновалась в Риге, живя в нечелове-

ческих квартирных условиях, в небольшом сарайчике, оборудованном под жилье своими руками.

Оторванный от старых товарищей, свои мечты и чаяния он передал детям, которых воспитывал в духе преданности народу и в стремлении к Родине. Ему помогала в этом Таня. А какие у них еврейские имена — Рахель, Давид и внуки, — Авраам, Гита, Реувен!

Больной, он слушает голос Родины и дорожит любимыми сведениями о стране. Он узнает имена старых товарищей и рад их успехам. И он, наконец, с ними и вспоминает о тех, кого уже нет, расспрашивает об их судьбе.

Он еще успеваешь сказать, что сбылась мечта его жизни — привезти на Родину семью.

Еще теплится надежда поправиться и увидеть страну.

— Если я поправлюсь, я еще побываю у тебя в Хайфе.

Я приветствую его по-шомерски — "Хазак ве-эмац!" (крепись и бодрись), и он поднимает руку, сложив пальцы для ответного салюта.

Но смерть неумолима и много невысказанного, что он мог бы вспомнить, рассказать и записать, он унес с собой безвозвратно.

Как примириться с такой трагедией. Полвека стремления, и, наконец, достигнуть цели только для того, чтобы прямо с аэродрома попасть на два месяца в больницу и выйти из нее лишь в последний путь.

Приехать, чтобы быть похороненным на родине? Как это несовместимо с его активной горячей натурой, с его мятущимся и деятельным характером, с темпераментом борца и руководителя.

Немногие из тех, кто помнит его по подпольным кличкам, знали его по имени и фамилии. И как знаменательно, что его настоящее имя оказалось Израиль, имя, которое носит наша страна, наше государство, и весь наш народ. И как знаменательно для его воспитанников из Хашомера, что короткое время, которое ему суждено было прожить в Израиле, он провел в больнице Тель-Хашомер.

— Прощай, Ходя! Прощай, старший товарищ!

Снова органы

Освободившись из "вечной ссылки", которая благодаря смерти усатого диктатора оказалась пятигодичной, я был восстановлен в правах и получил возможность жить в городе, где я родился и в котором прошли мое детство и юность. Однако, это еще не было реабилитацией, на которой я настаивал принципиально, о чем я начал хлопотать вскоре после возвращения из ссылки.

На приведенное выше заявление о реабилитации, адресованное Генеральному Прокурору, я получил ответ, что мне следует обращаться непосредственно по месту прежних арестов, а у меня их было четыре. Оттуда неизменно поступали ответы, что проверкой дела установлено, что я был осужден правильно и оснований для пересмотра дела нет.

Однажды меня вызвали в Управление Госбезопасности, где пожилой сотрудник подробно допросил меня об обстоятельствах моих арестов, предъявленных мне обвинениях и вынесенных постановлениях. Я спросил, не связано ли это с моим заявлением о реабилитации.

– Нет, – ответил он, – мы этим вопросом не занимаемся: это в компетенции прокуратуры и суда. А вы подавали и получили отказ? Пишите снова. Известны случаи, когда положительный ответ был получен на седьмой или восьмой раз.

Следуя этому совету, я после каждого отказа писал снова, а поскольку адресов было четыре, то у меня завязалась оживленная переписка, доставившая немало хлопот моим адресатам, ибо на каждое заявление они обязаны были отвечать в те годы, когда так подчеркивали "восстановление норм законности" и заверяли на каждом шагу, что "произвол периода культа личности никогда не повторится". При этом они сами путались в подсудности, и бердичевский прокурор пересылал мое заявление в Харьков, ибо там было тогда Украинское Особое совещание, алма-атинский областной прокурор – республиканскому, ибо следствие велось НКВД Казахстана. Любопытно письмо одесской прокуратуры, которое привожу доподлинно, по фотокопии с оригина-

нала, хранящегося в архиве российского сионизма, основанного Левой Ценципером, опустив по известным соображениям лишь собственное имя:

Прокуратура СССР
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА
Одесской области
гор. Одесса
Пушкинская, № 8

"28" У1 1962

№ 01 — 1759

При ответе ссылаться на наш номер и дату

Гр-ну

Проверкой Вашего заявления о реабилитации по делу за 1949 год установлено, что до этого Вы были трижды судимы: в 1929 г. в г. Бердичеве, в 1931 г. — в г. Москве и в 1936 г. — в г. Алма-Ате.

Ваше осуждение в 1949 г. связано с судимостями за 1929, 31 и 36 гг.

А поэтому, для того, чтобы разобрать Ваше заявление о судимости за 1949 г., надо прежде разрешить вопросы об обоснованности Вашего осуждения в 1929, 1931 и 1936 гг. в Бердичеве, Москве и Алма-Ате, куда Вам и надлежит обратиться по территориальности.

Пом. ПРОКУРОРА ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
СТАРШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ

И. ЛАНЧУКОВСКИЙ

Здесь я вступил в настоящий юридический спор, возражив, что для данной инстанции не имеет значения; был ли я виновен в 1929, 1931 и 1936 годах, ибо даже, если бы это было и так, то я в свое время понес назначенное мне наказание, что не давало оснований через 13 лет вновь привлекать меня "за прошлую деятельность" (так и было сказано!), без предъявления нового обвинения. Тогда это было произвольным постановлением неконституционного органа, каким являлось Особое Совещание, и если не признать его решение незаконным, то где гарантия, что сейчас, еще через 13 лет после решения 1949 года меня снова не осудят "за прошлую деятельность". Этак вся жизнь превратится в непрерывную цепь репрессий, а ведь функцией прокуратуры является восстановление законности, законных норм и пересмотр несправедливых решений.

Видимо, мои доводы возымели действие, и я получил из той же инстанции уведомление, что мое дело подано на

пересмотр в Облсуд. Вот текст официальной справки Одесского областного суда от 25 января 1963 года:

”Дело по обвинению такого-то, он же такой-то (выдуманные фамилии, имя и отчество, под которыми я числился в первой ссылке) пересмотрено президиумом Одесского областного суда 17 января 1963. Постановление Особого Совещания при МГБ СССР от 15.У1. 1949 года... на работавшего на день ареста 1949 г. там-то, отменено и дело о нем прекращено по п. 9 ст. 6 УПК УССР”.

В конце того же года прибыла справка Верховного суда Казахской ССР:

”Дело по обвинению такого-то и такого-то... до ареста работавшего там-то... рассмотрено Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда КазССР 27 ноября 1963 г. Постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 31 января 1937 года... отменено, а дело прекращено за отсутствием состава преступления в действиях осужденного и он реабилитирован”.

Я рассматривал эти две бумажки, в которых сами власти признались, что из 25 лет репрессий, выпавших на мою долю, по крайней мере 18 лет меня **мучали при отсутствии состава преступления**. Я прекратил переписку. В конце концов, в 1929 и в 1931 году я знал, за что сижу: я был арестован на подпольной работе, имея при себе нелегальные материалы, пошел под чужим именем в ссылку, откуда бежал, чтобы вернуться к прежней деятельности, и был арестован вторично на собрании, где тоже оказалась запрещенная литература. Если бы после семи лет репрессий не начали новый круг, более длинный и трудный, а выпустили бы меня на настоящую родину, то я, пожалуй, считал бы, что родина-мачеха рассчиталась со мною неплохо.

Но и после восемнадцати лет репрессий, признанных незаконными, органы КГБ продолжали интересоваться, ”чем я дышу”, и время от времени вызывали меня на беседы и даже для допроса. Жена тревожилась за меня при каждом вызове и иногда сопровождала меня до дверей этого учреждения и дожидалась моего выхода со вздохом облегчения.

На допросах мне называли десятки имен, большинство из которых было мне неизвестно. Если речь шла о тех, кто в Израиле или о ком у меня были сведения, что их уже нет, я

подтверждал, что знал их в свое время. Однажды, когда меня спросили про Гришу и Мишу Лойтерштейн, которые стоят в моем списке погибших, я ответил, не скрывая раздражения:

— Зачем вы тревожите покойников? Если хотите знать об этих братьях, возьмем машину и поедем на третье еврейское кладбище. Там, недалеко от могилы моей матери похоронены их родители и на одном из рядом стоящих памятников укреплен табличка — “Памяти погибшего сына Гриши”, а на другом — “Памяти погибшего сына Миши”.

Допрос прекратился.

Я знал, что они не погибли на войне, а являются жертвами внутренних репрессий. Гриша — автор письма, полученного мною в ссылке с предложением совершить вторичный побег и вернуться на подпольную работу. Таких не щадили.

Пожилой сотрудник, который дал мне любезный совет писать о реабилитации “до победы”, ошарашил меня неожиданным вопросом:

— А Вы не знаете, куда девалась Андреева?

Эта дама в свое время была заместителем начальника секретно-политического отдела ОГПУ и ежегодно объезжала политизоляторы. Она была груба и цинична в обращении и отвратительна на вид, и военная форма с ромбами в петлицах (по нынешним понятиям генеральский чин!) шла ей, как корове седло. Каждый ее приезд приносил какую-нибудь неприятность.

Ребята сочинили пародию на пушкинскую “Буря мглою небо кроет...”, которая начиналась словами — “Часовой нас матом кроет”, а заканчивалась словами — “Приезжай пореже, душка, сердцу будет веселей” — в адрес вышеуказанной “дамы”.

Я ответил, что, насколько мне известно, все старые кадры ГПУ были уничтожены. И поскольку беседа приняла столь доверительный характер, осмелился спросить:

— А как вы уцелели?

Мой собеседник замялся и, как бы извиняясь, тихо сказал:

— Знаете, мне повезло... Я тогда долго болел...

Что касается справок о реабилитации, то, поскольку я и без них не был ущемлен в правах, они имели для меня лишь

одно практическое значение: по каждой из них мне полагалась компенсация в размере двухмесячного оклада по каждому месту работы до ареста. С этой точки зрения, если бы меня вздумали реабилитировать по делам 1929 и 1931 года, мне некуда было бы предъявить эти справки, кроме сионистской организации, в которой я работал до ареста.

Вообще, какими суммами можно компенсировать утраченные годы и потерянное здоровье? Но, как говорится, "с паршивой овцы хоть шерсти клок". За годы скитаний мы так мало сумели приобрести для своей квартиры, очень скромной, в которую вселились к пятидесятым годам, что и эти небольшие суммы оказались весьма кстати. Одна из компенсаций прибыла как раз тогда, когда подошла ожидаемая четыре года очередь на небольшой холодильник, который служил нам до самого выезда в Израиль. На вторую — мы приобрели скромный сервант, с которым не пожелали расстаться, и он отлично "вписался" в пинат-охель нашей израильской квартиры.

Любимая девушка

Первый раз я был арестован в 17 лет, вторично в 19, и к тому времени, если не считать юношеских увлечений, еще не успел познать того глубокого чувства любви, которое приводит молодых людей к созданию семьи. Никто меня не ждал, и сердце мое было открыто в ожидании той "настоящей" девушки, которая становится для тебя самой лучшей, самой желанной, самой близкой, именно той, которую ты рад назвать своей женой.

Это чувство я познал лишь на двадцать четвертом году. Мы встретились в Алма-Ате, где ГПУ начало концентрировать наших товарищей из разных городов Казахстана, видимо, намечая последующие групповые аресты. Звали ее Аня Кимельфельд, и имя это тоже в списке погибших. Это была красивая, рослая девушка, моложе меня на два года. В ссылке она была впервые после участия в снифе нашей организации в местечке Купель на Подолии, а затем в

московском гдуде. В Алма-Ату она прибыла со своим земляком Абрашей Шойхет, знакомым мне по московскому гдуду. Он был в ссылке вторично, на этот раз был арестован вместе с Аней, и они получили назначение в одно место.

Если бы я знал, что их связывает нечто большее, чем просто товарищеские отношения, то, быть может, не дал волю своему чувству и не стал бы третьим между ними. Но девушка вела себя со мной так, что я не сомневался в том, что она свободна. Мы часто встречались и оба искали возможности остаться вдвоем, что стало взаимной потребностью. И уже был подарен первый поцелуй, когда она доверительно шепнула мне на ухо, что должна сообщить мне две важные вещи. Первая — в ранние юные годы у нее были задеты легкие, и она считает своим долгом меня предупредить об этом. Я смотрел на нее — цветущую, здоровую и думал — какое это имеет значение? Меня очень тронуло ее предупреждение, ибо я видел в нем признак того, что она серьезно относится к нашим отношениям и считает это обстоятельство важным для будущей семьи.

Тем более неожиданным было для меня ее второе признание о том, что отношения ее с Абрашей более чем товарищеские. Они были долго вместе, он был к ней очень чуток, он ее сильно любит и вызвал в ней ответное чувство. Они не заглядывали вперед и не определяли свое будущее. Только встретив меня, она познала настоящее чувство, увидев во мне человека, с которым она готова соединить свою жизнь. А то, что было до сих пор, это скорее чувство благодарности, потребность тепла и дружбы, так необходимые девушке, которая хочет полюбить. Теперь она стала испытывать жалость к нему и должна осторожно сообщить ему обо всем, потому что знает — он любит ее очень сильно, и ее измена может его убить.

Почему я узнал об этом лишь сейчас, когда не владел собой и чувство мое так окрепло, что жизнь без Ани казалась мне невозможной? Я пробовал не встречаться с ней, но это стало потребностью и без нее меня одолевала тоска, да и она искала возможности быть со мной. Я искал для нас оправданий и находил их в том, что, скажем, он ниже ее ростом и интеллектом, а мы с ней именно пара.

Он узнал о наших отношениях, и началась взаимная

ревность, разговоры "мужчины с женщиной"; от нее же мы оба требовали, чтобы она сделала выбор и объявила нам свое решение. Она заявила, что никого не связывает и что мы оба свободны, она не обязана торопиться замуж, и время измерит чувства всех троих. Сложность наших отношений стала заметна и другим товарищам, и они пробовали говорить с нами, особенно с Аней, считая, что мы оба находимся в пассивном ожидании, и все зависит от нее.

Этот спорный треугольник решило НКВД, арестовав меня, а затем Абрашу. Аня носила передачи и получала свидания с обоими, пока ее не перевели на новое место — в Петропавловск. После получения постановления Абраша был отправлен в этап, а я еще долго оставался в Алма-атинской тюрьме и имел возможность получать письма от Ани. Она писала часто и подробно, иногда цензура задерживала письма, и однажды мне вручили их сразу шесть. Я перечитывал их снова и снова, а на следующий день опять. Аня писала, что получила от Абраши только одно письмо с дороги. "Если от тебя не будет писем, я совсем с ума сойду", — писала она. В одном из писем она сообщила, что сделала свой выбор в мою пользу, что всем говорит, что она замужем, и что ее муж в тюрьме.

Мы оба понимали, что наша переписка прервется, как только я прибуду в тюрьму особого назначения, ибо там можно переписываться только с прямыми родственниками. Мы решили оформить наш "брак" на расстоянии. Я выслал на ее имя доверенность на регистрацию брака, заверенную тюрьмой, но ей отказали в такой регистрации. Тогда мы оба решили связать наших матерей и таким образом не потерять связь. Я писал матери Ани, она моей, и обе мамы начали переписываться между собой.

В одном из писем Аня писала, что ей приснилась ее младшая сестра, которая жила дома, с родителями, умирающей, и она проснулась среди ночи. Потом выяснилось, что это был типичный случай телепатии. По дороге из Алма-Аты в Златоуст я четыре месяца просидел в челябинской пересялке, а это совсем недалеко от Петропавловска. Я часто писал Ане, но ответа не получал.

По прибытии в Златоуст я получил письмо от моей матери, в котором она писала, что заходил познакомиться

младший брат Ани, который учился в Одессе. Он сообщил, что его мать в большом горе и потому не пишет: ее младшая дочь, действительно, скончалась, а от Ани нет писем, последнее было из Омска, видимо, с пересылки. Значит, арестовали и ее.

Вспышки в легких повторялись у Ани дважды — один раз еще в Алма-Ате, второй — в Петропавловске. Видимо, тюрьма и следствие ее доконали.

Вывавшись из златоустовской "коробки" — тюрьмы особого назначения, я по дороге на Колыму, во Владивостоке, на пересылке "Чуркин мыс" начал искать Аню. Рядом была женская зона, и я спрашивал у ходивших за проволокой женщин, не встречали ли они такую.

Однажды у проволоки появилась молодая женщина и, назвав армянскую фамилию, спросила, нет ли у нас такого. Я нашел одного армянина, и это, действительно, оказался ее муж. У них произошло трогательное свидание через два ряда колючей проволоки, отделенных один от другого двумя метрами. Благодарная женщина крикнула мне:

— Вы нашли мне мужа, я должна найти вашу Аню.

Несколько раз в день, приходя на свидание с мужем, она сообщала мне, что расспрашивает у всех, но никто Аню не встречал.

На Колыме я попал на лагпункт, где были женщины, и продолжал расспрашивать. Я просил тех, кто переписывается с другими лагерными отделениями, чтобы и туда запрашивали. Я написал запрос в ГУЛаг. Никакого ответа. Никаких следов.

У меня были две фотографии Ани — одна миниатюрная, другая в формате открытки, которую она подарила мне на первом свидании во внутренней тюрьме в присутствии следователя, сделав на обороте очень теплую надпись. Эти карточки были единственной памятью о любимой, и я старался сохранить их, как только мог в условиях лагеря. Миниатюрка помещалась в кошелечке, и я никогда с ней не расставался. Но кошелек у меня вытянули из кармана в лагерьной столовой. Это могла быть работа "малолетних", и я послал к ним делегата из их же среды, который попросил вернуть фото за вознаграждение. Мой парламентар вернулся без результатов. Открытку, чтобы не помять, я хранил в

чемоданчике, и она была со мной весь срок до освобождения. Когда же я очутился в огромном бараке для вольных, то там царила такая "вольность", что фотография пропала у меня в первый же день, и я лишился последней памяти о любимой.

Вскоре я встретил на Колыме старого товарища по гдуду, Малку, землячку Ани и даже соседку по дому. Она сказала мне, что хотя Купель освобожден, ей не удалось связаться с родными и у нее есть сведения, что все еврейское население местечка уничтожено. Вернувшись с Колымы, я из Одессы запросил купельский поселковый совет о судьбе этих двух семейств. Мне ответили, что гражданка Кимельфельд и ее соседка в период временной оккупации умерли "своей смертью", а сын Залман находился в рядах Советской Армии и больше домой не появлялся. Слова "своей смертью" были особенно подчеркнуты поселковым советом, ибо местные жители имели все основания опасаться ответственности за судьбу своих сограждан-евреев. Другая купельчанка (и колымчанка) Туба Рубман, находящаяся теперь в Израиле, посетила родные края и выяснила, что из Купеля уцелела лишь одна еврейская семья, которая поселилась в областном центре. В свое время в местечке был еврейский сельсовет, и Аня работала в нем секретарем до своего выезда в Москву. Там была сильная сионистская организация и немало выходцев из нее проживает в Израиле. Теперь Купель без евреев.

Я узнал, что Абраша находится в Норильске, а вскоре сам оказался совсем близко от него, в Игарке. Нам удавалось обмениваться личными приветами и письмами. Он был женат, имел ребенка и намерен был покинуть Север и поселиться под Москвой у родных жены. В одном из писем он упомянул о "трагической гибели Ани", не сообщив никаких подробностей, и связь наша вновь прервалась. Я запрашивал впоследствии об Абраше московский адресный стол, но мне ответили, что такой не проживает. В Израиле я встретил его брата Мордехая, мошавника из Кфар-Виткин, от которого узнал, что Абраша скончался под Москвой от сердечного заболевания. Он посылал ему лекарства через туристов, но они не помогли. В книге Веста "Письма из ссылки" есть и письмо Абраши к брату. У Мордехая

оказалась уникальная фотография Абраши и Ани, полученная им в свое время из Алма-Аты. Ее размножили, один экземпляр получил и я. Я вглядываюсь в дорогие лица тех, кого уже нет, — хорошего друга, товарища и ...соперника, и любимой подруги, невесты, не успевшей стать женой, потому что нас разлучили, а ее погубили. Мы шли одной дорогой, но они оказались слабее, не выдержали, не дошли. Долг уцелевших — чтить их память.

Семья

Мы встретились в возрасте 34–36 лет, и каждый успел познать и боль утраты, и холод одиночества. Она овдовела, потеряв в самом начале войны мужа, с которым прожила три года, не имея детей. Я честно предупредил ее о своем прошлом и объяснил, что нет гарантий от новых репрессий. Готова ли она стать подружкой такого человека?

Она подумала и согласилась. Мы поставили скромную хупу на квартире у раввина, что было сделано в основном ради моей матери, которой я причинил немало горя, и мой долг был доставить ей эту радость. Она всплакнула по поводу того, что отец, которого не было уже 18 лет, не дождал до этого дня. Родители Клары отнеслись благосклонно к моему желанию соблюсти обряд, и ее отец сам взялся уладить все с раввином. Присутствовали при этой процедуре только родители. Не менее скромно наш союз был отмечен маленькой вечеринкой в комнате Клары при участии самых близких родственников.

Лишенный права проживать в Одессе, я работал и жил в нескольких десятках километрах от города. В городском ЗАГСе нам отказали в регистрации брака, поскольку один из супругов "не проживает и не имеет права проживать в Одессе". Мы вышли, расстроенные отказом, сели в садике Пале-Рояль у городского театра, и Клара успокаивала меня, просила не расстраиваться и заверяла, что никто не помешает нам быть вместе, если мы этого захотим.

Она взяла отпуск, приехала ко мне, и мы зарегистрировались в районном ЗАГСе. Процедура тогда была очень проста:

не требовалось ни предварительной заявки, ни свидетелей. "Невеста" позвонила "жениху" на работу, что она ждет его в ЗАГСе. Молодая сотрудница дала нам расписаться в книге, встала, пожала нам руки и торжественно объявила:

– А теперь разрешите поздравить вас с законным браком.

После этого "муж" вернулся на работу, а "жена" отправилась домой.

Теперь у нас было свидетельство, подтверждающее, что мы – супруги, столь необходимое на случай возможных осложнений, которые не замедлили обрушиться на наши головы. Клара оставила работу, переехала ко мне, и мы успели очень короткое время побыть молодоженами, пока не пришла беда.

К сожалению, я оказался неплохим пророком, предупреждая о возможных репрессиях, ибо через несколько месяцев меня арестовали и направили на вечное поселение. Молодая жена сразу узнала, что значит носить передачи, просить и не получать свидания, часами простаивать у тюремных ворот с женами других "повторников". Потом им предстояло, подобно женам декабристов, последовать за мужьями в Сибирь. Одни это сделали сразу, другие откладывали, третьи отказались совсем. Семьи разрушались. Соломенные вдовы и новоявленные "холостяки" сближались, на новом месте возникали новые пары, появлялись дети. А когда пришло освобождение, оно принесло опять ломку и трагедии. Но какое дело до всего этого исполнителям инструкции Молотова от 1948 года о повторной изоляции всех ранее репрессированных и направлении их на "вечное поселение"?

Наша семья избежала потрясений, но они могли и быть. В конце концов, что связывало нас после нескольких месяцев совместной жизни, если не было детей и пока они не предвиделись? Почему бы красивой тридцатипятилетней женщине не исправить вовремя свой поспешный шаг и не попытаться устроить свою жизнь иначе?

В первую годовщину нашей свадьбы я был в тюрьме, а жена – у тюремных ворот, во вторую – я в ссылке, а она еще не прибыла ко мне. Впервые мы отметили совместно лишь третью годовщину в кругу близких товарищей, но в крайней тревоге. Был сильный разлив Енисея, и воды его

плескались почти у дверей нашей избушки. Мы поставили стулья на стол, вещи — на стулья, кое-что перетащили к Кунце, а сами ушли ночевать в аптеку, где я работал бухгалтером. Там мы пробыли недели две, ибо на следующий день внутри нашей квартиры вода стояла на метр.

С тех пор мы не расставались, пережили вместе радость освобождения и возвращения в родной город относительно свободными людьми, то есть имея право проживать в нем, хотя и не было своего угла. Мы скитались из общежития при санатории, где оба работали, в общежитие Художественного училища, где ни один из нас не работал, из комнаты в комнату, поскольку шел ремонт. Временами я жил у своей матери, а Клара с ребенком в своей комнате, которую сохранила поселившаяся в ней бывшая свекровь (мать ее первого мужа).

Мы получили однокомнатную квартиру без всяких удобств у самого полотна железной дороги. Ее сотрясало, когда проносились поезда, и нам казалось, что и сами мы едем. Эту квартиру и комнату Клары нам удалось обменять на двухкомнатную, включив в состав своей семьи и старушку, бывшую свекровь. Так к пятидесяти годам мы стали обладателями изолированной квартиры с самыми минимальными удобствами и прожили в ней 9 лет, до выезда в Израиль. Первая комната служила столовой и спальней родителей, во второй поместили дочку с "бабушкой", которой мы торжественно отметили девяностолетие, а через три года похоронили и поставили памятник.

Для нас всегда было очень знаменательно, что семья наша возникла одновременно с образованием Государства Израиль — в том же году и в том же месяце. Отмечая оба праздника в кругу близких товарищей, я как-то заметил шутя, что с того времени, как страна приобрела независимость, я ее потерял. Впрочем, узы Гименея одевают на себя добровольно.

И в прошлом году, когда страна праздновала свой юбилей, мы также с друзьями и детьми отметили свою "серебряную".

Дочь

В таких условиях росла наша единственная дочь. Трудным было ее детство. Родителями мы стали к сорока годам. Скитались с места на место. В общежитии между нашими кроватями ставили для нее раскладушку, которая на день убиралась.

Ребенок не имел своего угла. Положив доску на одну из наших кроватей, она раскладывала на ней свои книжки и игрушки, присев на маленькую скамеечку, а наигравшись, складывала свое имущество в деревянный ящик и задвигала его под кровать.

Я работал с утра, а жена во второй половине дня. Уложив ребенка спать, она закрывала ее на ключ, а я приходил и освобождал "узника", который обычно уже не спал. Однажды ей наскучило дожидаться папу, она вылезла через форточку, и я застал ее, бегущей во дворе.

Характер у нее был бойкий, и она скорее походила на мальчишку-сорванца, — как по поведению, так и по внешнему виду — нежели на девочку. Влезть на дерево для нее не стоило труда, не успокоится, пока не облазит крыши всех соседских сараев, а задиравшим ее мальчишкам никогда не давала спуска. Бывало, прибежит какой-нибудь, весь в слезах:

— Адин папа! Ваша Ада дерется!

А за ним целая делегация защитников:

— Адин папа! Вы его не слушайте! Он ее первый задел. Она только сдачи дала! Ада, выходи! Не бойся! Мы папе все объяснили.

Моя личность как бы потеряла самостоятельное значение, не имеет собственного имени, я уже не я, а "Адин папа", а дочка стала рано прокладывать самостоятельную дорогу в жизни, где острым языком (за словом в карман не полезет), а где и кулачком.

Я не раз задумывался над судьбой и мироощущением еврейского ребенка, растущего в семье национально-настроенных родителей, но свободомыслящих, не соблюдающих религиозных обычаев, и когда при том вокруг ассимилированная среда. Чувствует ли он себя евреем, пока ему об этом не напомнят?

Придет, бывало, девочка и скажет:

– Мы, русские, побили немцев!

Мы – русские, то есть жители России, а что есть среди них разные, до этой тонкости пока не дошла. Она долго не знала, что мы – евреи, и не было случая акцентировать на этом внимание. Однако, случай не заставил себя долго ждать.

Однажды наша дочка пришла из школы и доверительным тоном таинственно прошептала:

– Знаете? Наша учительница – еврейка!

Она считала, что сообщает сенсационную новость, а в ответ услышала:

– А разве ты не знала? А мы кто, по-твоему? Ведь и мы – евреи.

Наступила пауза, которая свидетельствовала о том, что детский мозг преодолевает трудный барьер. Подумав, она спросила:

– Только мы? А тетя Аня? А дядя Наум?

– Конечно, и они. Ведь тетя Аня – мамина сестра.

На протяжении нескольких дней назывались все новые имена для выяснения – еврей или нееврей. Однажды она решила, что обезоружит меня необычным вопросом, на который не получит стандартный ответ:

– Папа! А бабушка? Нет! Бабушка не еврейка!

– Что ты, доченька! Ведь мы все бабушкины дети. Она у нас самая первая еврейка, еще раньше нас всех, и покойный дедушка, именем которого тебя назвали. Евреи – это целый народ, как русские, украинцы. Народов на земле много. Вот станешь старше, будешь учить историю, географию и все поймешь.

Однако понимание явилось раньше, и она приходила с возмущением:

– Почему у Миши папа еврей, а он записан в журнале русским?

– Возможно, мама русская...

– Тогда почему у Виталика мама еврейка, а он говорит, что болгарин?

Рано она услышала в свой адрес слово "жидовка". Однажды дежурные удаляли ее из класса во время перемены, а она замешкалась.

– Жидовка несчастная!

Завязалась драка. Две против одной: одна держит, другая норовит ногой в живот. Откуда-то в руках оказалась палка. Ада изловчилась, вырвалась, выхватила палку и при этом задела противницу за ухо. Ухо было и без того болезненное. Начало гноиться. Подняли шум.

— Это хулиганство! Девочку кладут в больницу! Воспаление среднего уха! Трепанация черепа!

На следующее утро, только я оделся на работу, дочь прибежала из школы в слезах:

— В класс не пустили, велели без мамы не приходите

До школы недалеко. По дороге изложила вчерашнюю историю и, захлебываясь и всхлипывая, продолжала:

— Папа, почему нас так обзывают? Я сказала Лилькиной маме, а она мне: "Мало она тебя еще обозвала". А почему они нас не любят? Разве мы не такие же люди? Разве дядя Наум не воевал? А тетя Таня не воевала, а дядя Гриша и тетя Лиза, а тетя Сарра не погибли? Ты же сам рассказывал...

Так дошли до школы. Завуч на уроке. Нужно подождать. Я позвонил на работу, что задержусь. Вошел завуч (типичная украинская фамилия, а у учеников под кличкой "Теля") и Аде:

— А где мама?

Ада кивнула на меня. Я положил трубку и вместо защиты перешел в нападение:

— Вы не скажете, кто такая мать Лили. Где и кем работает? Мне кажется, что она неправильно воспитывает свою дочь.

— Что это? Вызвали маму, а пришел папа, говорит по телефону, задает вопросы. Вас пригласили по поводу поведения вашей дочери.

— Вы на работе? — спросил я, когда мы остались вдвоем, — и я должен был сообщить на свою работу, где нахожусь и по какому поводу. Наш завод шефствует над вашей школой не для того, чтобы в ней оскорбляли наших детей, употребляя по отношению к ним слова, недостойные звания советской школы. Если матери пожаловались, она не должна это поощрять, и вам не к лицу становиться на защиту.

После бурного собрания класс постановил, что он за Аду ручается и считает, что она может быть в коллективе. Вопрос шел только о драке.

Созвали "малый педсовет", — человек 15 учителей (половина — евреи), директор, завуч, классный руководитель, пионервожатая. Пригласили меня. Позвали Аду.

Опустив голову, она поясняла, что на нее напали двое, а она только защищалась. Палкой хотели ударить ее, а она лишь вырвала палку и нечаянно задела по голове нападавшую. Девочку попросили выйти.

Кто-то из учительниц, к сожалению, еврейка, предложила исключить Аду из школы.

Я попросил слова и сказал примерно следующее:

— Аде я сказал, что драться нельзя, но если она жалуется классной руководительнице, пионервожатой, матери, и никто не обращает внимания, то, пожалуй, и я скажу дочери: "Тогда бей!" Дети дрались всегда и будут драться, и если в больном ухе оказался гной, то этим займутся врачи. А кто вычистит гной антисемитизма из сердца маленькой Лили, и откуда он у нее? Об этом следует задуматься и классному руководителю и завучу (педагогу над педагогами). Ведь девочка родилась в 1951 году, через семь лет после ухода последнего фашистского оккупанта из нашего города. Я работаю на заводе, который шефствует над этой школой, и недавно у нас произошел почти аналогичный случай. Старший мастер Круглов оскорбил технолога Клеймана тем же обидным словом, каким пионерка Лиля оскорбила пионерку Аду (к вашему сведению, товарищ пионервожатая!). Между ними произошла драка. Вот приказ по заводу, из которого вы можете видеть, как решил вопрос директор (между прочим, бывший зампредгорсовета): "старшего мастера, оскорбившего человеческое достоинство подчиненного, понизить в должности и перевести формовщиком, технологу за участие в драке объявить выговор". О происшествии в школе знают у нас на заводе и ждут, какое здесь будет принято решение в аналогичном случае. Здесь предлагали исключить Аду. Я и сам могу забрать ее из этой школы, но буду перед Отделом народного образования мотивировать — почему.

Директор школы, полковник в отставке, не желая портить отношения с заводом-шефом, где ему случалось получать кое-что не только для школы, но и для своей дачи, вынес "соломоново решение":

— Собственно говоря, вопрос поднят по жалобе родителей больной девочки, и если они не будут настаивать, мы не будем больше обсуждать этот вопрос. Постарайтесь с ними помириться, — закончил он, обращаясь ко мне.

— А если девочка умрет? — взвизгнула агрессивно настроенная учительница.

— Тогда будем решать вопрос, — заключил директор, — но я надеюсь, что этого не произойдет.

Я вышел из школы и увидел в садике "жидовку" и "антисемитку", которые мирно катались на саночках.

— Ты давно выписалась, Лиля? — спросил я.

— А я и не была в больнице, — услышал я в ответ.

Теперь я мог, я должен был говорить с Адой о евреях и антисемитах. Приближался Пурим. Я рассказал ей по памяти историю праздника в соответствии со сказанием об Эсфири. Прошел год, и она все в точности пересказала бабушке, но Ахашвероша она назвала шахом (ведь он был персидский царь!), а Амана — визирем (как в сказках Шехерезады).

Незадолго до Пасхи я посвятил ее в историю Исхода, но до того надо было объяснить, как евреи попали в рабство. И я начал по памяти излагать ей историю Якова и его сыновей, про Иосифа и его братьев, Моисея и Аарона, скитание по пустыне и завоевание Ханаана. Я объяснил, что эта страна является родиной народа и теперь там существует еврейское государство Израиль со столицей Иерусалимом.

— А нам на уроке географии называли другой город — Вавив, или что-то в этом роде.

Что я мог на это сказать? Ведь в советской школе следует отвечать урок так, как его преподают.

Зато в Шестидневной войне, с боями за Иерусалим, речь шла уже о конкретной стране, с конкретной судьбой и хорошо известной столицей. И когда я, сквозь советское глушение в эфире, силился разобрать военные сводки, моя пятнадцатилетняя дочь горячо воскликнула:

— Меня там нет! Я бы им показала!

Я предостерег ее от откровенных высказываний своих симпатий в школе. Если ранее я намечал откровенную беседу с ней о своей жизни до ее первого совершеннолетия, то есть до шестнадцати лет, то теперь вокруг столько говорили о сионистах, что самое было время использовать

этот момент. В ее годы мы уже вели идеологические дискуссии об избрании трудового или социалистического направления в сионизме и является ли трудовластие искажением подлинной демократии.

С ней я начал, конечно, с "азов", стараясь в дальнейшем расширять ее кругозор, рассказал о своем личном участии в движении, а также и тех моих товарищей, которых она уже знала, не ведая, какие тесные узы и общность судьбы меня с ними связывает. Теперь мне легче было с ней разговаривать, ибо я не был связан тесными рамками школьного курса и комсомольской политграмоты, которые больше не стеснялись опровергать. Я объяснил ей остроту момента, как в Израиле, так и в СССР и предупредил, что в связи с разрывом дипломатических отношений и откровенной проарабской позицией советского правительства, возможны возобновления репрессий против старых сионистов. Вот почему именно ей следует быть особенно осторожной, ибо любое ее слово может быть истолковано как влияние пропаганды крамольного отца.

Многое было для нее первооткрытием, а в отношении конспирации она мне сказала:

— Я все понимаю, папа. Я мало говорю и больше слушаю.

Когда мы стали обсуждать планы предстоящего выезда, она принимала в них активное участие. Если жена, еще не привыкнув к этой мысли, начинала выражать сомнение, предлагая все тщательно взвесить перед решительным шагом, то наша семнадцатилетняя дочь со всем пылом молодости предлагала смелое решение:

— В конце концов, папа, если мама колеблется, давай поедем вдвоем, а она никуда не денется, придет. И если вам понадобится перед выездом развестись, я ее вызову как дочь.

Она уже встречалась с молодежью, которая стремилась в Израиль, брала уроки иврита, принимала участие в проводках отъезжающих, вышивала на рубашках символ Израиля — менору, готовилась ехать в костюме — в белых брюках и голубой блузке. Настояла, чтобы ей купили гитару и не сдавали в багаж — возьмет с собой и будет в ульпане разучивать израильские песни и легче усваивать иврит.

Когда я узнал в ОБИРе о полученном разрешении на

выезд и направился было домой, чтобы сообщить радостную весть, я встретил по дороге дочь с подругой после удачно сданного экзамена, и, отозвав ее в сторону, поделился приятной новостью и просил передать маме, а сам вернулся на работу.

Домой она прибежала, уже с порога весело напевая:

— Мы едем, едем, едем в далекие края!

Мать отнесла ее радость за счет удачно сданного экзамена, поцеловала и поздравила. Но она продолжала со значением напевать веселую, знакомую с детства песенку, вкладывая в нее на этот раз свой особый смысл. Ни о чем не догадываясь, мать вышла в соседнюю комнату, а дочка, оставив подругу, пошла за ней и жарко зашептала:

— Мы едем, мама, ты понимаешь, мы едем! Я встретила папу на Дерibasовской, он велел передать тебе, что получено разрешение...

И они радостно обнялись и расцеловались.

По приезде в Израиль нас поместили в Мерказ клита, и мы тут же поехали в кибуц Мааган-Михаэль в гости к старому товарищу по движению, встретившей нас в Лоде, Любе Кантор. За несколько дней до этого там начались занятия в молодежном ульпане, и наша Ада предпочла остаться в кибуце и не возвращаться с нами. Там она нашла свою судьбу, встретив хорошего парня, нового оле из Румынии, с которым соединила свою жизнь.

Ко мне случайно попала маленькая тетрабочка с ее записями, сделанными в первые дни пребывания там. И пусть простит мне моя девочка, теперь студентка израильского университета и жена солдата израильской армии, если я позволю себе завершить раздел своего повествования, посвященный дочери, ее собственными юношескими записями, отнесясь к ним с полным уважением, постараясь не выдавать ее девичьих тайн, сохранить стиль подлинника.

Странички дневника

23.1X.

18 лет канули в вечность, а что я за эти 18 лет успела? Ровным счетом ничего! Впрочем — и это немало — я,

наконец, оставила самый гнусный кусок земли. Но это благодаря папе. А я сама? Ведь ничего не знаю, так мало читала настоящей литературы, сплошь макулатуру. А ведь хочу быть дипломатом. С такими знаниями, как у меня, ничегошеньки не выйдет. Только одно утешение, что в России я все-таки не могла достать настоящей литературы, но здесь постараюсь наверстать все упущенное и нужно это сделать как можно быстрее. Ахува говорит, что нужно скорее устроить личную жизнь. Какую, к черту, семейную жизнь? Это от меня не уйдет! Слава богу, что мое сердце и душа чисты от всякой любви. Сейчас она мне ни к чему. Пока я молода и полна энергии, надо больше заниматься, читать, развивать свой кругозор, наверстать все упущенное раньше.

25.1X.

Наша страна! Такая до боли родная! Не понимаю, как некоторые могут требовать самое лучшее себе, когда страна до такой степени молода. Неужели им мало? Где, в какой стране они сразу получают такую квартиру, работу, льготы. Да уже тот факт, что ты находишься среди своих, должен наполнять сердце радостью и любовью к каждому. Конечно, я не хочу преувеличивать, страна еще молода, есть много недостатков, но все равно это счастье – жить здесь. С первых дней государство заботится о тебе: приезд из Вены, ульпан, потом квартира, работа. Что может быть лучше?

26.1X.

Нет! Все-таки здорово, что я в кибуце! Ведь здесь быстрее научишься говорить, работать, знакомишься с ребятами из всех стран. О! Наш кибуц! Красотища! Одно море чего стоит, а зелень, общежитие, кинотеатр...

Четверг

Опять тоска, такая липкая и противная. И это танго, сводящее меня с ума, и все вместе разрывает сердце на части. Ребята! Дорогие мои! Как мне вас не хватает. Пришла весточка: ждите Н-на, и я потеряла покой. Почему я такая дура? Все время думаю о нем, о ребятах, вспоминаю встречи, разговоры. Сама себя довожу до тоски и мой вид,

очевидно, вызывает и в других тоску. Люба, чтобы поднять мое настроение, предлагает выпить. Вот хорошо напиться, заснуть, а то нет сил. Предлагает мне оставаться ночевать у нее. Переживают за меня, стараясь разогнать, рассеять мрачное. Но его рассеет только приезд Н., когда я получу приветы и сведения о ребятах. Тоска, она доведет меня до чего-то нехорошего. Ни к чему не лежат руки, лечь бы и заснуть...

Среда

Итак, сегодня Новый год! С Новым годом, с новым счастьем и с новой встречей с дорогими мне людьми — говорю я себе! Ровно в полночь я зажгу свечи и помолюсь за тех, кто за бортом. Именно помолюсь, потому что — как еще может облегчить себе душу человек, которому не с кем поделиться своими переживаниями? Я скажу все тишине, луне, звездам, деревьям, сама себе, и мне станет легко, и будет гореть во мне надежда. Я еще хочу получить в новом году много, много писем от своих друзей. Старый год не порадовал меня весточками.

Встреча нового года идет по всей стране. В зданиях, домах, выросших из пепла и огня, пьют, веселятся, мечтают о мире. Господи! Если ты есть, обрати свой взор на крошечную страну, на ее маленький, но мужественный и гордый народ, дай силы выдержать, помоги заключить мир. Израиль! Моя страна, моя... Я плоть от плоти твоей. И как будто не было пережитых восемнадцати лет. Я родилась заново, я живу, я дышу и расту, я молюсь о тебе, ибо нет у меня на свете никого дороже тебя. Я — песчинка среди людей, живущих в Израиле, но если исчезнут несколько десятков таких песчинок, ты чувствуешь это, как если на теле не хватает маленького кусочка кожи. Жизнь моя принадлежит тебе. Это не громкие слова, отнюдь. Если бы это я сказала в СССР, это было бы лицемерием и ложью, которая так плодотворно цветет на советской почве и которую считают за правду. Куда ты призовешь меня, я иду. Меня не страшит призыв на войну, потому что я защищаю свою страну, свой народ, свою жизнь и жизнь своих детей. Ничто не страшит меня. Это я говорю в ночь, когда через час

будет новый год, в который я верю, который принесет долгожданный мир.

Здесь, в кибуце, я почти изолирована от политической жизни: газету еще не выписали, язык я не понимаю, только один раз вечером я могу слушать передачу "Голос Израиля" на русском языке. Этим и живу. Но все, что происходит в кибуце (пусть даже не знаю языка), я прекрасно понимаю и чувствую каждой клеточкой своего тела.

Как я жалею, что нет со мной моих друзей, чтобы быть счастливой до конца. В новогоднюю чашу радости попадают капли горечи. Как хотели ребята на Новый год быть со мною! И вот сейчас в столовой поют песни, пьют, смеются, а я думаю — где они, мои товарищи, по какому нечеловеческому закону они не могут быть здесь, слушать родные песни, веселиться, да ниспошли, Господи, на тиранов их жесточайшие муки, нет им прощения во веки веков.

— Дорогой Н.! Я плакала о тебе, когда пел детский хор, ведь я хорошо помню, как ты любил запись детских песен. Не могу, не могу веселиться без вас.

Новый год! Принеси нам радость встречи. Кроме того, прошу, чтобы в Новом году все, кто сидит (конечно, не воры и бандиты, а все порядочные и честные люди, что сидят по воле гнусной власти), были освобождены. Кто допустил, кто посмел строить лагеря, сумасшедшие дома для нормальных и честных людей? Советское государство! Сколько сгубило ты своих лучших людей? Сгубило по прихоти сумасшедшего, который всех видит сумасшедшими и старается уничтожить их.

Новый год! Принеси счастье всем хорошим людям, принеси радость и освобождение, мир и веселье в каждый дом, ле-хаим!

Молитва

Я молюсь звезде, самой яркой и самой красивой, как моя страна. Я молюсь о моей стране, о моих друзьях и о всех людях, переживших и переживающих разлуку и горе. Я не знаю названия той звезды, которой я молюсь, да и не к чему. Она светит каждую ночь и очень хорошо видна.

Я прошу тебя, звезда, потому что верю в тебя. Дай мне силы для борьбы с любым злом, для любой ноши и

трудности. Дай мне силы выработать в себе волю и усидчивость, чтоб было во мне как можно больше знаний, которые бы пригодились моей стране и моему народу. Помоги всем ссыльным обрести покой в кругу друзей (я имею в виду, во всяком случае, не в СССР, потому что там сидишь на бочке с порохом), дай силы им продолжить свое правое дело.

Открой глаза русскому народу — куда, в какое болото ведет их правительство. Будь им путеводной звездой! Уничтожь, сожги, смети с лица земли лагеря, тюрьмы, сумасшедшие дома для нормальных людей, ложь, клевету, зависть. Выведи людей на правильный путь.

А теперь я хочу попросить еще: помоги всем, кто хочет выехать из проклятого болота, осинового гнезда, помоги им, потому что ни за что гибнут невинные души и некому покорать злодеев при жизни, а после смерти их ничто не искупит кровь невинных жертв.

Звезда моя, помоги всем страдающим, дай встречу близким, радость и утешение горюющим, открой глаза слепым и уши глухим, дай язык немым и пусть гремит на весь мир правда и только правда!

Помоги всем, всем, всем! Помоги, звезда моя! Как четыре луча твоих, что я живу, так и я зажгла четыре свечи, так и четыре просьбы у меня:

первая — б е л а я — мир моей стране и во всем мире.

вторая — к р а с н а я — освобождение узников и свободный выезд.

третья — ж е л т а я — горе врагам нашим.

четвертая — г о л у б а я — (моя личная просьба) — скорая встреча с друзьями.

Гори же вечно, звезда моя, и ничто не сможет загасить тебя и даже после моей смерти кто-то будет продолжать. Гори, гори! Помоги всем!

Помнит ли дочь свои юношеские мечты? Папа их подобрал. Папа их бережно хранит. Он видит в них всходы посеянного, итог пережитого, исполнение давней мечты. Какое счастье, что все мы, наконец, здесь, и ее "ребята" тоже. Пусть будут счастливы наши дети! Будущее родины в их руках.

Характеристики

Через многочисленные рогатки прошел не один выезжающий и каждый по-своему.

Получив вызов, я пришел в районный отдел милиции, чтобы выяснить, какие документы требуются для подачи на выезд.

— Вот, ходят, подают, а потом просят обратно. Вы читали сегодня статью "Язва души"? Про Черчиса. Обратно просится. Вы хорошо подумали? Смотрите!

Все же мне скороговоркой перечислили, что требуется для подачи. Глянцевые фотокарточки забраковали. Оказывается "блеск" годен только для социалистических стран, в капиталистические можно выехать только "на матовых". Пришлось сделать новые.

Но основная рогатка — получение характеристики. Для ускорения дела я написал ее сам и, не тревожа нашу секретаршу, отпечатал на стороне на бланках предприятия, на всякий случай в трех экземплярах. В ней я сам себя характеризовал как квалифицированного работника, который добросовестно выполняет служебные обязанности, но в общественной жизни предприятия участия не принимает. Заделав подписи директора и председателя профорганизации, я вошел к директору, когда он был один и, применив тактику неожиданности, быстроты и натиска, тут же получил от него подпись на двух экземплярах. Он попросил меня, чтобы об этом не знал парторг, и я сам был в этом менее всего заинтересован, тем более, что его подпись для меня, беспартийного, не требовалась. Этого ставленника райкома партии называли "комиссар" (так он себя и вел), и директор его побаивался.

"Профсоюзный вождь" (еврей) оказался более осторожным и, прочитав для какой цели дана характеристика, оставил ее у себя и сказал, что он должен подумать. Мне ясно было, что он будет консультироваться с "комиссаром", тот — с райкомом, и заварится каша. Я оставил ему один экземпляр и бережно хранил второй, подписанный директором. Подождав неделю, я решил напомнить о себе и услышал:

— Получите характеристику.

Я подождал еще неделю и получил тот же ответ. Я обратился к директору.

— Что вам от меня нужно? Я вам подписал и теперь имею неприятности.

Я решил обратиться к "комиссару".

— Что вы на меня напираете? Моя подпись вам не нужна. Мы все делаем так, как нам велит партия. Получите характеристику.

— Когда? Уже прошел месяц!

— Когда надо будет, тогда и получите.

Через несколько дней меня вызвал председатель фабкома и начал оправдываться:

— Вы понимаете, что было бы, если бы мы выдали вам характеристику без вехома "комиссара"? Директор этого не понял и теперь раскаивается. Мы все зависимы от него и от райкома. Поймите мое положение. Вот вам характеристика.

Она была перепечатана не на фирменном бланке, за подписью и печатью только профсоюза и из нее исчезло самое главное, что она выдана в связи с ходатайством о выезде на постоянное жительство в Израиль.

— Но ведь это не то, что требуется.

— Так мне велели.

Поставив круглую печать предприятия на экземпляре, подписанном директором, я отправился в областной ОВИР с обеими характеристиками узнать, примут ли их у меня в таком виде: ведь одна дополняла другую.

Сотрудница ОВИРа выразила благородное возмущение:

— Что за перестраховщики у вас там сидят? То, что написал профсоюз, недостаточно. Правильную характеристику дал Вам директор (он мне дал!...). Но мы их не можем заставить. Мы даже не принимаем у вас документы. Обратитесь в райотдел милиции. Пусть они разъяснят вашему начальству.

Когда я вернулся на работу, меня встретил у входа смущенный председатель фабкома и тихо спросил:

— Вы получили характеристику?

— То, что вы мне дали, не годится.

— Нет, я подписал вам ту, первую, она у директора.

Директора не было и я, раскрыв тайну второго экземпляра, получил на нем недостающую подпись. Первый экземп-

ляр попросил потом начальник отдела кадров для личного дела.

— Вы на меня не обижайтесь, — извинялся ”профсоюзный вождь”, — ведь я человек маленький и зависимый. Вы должны меня понять. Как еврей еврея. Желаю вам успеха, и чтоб вы потом не пожалели.

Это был симпатичный парень, который вырос на этом предприятии, начав работать в семнадцать лет, когда оно еще было артелью. Обижаться на него можно было не более, чем на всех запуганных.

На жену, пенсионерку, характеристики не требовалось. Теперь нужно было получить ее для дочки, которая работала и училась в медучилище. О последнем обстоятельстве мы умолчали, надеясь обойтись одной характеристикой и не ставить ее под удар по месту учебы, которую она продолжала бы в случае получения отрицательного ответа.

Вооружившись своей характеристикой как образцом и прецедентом, я обратился к ее непосредственному начальству и просил составить нечто подобное для Ады. Эта милая женщина устроила мне через два дня свидание с главным врачом объединения, евреем, который был также преподавателем училища, где училась Ада.

— Рад познакомиться, — сказал он мне. — Ваша дочь способная девушка, и ваш долг хорошенько подумать о ее дальнейшей судьбе. Не стану вас агитировать и отговаривать, ибо полагаю, что вы человек взрослый и отдаете себе отчет, на что идете. Я, конечно, согласовал вопрос с райкомом, и вы получите характеристику (кстати, это было в одном районе с моей фабрикой).

Я ответил, что мы пока еще не едем, а только подаем документы. Каков будет ответ и долго ли мы будем его дожидаться — неизвестно. Поэтому я попросил не разглашать этот вопрос ни здесь, ни на работе, ни тем более в училище.

— Это я вам обещаю. Надо помогать. Желаю вас успеха.

И крепко пожал на прощание мою руку.

Все другие более мелкие барьеры были уже давно преодолены, включая заверенное нотариусом согласие родственников, и теперь можно было подавать документы. Я был нездоров, и в милицию пошла жена, тем более, что вызов

был на ее имя. Там заявили, что мы неправильно заполнили анкеты, и любезно предложили адрес одного опытного человека, который за небольшое вознаграждение правильно их заполнит. Этот человек, к которому жена направилась, усиленно допытывался у нее о таких подробностях, о которых и не спрашивалось в анкете, и сказал, что она должна быть с ним совершенно откровенна, если мы хотим рассчитывать на положительный ответ. Заинтересовавшись моей необычной автобиографией, он выписал из нее некоторые данные и попросил жену зайти через пару дней. Потом выяснилось, что это был "их" человек, по фамилии Мазур, консультант КГБ по текстам на идиш и иврит и лжесвидетель на некоторых антиеврейских процессах. Говорили, что он находится под добровольным домашним арестом и не покидает квартиру иначе как под охраной, ибо имеет все основания опасаться, что его изобьют.

Я мог его не бояться, ибо в органах КГБ меня отлично знали, и то, что я про себя написал, было для них не ново.

Когда я выздоровел и пошел сам сдавать документы, то в последний момент оказалось, что на дочку не хватает еще одного документа – из комсомола. Я сообщил инспектору, что нас об этом не предупредили, что жене сказали лишь о неправильно заполненных анкетах. Позвонили в ОВИР. Оттуда благосклонно ответили, что если все остальное в порядке, можно принять документы. Я всегда считал, что наша дочь, хотя и родилась у нас поздно, но под счастливой звездой. Видимо, ей она и молилась.

Шесть миллионов сионистов

Теперь, когда документы были поданы, предстояло томительное ожидание и полная неизвестность с очень слабой надеждой на положительный ответ, при обычных тогда массовых отказах. А что тогда? Дальнейшая борьба за право выезда – путь, на который теперь становились многие.

Добываясь характеристики, я говорил лишь с несколькими людьми и не ожидал, что дело примет преждевременную огласку. Никто меня ни о чем не спрашивал, но когда я

поделился своими планами с сотрудником, он открыл мне, что это уже давно стало "секретом Полишинеля", что об этом все говорят, хотя и не со мной, даже в вышестоящей организации и на других предприятиях.

В такой ситуации на докладах о международном положении, когда речь заходила о Ближнем Востоке, почти все поворачивались в мою сторону. Эти доклады читали лекторы общества "Знание" или отдела пропаганды райкома и от них можно было услышать интересные вещи, которые не публикуются в печати. Один лектор-еврей сказал, что, хотя симпатии нашего правительства на стороне арабских стран, которым мы помогаем, следует сказать, что Израиль обладает сильной, хорошо оснащенной и обученной армией. Израильские летчики считаются одними из лучших в мире. Некоторые советские граждане-евреи намереваются выехать туда, и в Москве уже накопилось несколько тысяч таких заявлений. Это, конечно, их дело, и мы насильно никого не держим, но вот недавно из Израиля вернулся один наш легкомысленный земляк, по фамилии Черчис (это был тот самый, из статьи "Язва души").

— Вообще, это, по-видимому, нехороший человек. Таково по крайней мере мое мнение. Что-то там нечисто. Туда он выехал, оставив здесь двух сыновей, вернулся без жены и дочери, которые остались в Израиле. Там он клеветал на Советский Союз, а здесь ругает Израиль. В общем, грязная личность. Но наше правительство великодушно разрешило ему вернуться на Родину.

Не думаю, чтобы этот умный еврей добровольно подставлял под удар свою голову, допустив хоть одно слово отсебятины, в том, что им было сказано на предприятии, где работало немало евреев. Полагаю, что он говорил лишь то, что ему было дозволено.

Другой докладчик, нееврей, на ехидный вопрос патриота-украинца — сколько немецких наемников в израильской армии? — ответил, что Израиль располагает собственной многочисленной армией и не имеет никаких наемников. Верно лишь, что их усиленно снабжает оружием Америка. **Ведь там проживает шесть миллионов сионистов.**

Евреи вопросов не задавали, хотя возможно и заметили, что следуя статистической методологии докладчика, придет-

ся признать, что и в СССР проживает по крайней мере три миллиона сионистов.

После пресс-конференции, устроенной Замятиным при участии 52 "граждан еврейского происхождения", повсюду проходили митинги, и наше предприятие не было исключением. Я пытался уклониться от участия, но собрание происходило в помещении, где я работал, и мне предложили остаться. Пришлось выслушать информацию юрисконсульта — еврея, который в общепринятых выражениях клеймил позором "агрессора". Потом он спросил, кто хочет высказаться. Все сидели, низко опустив головы. На помощь пришел начальник снабжения, тоже еврей, который сказал, что говорить тут много нечего, ибо "нельзя не согласиться" со всем, что мы услышали. Зачитали резолюцию, заранее отпечатанную или, вернее, присланную райкомом. Я руки не поднял, "кто против?" не спросили и посчитали, что принято единогласно.

Почему я не выступил? Считаю, что лишь при наличии отказа следует действовать с открытым забралом. В ожидании ответа, при малейшей надежде, что он будет положительным, это было бы безумием и донкихотством.

А, может, передумаете?

Меня вызвали на партийное собрание. В них мне приходилось участвовать по занимаемой должности. Повестка дня: 1) отчет комсомольской организации; 2) отчет художественного совета; 3) разное. Оказывается, к "разным" относился именно я.

Освободив предшествующих докладчиков, "комиссар" обратился к оставшимся примерно со следующей речью:

— Сейчас по всей стране проходят митинги, где трудящиеся, все как один, клеймят позором захватнические действия Израиля. Но в нашей среде оказался человек, который намерен выехать в эту агрессивную страну и покинуть нашу славную социалистическую Родину. К сожалению, это руководящий работник нашего коллектива, которого мы вызвали сюда, чтобы с ним побеседовать.

Я ответил, что нами руководят не политические, а чисто семейные мотивы. Жена моя потеряла почти всех родных, а в Израиле нашлась кузина, которая зовет ее туда, и сестры хотят соединиться.

Один еврей-коммунист заявил, что не представляет себе, как он мог бы покинуть горячо любимую родину и поменять ее на какую-то далекую враждебную страну.

На эту патристическую тираду я ответил, что каждый — хозяин своей судьбы и вправе строить жизнь по своему усмотрению.

— Но кто у вас инициатор? Видимо, жена? Может быть, стоит с ней поговорить?

Я ответил, что этот вопрос не может решать ни партсобрание, ни художественный совет, ибо он давно решен на нашем семейном совете. Кто там был "за" и кто "против", это внутренние дела. Не разбивать же из-за этого семью. Вообще, я считаю, что весь разговор здесь неуместен, тем более, что я не член партии. Дело находится в достаточно компетентных органах, прекрасно учитывающих все личные и политические соображения, и им одним дано право решать. Мы не едем еще, а ждем разрешения, и если нам порекомендуют не ехать, то, конечно, мы останемся. Если же нам предложат выездные визы, придется ехать, ничего не поделаешь...

Я намеренно употребил такие выражения, чтобы у собравшихся создалось впечатление, не посылают ли меня со специальным заданием, и, учитывая тайну, которая обволакивает "компетентные органы" и их деятельность, что это "не их ума дело" и им не следует в это вникать. "Комиссар", который в свое время имел касательство к этим органам, беспомощно процедил:

— А ведь он все правильно говорит. Ничего не скажешь...

Он тоже всегда все говорил "правильно", "как велит партия", как пишет газета, и я, стараясь попасть в близкий ему тон, обезвредил его тем же оружием.

— Вы все-таки подумайте, — сказал он примирительно. Ему важно было "поставить галочку", отметить, что задание выполнено, "мероприятие" проведено, беседа состоялась.

Я обещал подумать.

Вспомнив, что "комиссар" начал свою "правильную"

речь, говоря об мне как об одном из руководящих работников коллектива, я торжественно заверил, что где бы я ни был и кем бы я ни был, я никогда не уроню честь коллектива, где я работаю и с которым мне, видимо, придется расстаться.

На нашей фабрике делали одесские сувениры. Мне подарили на память несколько образцов перед самым отъездом. Одни из них, плоскую настольную шариковую ручку с вмонтированными в нее двумя фотографиями достопримечательных памятников нашего города, я решил подарить земляку, Натану Пеледу. Я выслал этот сувенир ему домой, в кибуц Сарид, с приглашением к себе на новоселье. Приглашение было принято, а в одну из последующих встреч он сказал:

– До сих пор я все пометки дома делаю Вашей красной ручкой.

Она задумана художником-евреем, сконструирована евреем, сделана руками еврейских рабочих, и я думаю, что честно сдержал данное обещание и не уронил честь коллектива, подарив его изделие члену правительства Израиля.

Пока я шел от красного уголка до конторы, меня по дороге остановило несколько человек.

– Ну, как Вас там прорабатывали? Сагитировали?

– Я Вам сочувствую, – шепнул мне один из русских рабочих.

– Как я Вам завидую, – сказала молоденькая сотрудница, подруга которой недавно выехала в Израиль.

– Хочу прийти к Вам вместе с дочкой, если Вы позволите, – попросила пожилая сотрудница. Кстати, дочка эта уже теперь в Израиле.

Люди подходили и осторожно оглядывались, нет ли кого поблизости.

В маленькой комнате сидели два еврея, позвали меня через раскрытую дверь, когда я проходил мимо, и попросили прикрыть за за собой.

– Хотите анекдот? Одного еврея позвали и спрашивают: "Родственники за границей есть?" – "Нет". – "Как же нет, а два брата в Израиле?" – "Так это они за границей? Они дома, это я – за границей".

— А вот вам не анекдот, а быль. Вчера на Степовой стояла очередь за апельсинами. Еврейка пыталась получить без очереди. Ее одернул какой-то гой: "Ты, Сара-Голда! Куда лезешь? Тебе все мало?" — "А ты, Иван-Насер, чего голос поднял? Мало тебя били? Еще захотел?"

Еще один анекдот. Три еврея надумали ехать в Израиль. Первого вызвали и сказали, что там очень жарко для его сердца. И велели подумать. Второго напугали, что там влажно для его астмы, и тоже велели подумать. Когда третьему сказали подумать, в связи с тем, что там сильные дожди, он начал размахивать пальцем перед носом вправо и влево. "Чего вы размахиваете пальцем?" — "Это я думаю: брать ли зонтик или не брать?"

— Вам, кажется, тоже сегодня предложили подумать. А зонтик у Вас есть? Купите на всякий случай.

Кто-то приоткрыл дверь и летучий израильский митинг мигом "улетучился".

Советский хлеб

Меня вызвали к начальнику Управления вместе с директором. Свидание могло быть и чисто служебным, но оказалось, что это относительно моего выезда. Мой "либеральный" директор сидел молча, а беседу вел начальник.

— Что же Вы, мой милый, надумали? Работали мы с Вами неплохо, знакомы давно, и вдруг такая неожиданность. Я только недавно узнал. Не ожидал, не ожидал! Ну куда Вы собрались? Вы знаете, куда Вы едете? Где Вы там будете жить? У Вас же нет там квартиры. Ну, если бы я захотел переехать в Москву или Киев, где бы я там жил?

Я ответил, что насчет Москвы или Киева — не думал, ехать я туда не собираюсь, но, насколько мне известно, в Израиле никто на улице не живет и, я думаю, что и мне не придется, так что тревожиться обо мне не стоит.

— Вот, у вас молодая дочь, наверное, комсомолка. Куда Вы ее везете?

— Там тоже есть комсомол.

— Ну, это совсем не тот комсомол, не наш комсомол.

Наверное, учится? Что она там будет делать, где она там будет учиться?

Разговор начал принимать затяжной и скучный характер. Пора было кончать.

— Вы все-таки подумайте, пока не поздно.

Я обещал подумать. Еще беседа, еще одна "галочка".

Я не возражал бы, если бы мой бывший начальник Иван Осипович проведаль мою дочь на Хар ха-Цофим и посетил мою нынешнюю квартиру. Уж так и быть, я не пожалел бы подарить ему на память хороший израильский сувенир для образца, как привет с родины еврейским рабочим фабрики одесских сувениров, которые пока еще там работают.

Спустя короткое время этот "любезный" начальник посетил наше предприятие и, говоря о каких-то неполадках на фабрике, обратился ко мне:

— А вы что тут смотрите? Мы вам верили, а вы не наш человек. Вы зря едите советский хлеб.

Я ответил, что хлеб я покупаю на заработанные деньги.

— За такую работу вас следует привлечь к уголовной ответственности.

Я почувствовал, что обходным маневром могут расстроить все мои надежды.

Получив разрешение на выезд, я немедленно подал заявление об увольнении в соответствии с законом, предупредив об этом за две недели. Имея в виду, что визу я получу через десять дней, а после того мне предоставляли месяц на сборы, я мог свободно отработать этот срок, закончить полугодовой отчет, передать дела, заручившись для спокойствия соответствующим актом. Это входило в интересы обеих сторон. Я просил издать приказ об увольнении немедленно, и тут же сделав соответствующую запись в трудовую книжку, выдать мне ее на руки для снятия нотариальной копии, ибо подлинник при выдаче визы у меня отберут в ОВИРе. Просьба моя была выполнена и трудовая книжка была у меня на руках.

С большим трудом удалось получить справку домоуправления о сдаче квартиры, которую я пока еще не освободил. Таковы нелепые формальности, с которыми встречается выезжающий.

Новые рогатки

Вооружившись всеми необходимыми документами, я накануне назначенного дня пришел в ОВИР, чтобы узнать, можно ли завтра явиться всей семьей для получения виз. Мне ответили, что завтра визы не будут выданы и оформление нашего выезда временно приостановлено. Я обратился к начальнику ОВИРа, полковнику Сердюку, и он подтвердил мне это.

Причина? Просьба вышестоящей организации в связи с ревизией предприятия. Я спросил:

— Зачем вы верите телефонным звонкам, а не документам? Вот моя трудовая книжка, где написано, что я уволен и принес ее, чтобы сдать вам.

— Это не телефонный звонок, у нас есть официальное отношение вашего управления.

— Но мне объявлено о разрешении на выезд и проходит установленный мне срок. Разве Управление может отменить мой выезд?

— Ваше разрешение в силе. А сроки устанавливаем мы. Если ревизия покажет, что вас следует привлечь к уголовной ответственности, а мы вас выпустили, имея письменное предупреждение, то отвечать будем мы.

— Но ревизия даже не началась и может продлиться и месяц, и два.

— Я вам снова повторяю, что сроки выезда устанавливаем мы.

— Кому я могу обжаловать действия начальника Управления?

— В вышестоящую организацию, в данном случае в Облесполком.

Все инстанции были на месте. Это было очень удобно. Однако я решил прежде обратиться к начальнику Управления. Тот встретил меня как разъяренный лев:

— Никуда вы не поедете! Вас ждет тюрьма! Вас повезут в другую сторону! Кто посмел вас уволить без моего ведома? Вы — наш номенклатурный работник. Вашему директору и начальнику кадров влетит за ваше незаконное увольнение.

Я записался на прием к заместителю председателя Облесполкома, которому подчинялось наше Управление. Как раз

в это время в Москве находился Генеральный Секретарь ООН У Тан, шли какие-то переговоры с Гуннарсом Яррингом, подготавливалось соглашение о прекращении огня между Израилем и арабами. В ОВИРе тоже чувствовалось оживление. Кроме меня, получили разрешение еще несколько семейств. Высокое начальство, которое стояло поближе к правительственным кругам, не считало нужным в данной ситуации создавать излишний шум вокруг моей скромной личности. Выслушав меня, заместитель председателя Облispensкома связался по телефону с моим незадачливым начальником и разъяснил ему, что, поскольку никакой ревизии пока еще нет, никакого конкретного материала против меня нет, поскольку я уже уволен и имею разрешение на выезд за границу, то я попросту не нахожусь более в его распоряжении.

Из ближайшего автомата я позвонил начальнику Управления и услышал из трубки настоящий звериный рев:

— Что вы мне голову морочите и не даете работать? Поезжайте, куда хотите на все четыре стороны, хоть к черту на рога! Надоели вы мне хуже горькой редьки...

Я выслушал эту брань, как самую приятную музыку, и бегом направился в ОВИР. Начальник связался по телефону с моим Управлением и ему подтвердили, что "вето" снято, о чем он получит письменное уведомление.

Эта "рогатка" обошлась мне в десять дней задержки.

Крупный разговор произошел у Ады в училище. Завуч приготовил ей справку взамен зачетной книжки, с указанием всех сданных ею предметов и полученных оценок, но директор училища категорически отказался подписать ее и поставить печать.

— Вы едете в буржуазную страну и вам наши советские справки ни к чему.

— Ученица покидает училище, не закончив его, — пытался объяснить я. — В этом случае ей полагается справка, а куда она ее предъявит, это ее дело.

— Это наше дело, и вы меня не учите. Никакой справки я вам не дам, и можете ехать куда хотите.

— Тогда верните ее зачетную книжку.

— И книжку не верну. Уходите и не мешайте мне работать.

Мы отправились в Управление Учебных заведений Облздравотдела, где нам сказали, что начальник принимает только раз в неделю и можем подать письменную жалобу. Мы объяснили, что у нас вопрос срочный, связанный с выездом за границу. Здесь требуется реагировать немедленно. Мы не можем дожидаться ответа.

– Нас это не касается.

В Областной Прокуратуре тот же разговор:

– Здесь нет прямого нарушения закона, которое требует нашего немедленного вмешательства. Можете подать письменную жалобу, ее разберут и вы получите ответ.

– Мы покидаем страну, – сказал я прокурору. – Неужели вы хотите, чтобы у нас на прощание осталось чувство горькой обиды?

– Это нас не касается. Мы выполняем закон.

У дочери в глазах стояли слезы:

– Папа, уедем отсюда поскорее. Ну их, с их справками...

Вот одна из причин гневных слов в ее дневнике. Ее возмущало и грубое отношение таможенников, испачкавших и помявших вещи, оторвавших ручку от зонтика "в поисках золота".

Друзья провожают

Заместитель директора позвал меня в свой кабинет:

– Я слышал, вы нас покидаете. Ну, что ж, у каждого своя дорога. Мне хочется рассказать вам один эпизод. После войны, когда я плывал, мы привезли с Ближнего Востока (из Египта, Сирии, Ливана) большую группу армян, целый пароход, несколько тысяч. Прибыли в Батуми, стали на рейд. Они в восторге стали бросать шапки в воздух. Все море вокруг было усеяно шапками.

Грек по национальности, он нашел какую-то аналогию между радостью возвращения на родину рассеянного народа и моим отъездом. Я даже не сразу это понял.

– Чем я могу вам помочь? – спросил он.

– Мне нужны хорошие, крепкие ящики для багажа.

– Будут вам ящики.

Он дал мне записку к одному еврею, заведующему деревообрабатывающим производством, и мне изготовили три больших ящика из чистой строганой доски, доставили домой, и обошлись они сравнительно недорого. Багаж дошел в них в отличном состоянии.

Помогали укладываться Адины "ребята". Ящики высокие, полутораметровые. В середине их обивали целлофаном (против сырости), затем укладывали вещи. Один залезал внутрь. Другие подавали вещи для укладки. Один из товарищей – тот самый, который любил записи детских песен, залез в ящик, лег на дно и крикнул оттуда:

– Забросайте меня вещами. Я бы вот так и доехал! Теперь он в Израиле.

Однажды появился молодой человек, которого я никогда не видел. Провожал откуда-то Аду, зашел в квартиру и отрекомендовался:

– Хаим такой-то (назвал фамилию).

Не на каждом шагу встретишь сейчас в России молодого человека, который не постеснялся имени Хаим, не превратился в Ефима. А этот специально подчеркивал.

– Хочь помочь отъезжающим чем можно.

Остался до двух часов, переночевать отказался. Уж не знаю, как добрался домой среди ночи.

Мне сказали, что он архитектор, интересовался остатками памятников на старом еврейском кладбище, делал зарисовки.

Так и не знаю, куда он девался. Может быть, и он в Израиле?..

Помогали ребята и в таможне, где пришлось все вынимать, показывать и заново укладывать. И даже после нашего спешного отъезда, когда мы не успели уплатить за отправку багажа, сложились по десятке и оплатили.

В таможне дежурный обратился ко мне:

– Вот вы уезжаете, а Черчис вернулся! (опять "Язва души"). Как раз в мое дежурство сдавал багаж, был веселый, что едет, а теперь даже не появляется.

Провожали нас ребята и на вокзал. Все время мы ощущали их теплое участие и помощь.

Справка на справку

Нам не рекомендовали ехать ни поездом через Чоп, ни самолетом через Киев (хотя оно и дешевле), имея в виду издевательства на границе. Московский аэродром Шереметьево более благоприятен, так как там всегда много иностранцев и представителей прессы. В целях экономии времени, а также и скудных средств, мы решили не ездить специально в Москву в посольство за получением валюты, а проделать это попутно. Для покупки прямого билета Одесса—Вена через Москву требовалось подтверждение Москвы на принятие брони. После трехкратных запросов нам удалось приобрести прямые билеты с вылетом из Одессы 10 августа, а из Москвы — 15-го. Срок виз истекал 17-го числа.

На 7 августа состояние наших дел было следующим:

6-го поздно вечером мы вернулись из таможни, где нас промучили целый день, уставшие, с истрепанными нервами, совершенно разбитые. Багаж был сдан, но не оплачен. Рано утром я отправился произвести эту операцию. Оказалось, что тариф повысился в 7 раз, вместо предполагаемых 30 рублей требовали более 200, и я просто не располагал нужной суммой.

На складе порта остался на хранении наш старенький телевизор, не принятый в багаж, поскольку мы упаковали новый. Нужно было его забрать, и если успеем, продать. В полуопустевшей квартире еще оставались кое-какие мелочи, но то, что можно было за них выручить, не хватило бы на уплату за багаж. Жена получила пенсию за 5 месяцев, и эти деньги уже были израсходованы, а за шестой, январь следующего года, перевод еще был в пути (из другого района города).

Были также получены и израсходованы деньги за ее облигации. Что касается моих облигаций, то вопрос осложнялся. По действующим правилам, недостаточно предъявить облигации. Требуются справки с мест работы о том, что действительно, в свое время из заработка была удержана соответствующая сумма по каждому займу в отдельности. Но и этого мало: сберкасса, куда я обращаюсь, запрашивает подтверждение от сберкассы того района, где находится

предприятие, выдавшее справку; она должна произвести проверку на месте. Только с получением этой "справки на справку", представленная мною справка признается действительно справкой. Хорошо, если все это на месте и ответ прибывает вовремя, тем более, что сберкасса, оформляющая эту операцию, не вступает ни в какие разговоры до предъявления визы и представления справки ОВИРа, специально для этой цели выдаваемой. В Управлении сберегательных касс мне прямо заявили, что вследствие этой волокиты (достойной стать темой для Театра Сатиры) некоторые, представившие справки, уезжали, не получив по ним ничего.

Я знал, что основная сумма имевшихся у меня облигаций относится к периоду моего пятилетнего пребывания в Игарке, отстоящей от Одессы на тысячи километров, и заблаговременно запросил нужные документы. Знакомые, помнившие меня с того времени, постарались мне в этом помочь. Однако требуемое сумели прислать лишь два предприятия, а третье выслало с п р а в к у , что архив за тот период сгорел. Краевой архив по моему запросу выслал с п р а в к у , подтверждающую факт пожара. Еще одно осложнение возникло с недалекой Раздельной, которая дала с п р а в к у об общей сумме заработка и общей сумме всех удержаний (заем плюс налоги), поскольку отдельный учет удержаний по займу не сохранился. Я предложил методом исчисления снять по действующей таблице обложения обязательные налоги, после чего оставалась сумма, падающая на заем в размере 10% заработка или месячного оклада за год, что соответствовало практике подписки и сумме имевшихся у меня облигаций. С этим расчетом согласились в вышестоящей организации, находившейся в Одессе, а также главный бухгалтер из Раздельной, оказавшийся там; он же составил справку по предложенному мною методу и подписал ее. Имея также письмо вышестоящей организации, я отправился за получением подписи начальника и печати. Я долго ждал этого начальника, а когда он появился, то нагло заявил, что это — комбинация, в которой он не желает участвовать, что я хочу обманным путем получить иностранную валюту и вывезти ее во враждебную страну, и никто не заставит его подписать эту "филькину грамоту", даже вышестоящая организация.

К прокурору было уже поздно, и я, потеряв целый день драгоценного времени и потратившись на дорогу, вернулся ни с чем.

В Областной сберегательной кассе у меня приняли только бесспорные документы, а что касается пожара и условного метода исчисления, то мне рекомендовали обратиться с этим, когда я буду в Москве, в Главное управление сберегательных касс, которое, возможно, оплатит это как исчисление.

На критическую дату 7 августа еще не было подтверждения из Игарки, и мне предложили получить лишь ту сумму, на которую есть подтверждение, но тогда закроют дело и остальные деньги пропадут. Специально на Игарку можно открыть новое дело, если ОВИР дает еще одну справку, ибо ссылаться на справку, находящуюся в закрытом деле, нельзя. В ОВИРе отказались выдать вторую справку и заявили, что со мною все закончено и с получением визы мое дело закрыто. В сберкассе мне предложили еще один вариант: не получать ничего, дела не закрывать до прибытия подтверждения из Игарки и оставить доверенность вместе с облигациями другому лицу, которое получит всю сумму полностью.

Наш жесткий цейтнот усугублялся еще и тем, что 7 августа выпадало на пятницу, последний рабочий день недели, в субботу и воскресенье никакие операции не производились. Последняя надежда оставалась на утро 10 августа, день нашего вылета. Следует добавить, что мы не располагали суммой, необходимой на обмен нормы валюты на семью из трех человек (280 рублей).

Холера

Эпидемия вспыхнула, когда мы собрались в дорогу и за многочисленными хлопотами не следили за ее развитием. Первый случай был зарегистрирован в гостинице аэропорта, и она была закрыта на карантин. Затем сообщили еще об отдельных случаях, число которых увеличивалось с каждым днем. Наконец стали поговаривать о закрытии всего города

на карантин. И если это произойдет до нашего выезда, то сам выезд может сорваться: визы будут просрочены, с ОВИРОм разговор вести трудно. Только в Вене можно считать, что ты выскочил, а пока ты в плену у врага, враг еще может передумать. Такие случаи бывали. Неужели после того, как мы прошли через все рогатки и препятствия, нам придется споткнуться на этом барьере? Действительно, бедному жентиться — ночь коротка.

7 августа нам сказали, что сегодня ночью город закрывают на каратнин: полтора месяца. Если мы не выедем сегодня, то застрянем в закрытом городе. Я отправился в Агентство Аэрофлота. Вокруг стояли толпы народа, в основном, курортники, которые намерены были покинуть свои здравницы досрочно. В Аэрофлоте заявили, что про карантин им ничего не известно, аэропорт работает, и они продают билеты на все рейсы, на все последующие числа.

— У вас билеты на 10-е? Полетите.

— А если объявят карантин?

— Тогда вернем деньги.

— Можно ли приблизить дату вылета? Хотя бы на сегодня?

— Пока нет, только в том случае, если кто-нибудь откажется.

Пришли близкие товарищи, которые принимали участие в наших сборах. Вызвали по телефону сестру с племянницей. Посоветовались и решили быстро собрать ручной багаж, отправиться на аэродром и попытаться вылететь сегодня. Нам одолжили немного денег, которых должно было в обрез хватить на получение валюты. Квитанцию на сданный багаж мы оставляем, тут ее оплатят и вышлют нам. Мы оставляем телевизор и другие мелкие вещи, выручка от продажи которых частично окупит отправку багажа. Облигации не берем с собой, и попытаемся получить по ним деньги в Москве и переведем сумму долга; если это не удастся, мы вышлем облигации с доверенностью на получение по ним денег, а также доверенность на получение январской пенсии жены. Копии документов заверим у нотариуса в Москве. Но основная задача — вырваться сегодня же любым способом и любой ценой.

Послали за жильцами, которые должны были вселиться в нашу квартиру, но считали, что это произойдет лишь через 3 дня. Они явились немедленно, принесли кое-какие свои вещи и приобрели у нас некоторые мелочи, что хоть немного пополнило наше денежное наличие. Мы обусловили заранее, что если нам не удастся уехать, мы вернемся домой переночевать.

Кто-то пошел искать машину, а я, сев на багажник мотоцикла одного из ребят, помчался с ним в аэропорт, захватив наши документы: авось, удастся показать их и добиться вылета сегодня. Эта задача оказалась почти невыполнимой: все помещения аэровокзала были забиты тысячами людей, а на привокзальной площади их было еще больше, с вещами, с детьми, с билетами и без них, и у всех одно желание — выехать сегодня.

Нельзя было пробиться ни в одну кассу, ни к одному окошку: всюду стояли хвосты и толпы народа. Простоять так можно было и до утра и некому было показать наши визы. Наконец, я нашел какого-то начальника, который мельком взглянул на наши визы и бросил на ходу:

— Ждите дополнительного рейса.

— Но поймите наше положение, устройте как-то, пусть не в Москву, куда-нибудь, а там уже доберемся.

— Не могу же я снять с самолета пассажира, у которого билет на сегодня. Я сказал вам — ждите дополнительного рейса.

— Когда?

— Будет объявлено. Тогда придете ко мне.

Удостоиться в этой толчее хоть такой беседы — это был максимум того, что можно было добиться. Но в этом не было ничего реального...

Прибыли остальные с нашими вещами и мать хозяина мотоцикла вызвалась поехать с ним на железнодорожный вокзал, чтобы, используя свои связи бывшей дежурной по вокзалу, попытаться достать нам три билета до Москвы. Эта отчаянная женщина пенсионного возраста, не побоявшаяся бешеной гонки на багажнике (я уже испытал на себе, как лихо едет ее сын), вернулась через час с тремя билетами без плацкарты, за которые она заплатила "без сдачи". Из нашей тощей кассы, где каждый рубль был на счету, ушла еще

некоторая сумма. Однако мы тут же прикинули, что в Москве нам должны вернуть стоимость перелета Одесса-Москва, которым мы не воспользовались.

Предприимчивый шофер какого-то крошечного автобуса перебросил нас ("по рубчику" вместо пяточка) из аэропорта на станцию железной дороги. Кроме трех отъезжающих было семь провожающих. Веселые проводы, которые намечали друзья, не состоялись. С семьей старшей сестры и сестры жены, у которых не было телефона, мы даже не попрощались. Всем, кто пришел проститься с нами на следующий день, новые жильцы нашей квартиры отвечали, что мы уже уехали.

До отхода поезда оставалось менее часа. Нас еле втиснули с вещами в переполненный до отказа вагон: не то что сидеть, стоять негде было. "Счастливицы", забравшиеся на верхние полки, обливались потом, на нижних полках сидело по 6 человек, люди заполняли проходы, коридоры, площадки. Билетов у нас никто не спрашивал. У многих их и не было. Видимо, перед закрытием города на карантин заинтересованы были отправить из него как можно больше людей. Я вспомнил тесноту в этапах. Там бывало комфортабельнее.

Поезд тронулся. Впереди Москва, а потом Израиль.

Уж как мы там спали и дремали полусидя, полустоя по очереди, нетрудно догадаться.

Нет ничего удивительного, что у одной девушки в такой духоте разболелась голова. Но кто-то проявил бдительность и сообщил, что в вагоне есть больная. В Киеве, где поезд стоял около часа, в наш вагон вошла специальная бригада медицинских работников. Их было человек пятнадцать и вид у них был устрашающий: грубые белые халаты, пропитанные специальным раствором, брезентовые сапоги, особые перчатки, натянутые поверх рукавов, глухие головные уборы, на лицах маски и защитные очки.

От самых дверей начали спрашивать:

— Где больная? Когда заболела? Что чувствует? Больше никто в вагоне не заболел?

Затем попросили всех мужчин выйти из вагона, раздели, осмотрели и удалились всей бригадой. Мать "больной" больше всего опасалась, что их снимут с поезда, но обошлось.

Если бы мы знали, что нас ждет дальше, то, наверно, постарались бы сойти в Киеве и пересесть в другой поезд. На станции Кролевец (на всю жизнь запомню это место) Сумской области наш поезд начал проделывать какие-то странные маневры. В конце концов мы оказались на запасном пути, и мигом весь состав облетел слух, что мы стали на карантин, как потом оказалось, на пять дней. Рухнула надежда на то, что в Москве в нашем распоряжении будет неделя и мы не только управимся с делами, но и кое-что увидим.

Вокруг нас закипела активная деятельность. Подали дополнительные вагоны, чтобы каждый имел спальное место, выдали постельные принадлежности, привезли вагон-ресторан и походные кухни и кормили горячей пищей, за одну ночь вырыли ямы и построили уборные, привезли вагон-душ, продавали газеты, открыли почтовое отделение и медпункт (в палатках), провели междугородный телефон (я говорил с Москвой и Одессой). Некоторые ретивые пассажиры вздумали было "смыться", пересесть на какой-нибудь другой поезд или автобус, в такси, но не тут-то было: повсюду на дорогах стояли контрольные пункты, и все беглецы были водворены обратно.

Стало известно, что эшелоны, вроде нашего, стоят на многих станциях до самой Москвы (а в Конотопе их даже три), задержаны поезда, выехавшие за несколько дней до нашего. Наш карантинный городок был в центре внимания начальства, не только районного, но и областного. Приехал даже представитель областного ОВИРа, говорил с группой иностранцев из нашего эшелона (им выделили отдельный вагон) и заверил, что в Москве всем продлят визы, просроченные из-за карантина. Утомленный всеми предшествующими хлопотами и бессонной ночью в тесном вагоне, я попросту проспал приезд этого нужного гостя, с которым поговорил бы и о наших визах.

Мы оказались в одном купе с девушкой, из-за которой был переполох в Киеве, с ее матерью и женихом. Оказалось, что это одесситы, оставшиеся после эвакуации в Грузии, а жених — грузинский еврей. За пять дней мы очень подружились, а когда они узнали, куда мы едем, то пришли в настоящий восторг. Оказывается, в Израиле живет их род-

ственница, которая была у них в гостях перед Шестидневной войной, но с тех пор они просто боятся вести переписку; однако очень просили передать ей личный привет. Адрес нетрудно запомнить: "кибуц Кфар-Гилади. Бэла Шер". Узнав, что не хватает немного денег для получения валюты, мать просто заклинала нас принять от чистого сердца небольшую сумму, которая для нее не имеет значения, но дать ей возможность хоть этим выразить свою солидарность. Жених признался, что он и сам непрочь был бы поехать туда, куда едем мы.

В Израиле мы опустили открытку по адресу, который хорошо запомнили, и через несколько дней к нам в ульпан явилась для получения приветов крепкая семидесятилетняя кибуцница с бутылкой вина, домашним печеньем и фруктами и попросила у нас для внуков сувениры – советские монеты. К празднику Ханука мы получили посылку такого же содержания и ханукальные свечи, а потом она привезла показать полученные из Тбилиси свадебные фотографии знакомой нам молодой пары.

Наша мысль работала в одном направлении – как использовать дни карантина, что можно проделать здесь, оставив для Москвы поменьше.

Я сделал "вылазку" в город, обойдя заградительный пост, обратился к директору районного банка и, предъявив ему наши визы, спросил, не можем ли мы, в связи с нахождением в карантине, обменять здесь советские деньги на валюту. Он обещал запросить область и потом передал мне по телефону, что такие операции можно произвести только в Киеве или в Москве.

Я решил не откладывать до Москвы, где времени будет в обрез, заверение копий документов и доверенностей и попросил привезти сюда нотариуса. Эта дама, опасаясь за здоровье своих детей, не имела особого желания посетить наш центр холерной инфекции, но ее привезли на машине, предоставили ей стол, и она развернула настоящую нотариальную контору. Она привезла с собой целую канцелярию – набор штампов, бланки для копий стандартных документов, копии нестандартных документов за неимением машинки, снимали от руки, клеила гербовые марки, давала мне расписываться в книге.

Только один документ она отказалась заверить — доверенность сестре на получение моих денег по облигациям. Вот наш разговор по этому поводу:

— Такая операция мне незнакома. Все облигации пролонгированы.

— Но выезжающим за границу деньги по ним выплачивают. В конце концов вы лишь заверяете мою подпись на доверенности, а не решаете, платить ли по ней.

— Нотариус не имеет права заверять незаконные документы. На это есть инструкции, и я ее не выполняю. Я должна запросить область.

— Позвоните по телефону прямо отсюда.

— Я запрошу письменно и потребую письменное основание.

— А сколько для этого потребуется времени? Меня уже здесь не будет.

— Это меня не касается.

— Правительство поступает очень гуманно, выплачивая уезжающим пенсии, погашая их облигации, а вы ведете себя совсем негуманно.

— А вы знаете, что вы не заслуживаете гуманного отношения.

— Это почему?

— Потому что вы покидаете Родину и тем изменяете ей.

— Вы украинка?

— Да, я украинка и горжусь этим!

— Как по-вашему, украинцы, покидающие Канаду и выезжающие на Украину, тоже изменяют своей Родине?

Длительная пауза.

— Я вам ясно сказала, что я должна запросить область.

В Главном управлении сберегательных касс мне сказали, что районный нотариус был не в курсе дела, московский нотариус заверит мне такую доверенность, и я могу выслать ее вместе с облигациями. Меня очень удивило сообщение от сестры, что она ничего не получила, ибо я, за неимением времени, поручил отправить все это ценным письмом из Москвы очень надежному товарищу. Оказалось, и здесь виновата была холера: весь период карантина в Одессу не принимали ценные письма. Укажу попутно, что в конце концов деньги по облигациям были получены, все оставлен-

ные мною долги оплачены и ребятам, оплатившим мой багаж, вернули по "десятке", которую они выложили.

На пятый день нам выдали справки о прохождении карантина, все помылись под душем, ни один человек не заболел, и наш поезд снова взял курс на Москву. Одна остановка недалеко от города показалась нам подозрительно длинной. Прошел слух, что будут проверять карантинные справки. В нашем распоряжении оставалось только полтора дня, и тут мы уже не стали испытывать судьбу: захватив вещи, вышли из поезда, сели на "электричку" и через 20 минут были в Москве.

В тот же день нам поставили визы в голландском посольстве, но в Аэрофлоте нас ждал сюрприз:

— Одесса разбронировала все заказанные места.

— Но вот наши билеты.

— Мы вернем вам деньги. Мы не могли ожидать, что вы приедете пешком.

— Но у нас истекает срок визы.

— Тогда летите завтра. Есть транзитный рейс через Вену.

— Завтра не можем. У нас нет австрийской визы, мы не успели получить валюту.

Нас записали первыми на очередь на места, которые будут разбронированы, и на следующий день обменяли билеты. Мы даже "разбогатели", получив разницу за неиспользованный перелет Одесса-Москва. Теперь у нас были деньги на такси и на приобретение кое-каких мелочей.

В Вене, в аэропорту, двое медработников многозначительно переглянулись между собой, услышав, что мы из Одессы. На следующий день, когда мы вернулись из поездки по городу в Шенау, в нашу комнату вошел комендант и многозначительно сказал:

— О вас уже осведомлялись представители Министерства здравоохранения, которые приезжали сюда в ваше отсутствие. Они чуть в обморок не упали, узнав, что вы в городе и распространяете там одесскую холеру. Мы не заинтересованы портить отношения с местными властями и должны выполнить их указание — изолировать вас. Завтра все поедут в город на экскурсию, а вы останетесь. Вы не должны покидать свою комнату и будете пользоваться отдельной уборной, где дверная ручка обернута марлей и пропитана

дезинфекцией так же, как и ручка вашей двери. Вы не будете выходить в общую столовую, а получать пищу в комнату, причем вся посуда будет в ней оставаться, и ее продезинфицируют после вашего отъезда. Приносить пищу будет вам студент-медик, израильтянин. Кроме него вы ни с кем не будете общаться, он поведет вас смотреть израильские фильмы, и вы сядете с ним в стороне от других...

— Но в Израиль вы нас отправите?

— Да, и как можно скорее, завтра же, ко всеобщему и вашему удовольствию. Но вы поедете на аэродром в отдельной машине, а не в общем автобусе.

В Мисрад Клита в Хайфе начальник сказал нам, что и здесь нами интересуется Министерство здравоохранения. Когда мы вышли из его кабинета, в приемной нас уже дожидалась медсестра; мы предъявили наши карантинные справки из Кролевца, с которыми мы долго не расставались, и это ее успокоило.

На первых же уроках в ульпане мы читали в газете "Омер" с "некудотами" про случаи холеры, зарегистрированные в Израиле. Свидетель Бог — не мы ее сюда занесли. И не мы виноваты, что она гналась за нами по пятам и сопровождала наш Исход.

Раньше, чем попасть в Рай, нам пришлось пройти через основательное Чистилище.

Прощай, немытая Россия...

В Москве в нашем распоряжении было всего полтора дня, а успеть нужно было многое. Жена отдыхала после сборов, дороги и карантина, а мы с дочкой взяли на себя труд уладить наши дела. Мы побывали в Голландском и Австрийском посольствах, в агентстве Аэрофлота, в иностранном отделе Госбанка, в Главном управлении сберегательных касс, попрощались кое с кем из друзей и родных.

Это было прощание с Россией. Но для полноты этого прощания я хотел еще кое-что показать своей дочери. Мы очутились на Цветном бульваре, и я показал ей тот дом, куда я явился после побега из первой ссылки. Отсюда меня

направили в московский гдуд. Мы даже позвонили в ту квартиру. Эти люди давно там не живут. С Цветного бульвара мы вышли на Трубную улицу. Еще сохранилась стеклянная дверь, за которой когда-то была маленькая слесарная мастерская, а за ней небольшая комнатка, где спал ее хозяин. В ней, спустя год после явки на Цветной бульвар, меня арестовали на заседании Штаба Московского снифа. Затем мы проехали несколько остановок трамваем и сошли на Лубянской площади. Сюда меня отвезли с Трубной и поместили в одну из камер знаменитой Внутренней тюрьмы. "Лубянка 2" — символ режима не менее, чем Кремль.

— Смотри, дочка, и запоминай!

И вот мы на Шереметьевском аэродроме, последний звонок кому-то из автомата. Мы прощаемся с Россией. Обхождение, как нам и говорили, довольно корректное. Таможенник, заметив у жены и дочери колечки, не записанные в декларацию, не придрался, а лишь попросил записать. Но вот он нашел в чемодане небольшую коробочку, похожую на футляр для драгоценностей. Раскрыл. В ней медаль жены "За доблестный труд в Отечественной войне" с бронзовым барельефом Сталина.

— А это вывозить нельзя, — вежливо сказала таможенник.

— В таком случае оставьте это себе, — ответил я ему.

Теперь мы действительно попрощались с Россией, оставив ей барельеф того, кто долго был ее символом.

На венском аэродроме я рассказал какой-то анекдот. Жена по привычке одернула меня, посмотрев вокруг.

— Не бойтесь, — сказал ей кто-то, — здесь — Вена. С Россией вы уже попрощались.

Один товарищ, выезжая в Израиль незадолго до нас, сказал:

— Пока я еще ничему не верю. Вот, когда прибуду в Вену и ощупаю себя, что это действительно я, тогда поверю, что попрощался с Россией.

Ура, Эрец-Исраэль!

И вот мы в Вене, но уже на израильской территории, на борту самолета "Эль-Аль". Очаровательные стюардессы подают нам еду и напитки. Наши израильские девушки в кокетливых "пилотках", коротеньких юбочках и колготках цвета загара.

– Ты уже служила в армии? – спрашиваю я одну.

– Бетах, – слышу я новое для себя слово.

– Внезапно под нами возникают бриллиантовые россыпи огней.

– Тель-Авив, – кричат нам стюардессы, – это огни Тель-Авива!

– Ура! Эрец-Исруль! Ура! Эсраэль! – слышу я за собой.

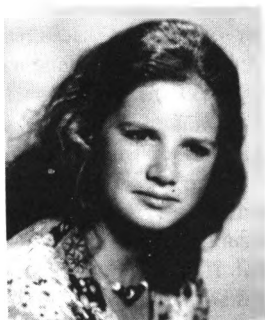
Это бывший габай ленинградской синагоги, Гедалья Печерский. В глазах у него слезы. На каком это языке? По-русски? На идиш? Лошон-койдеш? Иврит? На каком бы ни было, но по-еврейски. Это крик еврейской души, которая столько терпела и дождалась этого момента.

Огни заглядывают в иллюминаторы правого борта, потом левого. Это самолет делает круг над аэродромом. Пошел на посадку. И вот, после плавного полета, мы ощущаем толчки. Это толчки родной земли, как биение ее пульса.

Самолет остановился. Мы отстегиваем пояса и направляемся к выходу, Нога ощущает трап, потом твердый асфальт.

Мы на своей земле.

ХАНА МЕЕРШТЕЙН



Автор рассказа родилась в Риге. Получила советское воспитание, была комсомолкой. Вначале сионистские настроения в кругу знакомых и друзей раздражали ее, но усиление антисемитизма и влияние друзей сделали свое. Она рассказывает о воздействии на нее песен Геулы Гил, Ленинградского процесса, книги "Экзодус", которая распространялась нелегально. Важную роль в ее сионистском воспитании сыграло посещение места массового уничтожения евреев Риги — Румбуле. Просто и воодушевленно

она рассказывает о своем внезапном переходе от ассимиляции к еврейскому национальному самосознанию и сионизму. (Выписка из протокола заседания жюри.)

Девиз: *Ола хадаша*

Помню, что до 1970 года мои родители, проверив и закрыв предварительно двери и дымоход, усаживались в столовой за большой обеденный стол и заводили разговор об Израиле; а я с пеной у рта кричала им, что они предатели и изменники, и, что, если они даже и решатся на этот шаг, я выпрыгну в окно вагона, буду жить в детдоме в страшных условиях, но в жизни не поеду в Израиль. Я представлялась себе героиней, сбежавшей от родителей-предателей, которые променяли советскую родину на капиталистический рай. Сколько со мной ни говорили, сколько ни объясняли мне, я стояла на своем и, будучи девочкой 15-ти лет, и, соответственно, комсомолкой, презирала и ненавидела всех тех евреев, кто стремится в Израиль. Нет я не была той, кто,

гордо ударяя в грудь, заявлял своим русским "братьям": "Я еврейка лишь по документам!" Напротив, я всегда считала, что мы, советские евреи, должны доказать всем, — кто мы, чего мы стоим, добиться во что бы то ни стало уважения с их стороны, признания в нас полноценных граждан Страны Советов. Тех же, кто уезжал, помимо предателей, я считала также и трусами, убегающими от борьбы за свои права.

Антисемитизмом, что и говорить, был густо насыщен воздух, которым я дышала. Мою подругу по классу один из сыновей Ивановых мог по десять раз на день обзывать жидовкой, а она заливалась слезами. "Жидовка" встречалась мне на каждом углу и за каждым поворотом. Самой страшной обидой для меня было то, что учительница по пению как-то послала меня не куда-то, а в Израиль. Вот и ревела же я. Меня, комсомолку, преданную так социалистической отчизне, посылают в Израиль! Про себя я думала: "Ничего, пройдет время, и ты попросишь у меня прощения". Это не была детская наивность, это была убежденность в своей правоте, убежденность в том, что нужно бороться за свое признание.

Летом 1970 года, окончив 8-летнюю школу, я, как всегда, отдыхала на взморье. Недалеко от нас жила подруга моей старшей сестры, с которой мы и проводили время. У нее был магнитофон, и, когда шел дождь, что случалось весьма часто прибалтийским летом, мы слушали музыку. Помню как-то мы слушали песню, которая поразила меня своей силой, страстью, я не понимала слов, но улавливала в интонации певицы призыв к борьбе, призыв гордый, решительный. Это пела Геула Гил. Где достала Бетька эту пленку, даже не знаю. Геула Гил была частицей Израиля, и, лишь только почувствовав в себе уважение к этой частице, я моментально изгнала его из души. Я боролась с собой, и вместе с тем, когда приходила к Бетьке, всегда просила поставить именно эту пленку. И она ставила, ставила на полную громкость, при этом на лице ее явно было написано непонятное мне еще чувство удовлетворения (за стеной жили русские). Видно было, что она делает это назло. Но, пересилив себя, я просила выключить магнитофон.

А потом был Ленинградский процесс. Не знаю, откуда, но Бетька знала все подробности. Помню, как всегда, провожая солнце за горизонт, мы шли по пляжу вдоль берега моря. Волны лениво лизали песок, и в синем предвечернем небе, отливая алым светом заката, плыли облака. Бетька говорила. Я слушала, ловя каждое слово, не вмешивалась. Пока меня захватывала не идея этих людей, а просто удивительное приключение. И тогда я впервые забыла назвать их трусами, убегающими от борьбы.

Пришла осень, и с 1 сентября началась моя новая жизнь, ибо учиться я стала в новой школе. Школа эта славилась своими евреями на весь город, но пошла я туда не из-за них, а оттого, что она была рядом с домом. С первого же дня я отметила про себя, что в этих евреях слишком много еврейского и что они слишком уж свободно себя держат. И я намеревалась им показать, где раки зимуют. Начала я с того, что, ударив в грудь кулаком, сказала: "А я вот, в комсомол самая первая вступила в нашем классе, и не по наставлениям учителей, а по собственным убеждениям". В их глазах я прочла усмешку, но держалась я гордо с твердым намерением повлиять на них. От еврейских ребят нашего класса да и параллельных классов тоже я часто слышала слово "Израиль". У кого-то кто-то собирался ехать, кто-то уже уехал. От этого нельзя было уйти, этого нельзя было не слышать, как я ни старалась. В то время шел Ленинградский процесс. Меня удивило и ошеломило то, что одна девочка из нашего класса, как оказалось, знала почти всех его участников лично. И вот эти переживания и вместе с тем гордость за них постепенно начали занимать и мои мысли. Белка перевернула всю мою жизнь, она точными и сильными ударами рушила те воздушные замки, которые я строила, берегла, лелеяла. Мы начали с нею встречаться после уроков. Помню, как сейчас: на улице холодно, неуютно, темно. Белка рассказывает о теплой, далекой, непонятной стране, о сильных и смелых людях, которых я никогда не знала и о существовании которых прежде не подозревала. Откуда она знала все это, не знаю. Я слушала, часто не соглашаясь с ней, но всегда внимательно вслушивалась в ее слова. Мы могли гулять час, два, а то и три, она говорила, я слушала. Она ничего от меня не требовала, она

ни в чем не убеждала и ни на чем не настаивала, а просто рассказывала: и о людях, которые хотели украсть самолет, и о людях, которые боролись в гетто, и о людях, которые жили в Израиле.

Постепенно Белка стала для меня человеком, перед которым я начала преклоняться, человеком, твердо знающим свое положение в жизни, свое место, свои стремления, человеком с четко сложившимися взглядами, буквально фанатически преданным своей мечте, своей идее. Может быть, вначале меня привлекла в ней даже та вуаль таинственности и риска, которая окружала ее. Она отличалась от всех евреев, которых я видела раньше, она ничего не боялась, она умела делать то, что требовало мгновенья.

После долгих прогулок по темным улочкам Риги и Белкиных рассказов я возвращалась домой и, лежа в постели с открытыми глазами, вспоминала, что она говорила. Но голова моя была все равно полна возражений. Я считала, что никто и никогда не может и не сможет на меня повлиять. Это я предана до конца своей идее и, может быть, чувствуя, что где-то что-то во мне уже порвалось, уже не так прочно, я все равно бубнила себе под нос, что все это вранье, и правда на моей стороне, что все они трусы и бегут от борьбы, но, когда я твердила это, волей-неволей улавливала нотки фальши в своем собственном голосе.

Меня потрясло сообщение о том, что двоих приговорили к смертной казни. И тогда я подумала: "Нет, я не имею права называть их трусами, раз они пошли и на смерть ради своей идеи, нет, это они революционеры, а не я!"

Помню новый год, 1971, когда били куранты, лилось шампанское и Белка, встав из-за стола, сказала: "Выпьем за наших лучших, за тех, кому под давлением справедливого человечества, отменили смерть!" И тогда впервые в жизни душу мою посетило чувство неповторимой гордости, чувство, которое потом все чаще и чаще возвращалось ко мне.

Год 1971 был для меня годом окончательного перелома. Нет, я не поддавалась, как любят называть в советской прессе, сионистской пропаганде, я просто прозрела, и душа моя стала пустой. Я вдруг поняла, что все мои мечты и стремления — ничто, они глупы и никчемны. Передо мной в лице

Белки и ее товарищей предстали необыкновенные люди, до меня дошло, что все это время я жила в мире иллюзий, а не они, это я занималась чепухой. Да, Белка оторвала меня от земли, на которой я прежде, казалось, так твердо стояла. Она подняла меня высоко-высоко над миром, и я увидела его таким, каков он есть. Я поняла – что такое родина и где она, я поняла, кому и что надо доказывать, я поняла, кто трус и кто герой, и кто настоящий еврей. Я помню, мы шли по улице и вдруг меня осенило, что в один прекрасный день все это превратится в далекое прошлое – шпили церковей, мощные улочки, петухи на башнях, троллейбусы. Мне вдруг стало холодно и страшно. И я сказала Белке: "Нет, я не могу. Я слишком люблю все это, чтобы бросить и уехать! А ты не любишь, и тебе легче". Белка лишь промолчала. Я пришла домой и открыла мой дневник. Вот уже несколько дней я веду на его страницах спор сама с собой, и в тот день, взяв ручку, я написала следующее: "Сегодня я решила: ДА!" Обвела это слово красной пастой и захлопнула тетрадь. Только одно слово, а каково оно!

Я восприняла это не как веление души, нет, я восприняла это как долг, который я должна исполнить, несмотря ни на что. Я должна ехать в Израиль, я должна строить Мою страну, я должна жить среди моего народа. И, если раньше я последнюю фразу назвала бы национализмом, то теперь я поняла, что в данном случае данный национализм позволен. Почему я восприняла это как долг? Нет, никто не стоял над моей душой и ничего от меня не требовал, я просто увидела свое место, свое место в жизни. Но почему именно как долг, а не как желание души, как пламенное стремление? Нет, я знала, что таким чувством владеют лишь такие, как Белка. Я знала, что я, по сравнению с ними, маленький серенький человечиска, и если это чувство долга возникло у меня не без участия Беллы, то, я считала, что чувство невозможности иного пути должно возникнуть у меня само.

Этот период весны 1971 года был для меня периодом духовного опустошения. Я перечеркнула и уничтожила в себе все то, чем жила раньше, но ничего не дала взамен. Чувство не появлялось. Весной начинались, как обычно, уборка, посадка цветов и прочие работы на братском еврейском кладбище Румбула – месте, где расстреляно за

два—три дня все Рижское гетто, в том числе и родители моих отца и матери.

До 1971 года последний раз я ездила в Румбуле с родителями, когда мне было восемь лет. Помню, там не было еще ни асфальта, ни памятников, работа только начиналась. Кругом лишь желтый песок, да то тут, то там валялись какие-то серые камушки. Помню, наш румбульский садовник скрутил мне кулек из бумаги — такой, как обычно скручивает продавец в конфетном магазине, и велел собирать в него эти серые камушки. Не помню, сколько таких кульков я собрала, лишь помню, что оказались они человеческими костями. Потрясенная, я больше не ездила туда.

И вот, весной 1971 года Белка предложила мне съездить в Румбуле в одно из воскресений. Меня тянуло к таким людям, как она, и мысль о том, что я могу делать хоть маленькую долю их работы, взволновала мою душу, и я поехала. Они приняли меня как свою — без косых взглядов, без лишних вопросов. Я почувствовала, что их простота в обращении, жизнерадостность и доброжелательство сразу привязали меня к ним. Эта группа, работающая в Румбуле почти каждое воскресенье, казалось, была из другого мира — такие ее составляли необыкновенные люди. Да, это была лучшая часть еврейской молодежи, и я была счастлива работать с ними. Я, как впрочем, и все остальные, воспринимала посадку цветов, кустов, собирание мусора, полку сорняков и прочее, чем мы там занимались, как великое политическое мероприятие. Мною всегда овладевало чувство солидарности что ли, ощущение нашей силы и единства, когда я работала с ними. В любую погоду, в холод и в дождь, в жару, когда все валялись на пляже, мы натирали на ладонях мозоли о самодельную метлу и вгоняли под ногти землю, сажая растения. Но я не могла не приходить туда, — знала, что, не приди я сегодня, будет не доставать пары рук. Это так здорово, когда в тебе по-настоящему нуждаются! И я не жалела, что не отдыхаю в воскресенье, наоборот, я была счастлива.

В Румбуле во время нашей работы часто появлялись неизвестные нам люди, и мы, конечно, называли их "шиками". Как-то раз один из них спросил нас: "Вас заставляет

кто-нибудь здесь работать?” После нашего ответа ему уже больше ничего не захотелось спрашивать.

Румбуле для меня была, пожалуй, не столько местом захоронения, сколько каким-то кусочком еврейского государства, где я была своей, да, именно, своей, а не чужой. Ведь как часто, разговаривая с русскими, я чувствовала, что я для них чужая, даже если они мне улыбались и говорили милые слова. С тех пор, как я вообще встретила Белку, я бросила всех своих русских друзей. Не оттого, что они мне были неприятны, нет, оттого, что во мне появилось чувство, будто я что-то от них скрываю, неискренна с ними, — это и оттолкнуло меня от них. Я поняла, что доказывать что-то им — это пустое и ненужное дело, даже глупое. Зачем мне добиваться уважения с их стороны? Для того, чтобы слово “жидовка” заменилось на слово “евреечка”? Нет, евреи для них все равно неполноценные люди. К чему все это, если есть страна, пусть далекая и пока чужая, но страна, где живет мой народ, и именно эта страна моя — а не какая-либо другая.

Меня тянуло изучать иврит. Белка же знала его в совершенстве. Белка для меня вообще была идеалом. В летнюю жару, когда все бегут на пляж, она могла, закрывшись в комнате и обложившись книгами, изучать историю еврейского народа и Государства Израиль, изучать иврит. Да, мне, конечно, необыкновенно повезло в жизни, что я встретила такого человека. По моей просьбе она начала учить меня моему родному языку. Вначале мне было очень и очень интересно, и я ушла в это дело с головой. Особое наслаждение доставляло вытаскивать в набитой электричке тетрадь с ивритом и учить слова, а также изредка поглядывать на лица окружающих. Русские и латыши обычно с любопытством разглядывали непонятные иероглифы, а вот евреи стремились отвести взгляд; особый испуг был написан на лицах евреев из России, которые приезжали к нам летом на взморье в больших количествах. Все это мне очень нравилось, но до поры до времени. К сожалению, я не владела тем, я бы сказала, титаническим стремлением к знаниям и усидчивостью, которыми обладала Белка. И, ненавидя себя, я в конце концов это дело забросила. Может,

это случилось и оттого, что, хоть я и сказала "да", а до Израиля было еще бесконечно далеко.

Осенью уехала Белкина старшая сестра, а зимой подали документы на выезд и они. Я, конечно, желала, чтобы Белке разрешили, и вместе с тем, так не хотелось с ней расставаться. Мне казалось, что, простившись с Белкой, я не смогу удержаться на выбранном пути. Нет, конечно, я уже не могла да и не хотела после всего возвращаться обратно — туда, где и в чем жила всю жизнь, и, вместе с тем, я не могла дотянуться до таких, как Белка. Среди них я чувствовала себя глупой пустышкой и, несмотря на то, что они прекрасно относились ко мне, я все равно считала себя недостойной их.

В марте 1972 года сбылась Белкина мечта — она уехала в Израиль. Когда она получила разрешение, ее настроение и вся обстановка сборов настолько передались мне, настолько захватили меня, что на какое-то мгновение мной самой овладело чувство, будто и я еду. Это было почти то же, как, когда сидишь в стоящем вагоне и в окно видишь другой — трогаящийся вагон, то кажется, что это ты трогаешься с места. Когда поезд ее уехал, я вдруг почувствовала, что осталась без моего руководителя. Но, нет, в душе не было растерянности, которая, как я предполагала раньше, появится. Наоборот, я почувствовала себя необыкновенно самостоятельной, меня вдруг осенило, что Белки нет и я, по мере возможности, должна заменить ее, что я теперь сама должна решать все, ибо ее уже рядом нет. Я поняла, что Белка как раз вовремя оставила меня, казалось, я слышала ее голос "Я сделала все, что было в моих силах, теперь пора тебе самой взяться за себя, самой выбрать — что хорошо и что плохо, что надо и чего не надо, пора становиться самостоятельной". В день ее отъезда я записала в дневнике: "Я благодарна Белке на всю жизнь".

Я продолжала ездить в Румбуле, и Белкины друзья стали мне еще ближе. Через них я достала, наверное, самую необыкновенную книгу — "Эксокус".

Когда я отрывалась от книги и смотрела на мир вокруг себя, мне казалось, что все кругом живет, и пусть живет, но я знаю тайну другой жизни. В те мгновенья в меня вселялось что-то от тех, о ком я читала. Это "что-то" росло и

становилось бесконечно огромным; меня буквально начинала бить лихорадка, я чувствовала себя выше тех, кто копошится вокруг, в эти минуты я казалась себе такой, какой хотела бы быть, книга делала меня сильной, я опускала глаза и продолжала читать. Я радовалась и переживала все происходившее вместе с героями так, как никогда раньше, читая другие книги. Мне нравилось и то, что она напечатана на машинке, что она переведена не ахти каким литературно-красивым языком, и что ее переводили явно по частям, разные люди. Я читала и думала, какая я счастливая, что могу прочесть эту книгу, живя среди тех, кто нас ненавидит, что люди, о которых рассказывает эта книга — люди моего народа, я гордилась ими.

А потом, потом было вот что: могучее, как весенняя полноводная река, чувство захлестнуло мою душу. Оно пришло вдруг, или, нет, я просто внезапно его открыла в себе, и в дневнике появилась запись: "Свершилось то, что, как казалось раньше, никогда не свершится. "Оно" зажглось во мне, зажглось само, благодаря моему желанию, значит, я все-таки что-то могу, а главное — это поверить в себя, и, когда есть вера, ты можешь перевернуть горы, ого-го, как можешь! Я счастлива". Я возвратилась к тетради иврита, по которой мы занимались с Белкой. Кстати, письма от Белки доходили очень плохо, к осени я совсем потеряла с ней прямую связь, и это еще больше усилило мое желание соединиться с ней. Теперь уже не мои родители давили на меня, а я на них, я требовала подачи документов на отъезд в Израиль. Я больше не могла себе представить дальнейшую жизнь здесь, у меня все стало временным, я уже жила на чемоданах, которых, впрочем, еще и не было.

Помню, меня бесили разговоры, примерно такого содержания: "А мы вчера получили письмо от Хаи, она пишет, что очень тоскует, что ей не нравится, что нужно много работать, трудно, все добывается силой". Я кричала им в лицо, что меня все это не волнует, что я все это знаю и еду не за молочными реками и кисельными берегами, не оттого, что там хорошо, а оттого, что мне здесь плохо, что здесь я не могу и не хочу жить, и пусть там в тысячу раз хуже — моя родина там, мой народ там, и я тоже должна и хочу быть

там! "Ты маленькая глупая девочка", — говорили мне и отворачивались. Но меня это не волновало, оттого что родители, слава богу, уже с незапамятных времен были "за". Нужно было только подняться. Я ждала этого, собрав в кулак всю свою нетерпимость.

Последние дни ноября, дни памяти павших евреев Латвии, почему-то всегда выдавались на редкость холодными, но, несмотря на это, сотни евреев приезжали в Румбуле, где в последнее воскресенье ноября устраивался официальный митинг. Накануне этого мы всегда особенно тщательно убирали там, красили раму ящика для свечей, а в день митинга стремились прибыть пораньше, впрочем, пораньше прибывали все. Уже с самого утра я чувствовала в глубине души некое возбуждение. Автобус набивался битком, и все пассажиры, за небольшим исключением, были евреи. В автобусе помещались далеко не все желающие, и кто-то с нижней ступеньки обычно кричал с типично еврейским акцентом: "Товарищи, нельзя ли продвинуться! Ну, ну, еще полсантиметра." Сжатые настолько, что нельзя было вздохнуть, под веселые еврейские шуточки мы старались продвинуться, и 40 минут ехали, как селедки в бочке, но было так здорово сознавать, что все эти люди — свои. Автобус мчался именно той дорогой, которой гнали евреев на смерть. И всегда в эти мгновения я была с ними, теми, кто прошел здесь под крики фашистов, удары прикладов, в холодном мокром снегу, прошел, чтобы никогда не вернуться.

Солнце вставало
Над миром ужасным,
Снег падал кровавый,
И было страшно.

Эти слова как-то сами лезли в голову, так хотелось повернуть колесо времени и спасти этих людей, но...

И не знала я
Своих дедушки, бабушки,
Превратила земля
Их в серые камушки.

Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, как много сделала Румбуле, чтобы перевернуть мой взгляд на жизнь.

Митинг начинался всегда с официальной речи. Обычно выходил какой-то чиновник и, уткнувшись в бумажку, читал монотонным голосом что-то о геройстве русского народа в войне с Германией, о братстве трудящихся и об Израиле-агрессоре, а потом хор латышских пенсионеров, хрипя голосами, исполнял какую-нибудь песенку. Меня всегда это бесило так, что хотелось драться, впрочем, не одной мне. А в последний раз, когда я была на ноябрьском митинге в 1972 году, сделали еще остроумнее. Да, было ужасно холодно, и, видимо, представитель министерства решил, что ради евреев не обязательно мерзнуть. Он сидел в автобусе, а мы, задрав головы, точно бараны, слушали громкоговоритель, который заблаговременно был прицеплен к сосне. Голос читавшего как всегда был бесцветно-холодным, и мы четко слышали, как он перелистывает страницы. Их шорох, казалось, был подобен пощечинам, которые мы принимали, спокойно подставляя лица. В это время кулаки сжимались до крови. Стоя среди толпы и переводя взгляд с одного еврея на другого, я наблюдала за выражением их лиц и видела, что каждый из них чувствует то же, что и я. И, когда чтец произнес что-то о памяти павших, никто не всхлипнул, а по-моему, наоборот, даже некоторые усмехнулись — так это было фальшиво произнесено. А потом, как всегда, был неофициальный митинг. Мы становились тесным кольцом вокруг памятника, и в образовавшееся в центре пространство выходили поочередно то молодые, то пожилые. Они читали стихи о евреях, они рассказывали о геройстве, о силе, о стремлении к свободе. И тогда отступал мороз, и становилось тепло, и чувство гордости и единства наполняло души. Мы становились одним целым, имя чему — еврейство. Это чувство невозможно описать, но счастлив тот, кто его испытал! И кругом люди в серых шинелях, их было всегда куда больше, чем нас, но мы не боялись их, наоборот, их присутствие вселяло в нас еще больше силы и уверенности. А в маленьком пространстве перед памятником стояли самые лучшие из нас и, несмотря ни на что, бросали вперед смелые и гордые слова, и, да, лица преображались!

22 февраля 1973 года мы, наконец, решились. С этого дня у меня началась новая жизнь. Работая в цехе, я боялась, что когда узнают, зачем я прошу характеристику, простые

русские бабы убьют меня. Они не убили меня, они завидовали мне, завидовали, что я поеду в другую страну, где у меня будет много денег. И оттого, что они не могли понять истинной причины моего отъезда, я еще больше сознавала, что не с ними я должна жить и что бежать нужно отсюда.

А в мае, когда цветут яблони и душистый аромат издают молодые травы, пришла радость в наш дом — мы получили разрешение. В тот же день я оформила уход из института и поехала в Калининград за академической справкой. В Риге какие-то знакомые дали мне адрес в Калининграде, где я и остановилась. Это была еврейская, но несколько ассимилировавшаяся семья, которую я никогда раньше не знала. Вначале я хотела скрыть от них, что еду в Израиль, но решила все-таки, что, если и раскрыть тайну, они меня не сразу выкинут, сказала. Реакция была потрясающей: лица побелели, а нижняя челюсть долго не могла соединиться с верхней. А потом что началось! Казалось, они оправдываются передо мной, они только и говорили, что о евреях, о тенденциях в еврействе. Мне казалось, что я подняла в их душе что-то древнее, лежавшее на дне и давно забытое. Они показывали меня своим знакомым как диковинку. Честно говоря, я даже не ожидала, что в этом городе вообще есть евреи. Дочка, девочка моих лет, упрасивала меня весь вечер: "Мы будем говорить всю ночь. Ты мне все расскажешь. Здесь никто ничего не знает". Легко сказать "все расскажешь", когда вывод, к которому я пришла, столько мучил меня и волновал. Но я почувствовала в себе неповторимую обязанность рассказать хоть что-то. Мы просидели всю ночь. Когда я говорила, во мне все кипело и клочотало. Я не умела говорить так, как говорила мне когда-то Белка. Я ненавидела себя за это. Это было так трудно — найти нужные слова, чтобы рассказать о том, как я пришла к мысли ехать в Израиль. А через три дня, когда я получила, наконец, эту несчастную справку, и мы прощались, Ленка с пеной у рта говорила мне: "Как здорово, что я узнала тебя. Как здорово все это, я тоже хочу в Израиль!" "Это не решается так скоро, — сказала я, — ты еще много будешь думать над этим, но хорошо то, что ты, все-таки, об этом уже думаешь".

За окном вагона в темноте ночи мелькали огни станций, а фраза из моей записной книжки не давала мне заснуть. "Лишь владея огнем в собственной душе, можно зажечь чужую душу". Так сказал писатель Л. Леонов. Я понимала, что теперь я, конечно, не так, как когда-то Белка, но все-таки, перевернула чужую жизнь, и может быть даже не подняла над землей, но хотя бы натолкнула на мысль, что, вообще, следовало бы встать и осмотреться кругом. Тогда же в поезде, лежа на второй полке плацкартного вагона, я записала следующее:

Хабайта, хабайта,
Нас время зовет,
Хабайта, хабайта,
И только вперед!
Но, кто испугался
Большого пути,
С дороги, не медля,
Сойди!
На эту тропу
Ступить может тот,
Кто сердце заветной
Мечте отдает,
Но к финишу только
Лишь те придут,
В чьем сердце стучит:
"Савланут, савланут!"

Когда я приехала домой, сборы шли уже полным ходом. И опять-таки солидарность евреев, их отношение к уезжающим сказывались всюду. Нам помогали все – и знакомые, и незнакомые. Стоило еврею узнать, что мы уезжаем, он становился нашим другом.

А потом был и последний день. Десять тысяч раз до этого я думала о нем, о том, что буду чувствовать и как буду прощаться. Но все казалось, как во сне, или нет, скорее, как в сумасшедшем доме, а, когда я, наконец, пришла в себя, все уже было в далеком-далеком прошлом. И впереди – дорога в страну моей мечты, дорога в Мою страну! И я была так счастлива осознать это. И вот уже самолет "Эл-Ал". Я

лечу в Израиль! Я чувствовала себя астронавтом, спустя 2000 лет, возвращающимся на родину. И какой бы она ни была – она МОЯ РОДИНА, и все ее недостатки – это и мои недостатки, и все ее победы – это и мои победы! Я должна радоваться и печалиться так же, как те, кто 2000 лет моего отсутствия жил и творил на МОЕЙ ЗЕМЛЕ!

מחלקת הספרים
מס' 422
מחלקת הספרים
מס' 422
מחלקת הספרים
מס' 422
.....

422

ПРИМЕЧАНИЯ

(Некоторые понятия на иврите приводятся авторами
в ашкеназском произношении)

Арон-койдеш	· ковчег, в котором хранятся свитки Торы в синагоге.
Габай, габе (множ. ч. – габаим)	· староста синагоги.
Галут (букв. изгнание)	· диаспора, евреи в рассеянии.
Гдуд (букв. полк)	· крупный отряд в молодежной организации.
Гейрим	· принявшие иудейское вероисповедание.
Гехалуц (Хехалуц)	· молодежное сионистское движение, основателем которого в России был И.Трумфельдор (1880-1920). Члены Хехалуца готовились к переселению и освоению земель в Эрец-Исраэль путем коллективного труда, основанного на взаимопомощи, справедливости и отсутствии эксплуатации человека человеком.
Кол Нидрей	· молитва, открывающая богослужение в канун Йом-Киппур.
Каббала	· мистическое учение в средневековом иудаизме.
Лулав	· пальмовая ветвь; используется вместе с этрогом (см. ниже) при соблюдении обряда в праздник Суккот.
Лошон-койдеш (букв. святой язык)	· иврит.
Митнагдим	· противники движения Хасидизма (см. ниже) в 18–19 вв.
Маскилим	· просвещенцы, приверженцы движения Гаскалы (18–19 вв.), выступавшие за приобщение евреев к европейской культуре.
"Мегилат Эстер" (букв. "Свиток Эсфири")	· читают в синагоге в праздник Пурим.
Мишмар	· страж.

- “Омер”
- газета в Израиле в помощь изучающим иврит.
- Пардес
- цитрусовая плантация.
- Плуга
- отряд.
- Пинат-охель (букв. уголок для еды)
- часть салона, предназначенная для столовой.
- Савланут (букв. терпение)
- здесь: иметь терпение.
- Сейдер
- торжественная трапеза в канун праздника Песах.
- Симхат-Тора
- смысл праздника Симхат-Тора заключается в том, что в этот день (последний – восьмой – день праздника Суккот) в синагогах заканчивается чтение годового цикла Торы и начинают читать его с начала.
- Сниф
- отделение.
- “Тарбут” (букв. культура)
- сионистская организация, создавшая в Восточной Европе в период между двумя мировыми войнами сеть школ, в которых преподавание велось на иврите.
- Хабайта, хабайта
- домой, домой.
- Ханука (букв. освящение)
- праздник в м-це Кислев по еврейскому календарю, знаменующий победу Хасмонеев над войском Селевкидов (164 или 165 г. до н. э.) и очищение Иерусалимского Храма от языческого культа.
- Хамиша-асар би-шват
- 15-й день в месяце Шват по еврейскому календарю. Новый год деревьев – праздник, символизирующий привязанность евреев диаспоры к родной земле.
- Хасид (букв. благочестивый)
- приверженец Хасидизма, религиозного движения, возникшего в 18 в. и широко распространившегося среди еврейских масс Восточной Европы.
- Хашомер хацаир (букв. молодой страж)
- молодежное сионистское движение в ряде стран Европы, в частности в СССР, а также в Северной и Южной Америке.
- Хахшара
- подготовка к халуцианской жизни в Эрец-Исраэль.
- Халуц
- пионер-репатриант в Эрец-Исраэль.

- Хапозель хацаир — рабочая партия евреев в Эрец-Исраэль; объединилась с партией Мапай в 1930 году.
- Каф тамуз 1925 — 20 день в месяце Тамуз по еврейскому календарю. День смерти Герцля.
- Цофе — скаут.
- Шофар — бараний рог, в который трубят при богослужениях в Рош-Хашана и на исходе Иом-Киппур.
- Шомер — охранник.
- Шейгец — юноша-нееврей.
- “Эзрат холим” (букв. помощь больным) — общественные организации.
- “Эзрат аниим” (букв. помощь бедным)
- Эпикорос (мн. ч. — эпикорсим) — вольнодумец, неверующий.
- Этрог — особый цитрусовый плод в Эрец-Исраэль. Используется при соблюдении обряда в праздник Суккот.

СОДЕРЖАНИЕ

От издательства	
Лев Тумерман. Если бы молодость знала, если бы старость могла	
Анатолий Рубин. Страницы пережитого	
Цви Рам. Цофе	
Хана Меерштейн. Ола хадаша	
Примечания	

РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ КНИГИ:

- 1—2. Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А.И.Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арие (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е.Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ. (Процесс Эйхмана.)
9. А.И.Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Арон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД МОЙ
17. Р. и У.Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. Стихи советского еврея. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И.Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Алон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917—1967)
25. Ш.Й.Агنون. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы из романов
26. Элизер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 2
30. А.Итай и М.Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
35. Дж. и Д.Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И.Башевис-Зингер. РАБ
37. Р.Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ

41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛІАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОШНИК
44. ДРУЗЬЯ РАСКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ

לכבוד
הנהלת "ספריית-עליה"
רחוב בארי 14, קדר 208
תל-אביב
טל. 221262

1. Прошу оформить подписку на 12 книг серии
"БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ" (1976–1977).

Прилагаю чек на сумму 108 изр. лир*.

2. Прошу выслать мне пять из опубликованных книг
со скидкой на 20%.
. (указать номера книг)

Прилагаю чек на сумму 54 изр. лиры.

* Указанные цены остаются в силе по 30 сент. 1977 г.

Мой адрес:

Имя и фамилия

Подпись

ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ

ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ. Мемуары. Пер. с иврита.

Друзья и боевые товарищи Джимми, горячо любившие своего командира, в своих беседах часто вспоминали Джимми-подростка и Джимми-солдата. Из этих непринужденных рассказов-воспоминаний и родилась книга "Друзья рассказывают о Джимми". Это одна из самых популярных израильских книг мемуарного жанра периода Палмаха.

Рейзл (Ружка) Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ. Пер. с иврита.

Документальная повесть об одной из величайших драм в истории еврейского народа. Автор книги — член Боевой Еврейской Организации в Вильнюсе — повествует о Вильнюсском гетто в его борьбе и падении, а также о еврейских партизанах в Рудницкой пуще и Нарочи.

Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК. Роман. Пер. с английского.

Автор книги "Помощник" — Бернард Маламуд (1914) рассказывает в своих произведениях в основном об американских евреях. Здесь он не только великолепный бытописатель, но и психолог, и социолог, и философ, открывающий новые стороны действительности. Литературная известность пришла к нему только в 1957 году, после выхода в свет романа "Помощник", ставшего бестселлером.

Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ. Пер. с иврита.

В основу книги "Битва за Иерусалим" легли интервью и беседы, проведенные автором с участниками боев за город в период Шестидневной войны (1967).